

ISSN 0132-0637

Октябрь

2000

Октябрь

3 2000

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

3

2000

МАРТ

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ.
В садах других возможностей. Из новой книги 3
- Андрей ГРИЦМАН.
Когда луна осенний ножик вынет... Стихи 52
- Игорь ВОЛГИН.
Пропаший заговор. Достоевский и политический процесс
1849 года. Часть четвертая. Окончание 56
- Андрей СПИРИДОНОВ.
В этом белом забытом раю. Стихи 144
- Григорий МАРК.
Железные стихи 146

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- А. Ф. ЛОСЕВ.
Тайна общего дела. Рассказы. Вступление Елены Та-
хо-Годи. Публикация А. А. Тахо-Годи. Подготовка текста
А. А. Тахо-Годи и В. П. Троицкого 148

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

- Александр СЕКАЦКИЙ.
Фотоаргумент в философии 166

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА.

Та, что пишет, или Таблетка от головы 172

Панорама

Александр ВЯЛЬЦЕВ. **Пограничье** (Олег Павлов. Казенная сказка). * Елена МЕНЬШИКОВА. **Орфей, не молчи!** (Ольга Бешенковская. Песни пьяного ангела). * Эдуард КОТОВ. **Эстетика пазла** (Юз Алешковский. Карусель. Кенгуру. Руру). * Александр МЕЛИХОВ. **Все му он предпochел дорогу** (Александр Городницкий. Избранное). * Алексей ВАРЛАМОВ. **Время высокой травы** (Сергей Пронин. Яна Жемойтель. Последние сны). * Александр ЛЮСЫЙ. **Книга оправдавшихся предчувствий** (Е. Г. Эткинд. Божественный глагол...) 178

Актуальная культура

Владимир БЕРЕЗИН.

Сокровище 187

Песни познания

Торы полон рот 191

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2000. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 28.01.2000. Подписано к печати 22.02.2000. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 8510 экз. Заказ № 207. Цена 29 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ

В садах других возможностей

ИЗ НОВОЙ КНИГИ

ГДЕ Я БЫЛА

Как забыть это ощущение удара, когда от тебя уходят жизнь, счастье, любовь, думала женщина Оля, наблюдая в гостях, как ее муж сел и присох около почти ребенка, все взрослые, а эта почти ребенок. А потом он поднял ее и пошел с ней танцевать, а по дороге сказал своей сидящей Оле, показав глазами на девушку: «Гляди, какое чудо вымахало, я ее видел в шестом классе», — и радостно засмеялся. Дочка хозяев, действительно. Живет здесь. Как забыть, думала Оля на обратном пути в вагоне метро, когда пьяноватый муж (слуховой аппарат под видом очков) важно начал читать скомканную газету и вдруг смежил усталые глазенки под ярким светом. Ехали, приехали. Он сел с той же газетой в туалете и, видимо, заснул, пришлось его будить стуком, все было мелко, постыдно, а что в быту не постыдно, думала Оля. Муж храпел в кровати, как всегда, когда выпьет. «Господи, — думала Оля, — ведь ушла жизнь, я старуха никому не нужная, за сорок с гаком, пропала моя судьба».

Утром Оля в одиночестве приготовила семейный завтрак и вдруг сообразила, что надо пойти куда-нибудь. Куда — в кино, на выставку, даже рискнуть в театр. Главное, с кем, одной идти как-то неловко. Оля обзвонила своих подруг, одна сидела, обмотавшись теплым платком, болезнь называлась «праздник, который всегда с тобой», почки. Недолго поговорили. У другой никто не брал трубку, видимо, отключила телефон, третья собиралась уходить, стояла на пороге, заболела какая-то очередная престарелая родня. Эта подруга была одинокая, но всегда веселая, бодрая, святая. Мы не такие.

Можно было начать убираться, начальница на работе говорила: «Когда мне было плохо, вот когда диагноз поставили, как у сестры, сразу после ее смерти, я пришла домой и взяла и стала мыть пол». Далее следовала история чудесной ошибки в диагнозе. А идея была такая: не сдаваться! Чистые полы!

Стирка, посуда, все раскидано после вчерашних сборов на этот противный день рождения у институтской подруги мужа. Убраться и потом думать, что никто ничего не делает, все одна только она. Муж встанет распавшийся после вчерашнего, будет смотреть на домашних неохотно, брюзжать, орать, вспоминать волшебное видение, дочь хозяев, а как же. Уйдет до ночи. Надо скрыться, скрыться куда-нибудь. Пусть сами раз в жизни. Больше нет сил.

И тут Оля вспомнила: а не поехать ли в то единственное место, где никогда не удивятся, примут, напоят чаем, выслушают и даже постелят переночевать, то есть не поехать ли к старой дачной хозяйке, у которой жили много лет подряд, еще когда Настя была маленькая, а они с мужем Сережей надеялись на лучшее будущее? Эта дачная хозяйка была для Оли очень дорогим воспоминанием, при всех сложных отношениях с собственной матерью Оля привязалась к совершенно посторонней старушке, трогательному и мудрому существу. Она

казалась Оле даже красивой, доброй и по-детски хитрой. Хотя эта баба Аня с собственной дочерью, в свою очередь, жила много лет в разводе, если можно так выразиться, та не ездила к матери, гуляла на полную катушку, зато оставила бабке в наследство малолетнюю Маринку, забитое черноволосое существо, боящееся чужих людей.

Вот! Когда ты всеми заброшен, позаботься о других, посторонних, и тепло ляжет тебе на сердце, чужая благодарность даст смысл жизни. Главное, что будет тихая пристань! Вот оно! Вот что мы ищем у друзей!

Оля, вдохновленная, усмехнулась сама себе, быстро все прибрала, стараясь не разбудить домашних, и пошла рыться, искать мешок со старыми Настинными вещичками, которые специально собирала для бабы Ани, помня, что у старушки внучка растет безо всякой внешней помощи.

Оля нашла даже и кое-что для самой бабы Ани, теплую кофту, и через два часа уже бежала по привокзальной площади, едва не попав под машину (вот было бы происшествие, лежать мертвой, хотя и решение всех проблем, уход никому не нужного человека, все бы освободились, подумала Оля и даже на секунду оторопела, задержалась над этой мыслью), — и тут же, как по волшебству, она уже сходилась с электрички на знакомой загородной станции и, таща на себе походный рюкзак, продвигалась знакомой улочкой от станции на окраину поселка, в сторону речки.

Воскресным октябрьским днем тут было пусто, светло, ветви уже оголились, воздух пахивал дымком, баней, несло молодым вином от палого листа, печальным уютом чужой жизни за заборами и немного почему-то кладбищем, в окнах уже теплились огни, хотя еще не стемнело. Тоска, простор, белые небеса, счастье прошлых лет, когда они с Сережей были молодые, когда являлись друзья сюда на дачу, все веселились, пили, жарили шашлыки над оврагом и т. д. Помогали бабе Ане, поскольку в ее большом доме вечно что-то текло, проваливалось, требовало молотка. В те годы можно было оставить бабе Ане на вечерок маленькую Настю, они подружились с молчаливой Маринкой. Баба Аня их укладывала спать, а Оля с Сережей ехали в город на чей-то день рождения, пили и пели до утра и могли вернуться только назавтра к вечеру, дочка была под присмотром, а баба Аня говорила — и в отпуск езжайте, я разве не пригляжу. И в отпуск поехали на две недели, на юг одни с Сережей. А бабе Ане тоже было хорошо, ей оставили деньги и продукты. Правда, когда вернулись, дочка Настя в тот же вечер от счастья тяжело заболела и лежала те же самые две недели. Весь отдых был забыт, и загар смылся, Оля не спала десять ночей: Настя чуть не помирала. Все на свете пребывает в равновесии, говорила себе Оля, идя с рюкзаком, говорила чуть ли не вслух.

Тропинка пружинила, тут почва сырая глина, так, теперь улица разветвляется, нам надо левей, мимо забора врачей. Так прозывались их соседи, действительно муж работал в санэпиднадзоре, и они по субботам выкачивали выгребную яму и поливали накопившимся добром свой сад, якобы преследуя экологически чистые цели (на самом деле — чтобы не нанимать машину), и по окрестностям плыл смрад, какой всегда несетя от натуральных органических удобрений. Такой же гнилой ветерок веял и сейчас (вот откуда запах кладбища).

Баба Аня в свое время смеялась над такой агрономией, она-то была специалист по зерну, работала в каком-то НИИ, даже ездила в командировки и, только выйдя на пенсию, тут, на природе, окрестянилась, вернулась к языку нижегородских предков, клубнику упорно называла «глупнига» (второй вариант «виктория»), носила платок на голове и резиновые опорки на ногах, мочилась под кусты (вот это и удобрение!), и все у нее произрастало как от волшебного слова, само по себе. В сельской местности она поселилась давно, оставив городскую квартиру дочери, якобы чтобы ей не мешать (на самом деле это была гражданская война с разрухой для обеих сторон, чем всегда кончается гражданская война).

Оля успешно продвигалась по заросшей тропе, среди поредевшего черного бурыяна, тут вроде бы уже давно не ходили. Затем она сняла с калитки поржавевшее кольцо, употребляемое вместо щеколды, отогнала от забора отсыревшую калитку и радостно замахала в сторону дома, увидев, что занавеска на окне дрогнула.

Баба Аня дома! Она увидела Олю и, наверно, обрадовалась, старушка всегда любила их семью.

Постучав в незапирающуюся дверь, Оля миновала холодные сени и бабахнула кулаком по холстине, которой баба Аня обшила вход в свои покои.

— Иду-иду,— отвечал глухой голосок бабы Ани.

Оля вошла в тепло, в запахи чужого дома, и сразу повеселела от этого милого духа.

— Ну здравствуйте, Бабаня! — воскликнула она чуть ли не со слезами. Приют, ночлег, тихая пристань встречали ее. Бабаня стала еще меньше ростом, ссохлась, глаза, однако, сияли в темноте.

— Я вам не помешала? — довольно спросила Оля.— Я вашей Мариночке привезла Настенькины вещи, колготки, рейтузики, пальтишко.

— Мариночки нет уже,— живо откликнулась Бабаня,— все, нету больше у меня.

Оля, продолжая улыбаться, ужаснулась. Холод прошел по спине.

— Иди, иди,— сказала Бабаня довольно ясно,— иди отсюда, Оля, уходи. Не нужно мне.

— Я вам тут привезла всего, накупила колбасы, молока, сырку.

— Ну и забирай все. Не нужно. Забирай и уходи, Оля.

Бабаня говорила, как всегда, тонким, приятным голоском, была в своем уме, но слова у нее были невысказанные.

— Что-то случилось, Бабаня?

— Да все нормально. Все нормально происходит. Иди отсюда.

Бабаня не могла так говорить! Оля стояла испуганная и оскорбленная и не верила своим ушам.

— Я чем-то обидела вас, Бабаня? Я не приезжала долго, да. Я-то вас все время помню, но жизнь...

— Жизнь и есть жизнь,— туманно сказала Бабаня.— Смерть — смерть.

— Времени все нет...

— А у меня времени вагон, так что иди своей дорогой, Оля.

— Но я вам все оставлю тогда... Выложу... Чтобы обратно не тащить, Бабаня.

(Господи, что же стряслось?)

— И зачем, и зачем? — ясным, скандальным голосом спросила как бы себя Бабаня.— Мне ничего уже не надо. Все. Я похоронена. Все. Что мне надо? Крест на могилу.

— Что случилось, вы можете мне сказать? — надрывалась Оля.

Дом был теплый, и в коридоре, где разговаривали Оля и Бабаня, на полу лежали, как всегда, распластанные картонные ящики для чистоты. Дверь в комнату Бабаня стояла настежь, там позванивало, как комарик, радио, там были видны через оконные стекла деревья. Все осталось таким, как было всегда. А Бабаня сошла, видать, с ума. Случилось самое страшное, что может быть с живым человеком.

— Ну я и говорю тебе: я умерла.

— Давно? — машинально спросила Оля.

— Ну уж две недели как.

Ужас, ужас! Бедная Бабаня.

— Бабаня, а где девочка? Мариночка?

— Ну я не знаю, ее на похороны не водили, Света не забрала ее к себе, я надеюсь. Света была плохая, совсем нехорошая, то ли она продала уже квартиру,

короче, оборвалась вся. На ногах болячки, трофические язвы, что ли, газетами обмотаны. Меня хоронил Дима. Она так болталась, рядом. Он ее шугал, Дима.

— Дима?

— Ну вот которого она бросила с Мариночкой годовалой, а сама ушла. Год Мариночке был. Дима, Дима. Он тогда Мариночку сдал в дом ребенка. Я забирала-то, не помнишь. Али я не рассказывала?

— Что-то помню.

— Или не рассказывала... Много вас тут ходит. Живут, уезжают, ни письма, ни весточки. Умирала одна. Упала тут. Марина была в школе.

— Вот я приехала же!

— Дима меня хоронил, но просто сжег, а вазу эту еще оттуда не взял. Меня не похоронили. Я приехала сюда. Пока что я тут временно. Света совсем плохая, бомж, бомж. Она даже не соображает, что может жить тут, Дима ее пугнул из зала крематория, когда она начала свои ноги заново в газеты обертывать. В больницу, в морг ко мне она как-то дорожку нашла. А из автобуса ступила, сукровица потекла, вид нехороший. Нашла газеты в урне. Света, я же знаю, надеялась, думала выпить на поминках. Дима ее как-то разыскал, не знал, что она уже такая. Но я здесь недолго пробуду, до сорокового дня. Потом уже-то все, прощайте с Богом. Ну все, Оля, уходи.

— Бабаня! Это все у вас усталость. Вы отдохните! Ну хотите, я с вами пожиру? Мариночку найду. Она когда пропала?

— Марина пропала? Нет, ты что. Когда я брякнулась, я сначала ничего не помнила, а потом уже, когда меня стали увозить, я видела только Диму. А где Марина была? И из морга он меня забирал.

— Дима, а как его фамилия?

— Мне неизвестно,— пробормотала себе под нос Бабаня.— Что ли, Федосьев. Как у Мариночки фамилия. Она Федосьева. Дай Бог ему здоровы ч, батюшку привел на похороны. Никого больше не было, их двое, никому не сообщили, а кому сообщать, он не ведает. Свете сообщил и прогнал навеки. Вот все жду, она придет. Небось помирает.

— Мне не сообщили,— внезапно сказала Оля.

— А кто ты? Оля, ты дачница много времени назад. Ты уже сколь лет как пропала, пять лет. Марине-то уже двенадцать! Только бы она не пришла, только бы не пришла!

Пять лет, вот это да! Уже Насте пятнадцать. Подросток. Уже пять лет они не снимают дачу! У той Настиной бабушки дом в городе Славянске на Кубани. Ледяная река. Девочка возвращается оттуда совершенно чужая, дикая, курящая. Уже, очевидно, женщина.

— Простите меня, Бабаня!

— Бог простит, он всех прощает. Иди отсюда, не задерживайся. И тряпье забирай. Сюда уже ходят нехорошие люди. Я всем открываю. Я уже никто.

— Это не тряпье, это хорошие вещи на ребенка. Шерстяные колготки, пальто, майки.

Оля говорила, убеждая Бабаню, что все нормально, что это просто каприз больной души, брошенной всеми души, как и в Олином случае.

— Бабаня, а я-то к вам ехала как к последнему приюту на земле.

— Такого приюта на земле нету ни у кого. Каждый сам себе последний приют.

— Думала, что вы-то меня не погоните, примете. Думала переночевать у вас.

— Нельзя, ты что, Оля, я тебе говорю. Нельзя, меня нету.

— Еду привезла, поешьте.

— Потом съешь. Иди отсюда.

— Там холодно... Небо такое здесь, воздух... Бабаня! Я так к вам ехала!

Бабаня твердо ответила:

— Я беспокоюсь о Марине. Очень беспокоюсь, где она.

— Я поняла уже, поняла. Я разыщу ее.

— Света сюда идет, погибла, но еще жива. Если бы она умерла, то была бы здесь. Но я никого не хочу видеть, поняли? Оставьте меня в покое! Где Марина? Я не хочу ее видеть! Не желаю, ясно?

Бабаня явно заговаривалась. Хочу — не хочу. Стояла твердо, загораживая узким тельцем коридор.

Оля представила себе обратный путь с тяжелым рюкзаком, с этим хлебом, свертками, литром молока...

— Бабаня, можно я сяду у вас? Ноги болят. Что-то так ноги мои болят.

— Я еще раз говорю: иди с Богом! Уноси свои ноги, куда целы!

Оля пошла мимо нее, как мимо пустого места, в комнату и села на стул.

От соседей в открытую форточку еще сильнее понесло смрадом.

Комната выглядела брошенной. На кровати лежал завернутый тюфяк. Этого никогда не случалось у аккуратной Бабани. Кровать она всегда стелила тщательно, водружала подушку уголком под кружевной накидкой. И этот проклятый запах!

— Поставьте чайник, Бабаня, пожалуйста.

— Да нет чайника, люди пришли, унесли все! — все тем же хрустальным голоском отвечала из коридора Бабаня.

— А вода-то, вода-то есть?

— И-и, давно уже нету, вода только в колодце, а я не выхожу-то,— прозвучало в коридоре.

— Я сбегая за водой? — предложила из комнаты Оля. — Вы давно чаю не пили?

— Я две недели с лишним как умерла.

— Ведро есть?

— И ведро унесли.

Оля собралась с духом, встала, потопала на кухню и нашла там полнейшее запустение. Шкафчик был раскрыт настежь, на полу лежали битые стекла, валялась на боку мятая алюминиевая кастрюлька (в ней Бабаня варила кашу). Посреди стояла пустая жестяная банка, трехлитровая, из-под консервированной фасоли. Ее когда-то привез для какого-то праздника Сережа, не открыли, обошлись печеной картошкой, банку отдали Бабане на прокорм, уезжая осенью.

Оля взяла в руки банку.

— И забирай все свое!

— Куда я это поволоку за водой?

— Бери, бери! Сумочку возьми!

Оля послушно повесила через плечо сумку и пошла с банкой вон, на улицу к колодцу. Бабаня волокла следом за ней рюкзак, но наружу, в сени, почему-то не вышла, осталась за дверью.

Олю встретил на пороге холод, свежий ветер повеял, везде был черный бурьян, качающий сухими семенами, полное запустение покинутого участка. Она поплелась к оврагу, где был ближний колодец. Всем давно провели водопровод, только сюда, к Бабане, его не дотянули, у такой хозяйки не бывает средств.

Кругом в овраге лежал старый мусор, почти свалка, а на баране у колодца не оказалось ведра, была только намотана ржавая капроновая веревочка. Ведро скоммуниздили, как выражалась Бабаня.

Тут закружилась голова, и кругом все стало отчетливо, ослепительно белым — но только на мгновение. Так и не потеряв сознания, Оля нашла здоровенный кривой гвоздь, вытащила из земли обломок кирпича. Пробила в боку банки дыру, причем ранила указательный палец левой руки, высосала кровушку из ранки, нашла на склоне оврага свежий листик подорожника, приложила

его к ссадине, потом кое-как привязала веревочку к банке, запустила ворот. Зачерпнула, подняла свое импровизированное ведрышко, развязала веревку на ледяной банке и потащила двумя руками подальше от себя, чтобы не замочиться, причем несла полную, помня только о Бабане, у которой в доме не было ни капли воды. Пошла наверх, вон из оврага. Путь был глинистый, тяжелый, с непривычки болели ноги, скорей даже онемели. Наверху Оля поставила банку на тропу и огляделась.

Забор у Бабани был реденький, из досточек, и дом отсюда, сверху, просматривался прекрасно. Занавесок на окнах уже не было! Оля почувствовала леденящий страх, темный страх здорового человека перед сумасшествием, которое может сорвать занавески с четырех окон за семь-восемь минут.

Несмотря на это, Бабану надо было накормить и хотя бы напоить. Вызвать врачей. Запереть дом. Найти как-нибудь Марину, Свету или Диму Федосьева. Кому тут жить, Свете беспризорной, наследнице, которая прогудит дом во мгновение ока, или тоже бездомной Мариночке, это не нам решать. Мариночку надо взять! Вот так. Такой теперь план жизни, раз уж ввязалась. Тебе хотелось уйти, вот и ушла от своей жизни и попала в чужую. Нигде не пусто, всюду эти одинокие. Сережа и Настя будут против. Сережа промолчит, Настя скажет, еще новости, ты мама вообще ку-ку. Олина мать поднимет по телефону большую волну.

Оля стояла, тяжело размышляя, понимая, что надо идти, но ноги как налились чугуном и не хотели слушаться, не хотели нести на себе три литра ледяной воды в разграбленный дом к сумасшедшей старухе, к новым тяготам жизни. Резкий ветер подул на горку, где стояла, окаменев, домашняя женщина Оля, стояла как бездомная, нищая, с единственным имуществом у ног, трехлитровой жестяной банкой воды. Резкий ветер подул, загремели черные скелеты деревьев, нарастал далекий шум, и явился арбузный запах зимы. Было холодно, зябко, явственно темнело, тут же захотелось перенестись домой, к теплому пьяноватому Сереже, к живой Насте, которая уже проснулась, лежит в халате и ночной рубашке, смотрит телевизор, ест чипсы, пьет кока-колу и названивает друзьям. Сережа сейчас уйдет к школьному другу. Там они выпьют. Воскресная программа, пускай. В чистом, теплом обыкновенном доме. Без проблем.

Оля взяла банку обеими руками и понесла ее вниз, к Бабане, но не удержалась и поехала по глине, расплескав половину воды на себя. О Господи! Ноги болели уже довольно сильно.

Но дверь у Бабани оказалась запертой, и никто не открыл Оле, хотя она била даже больными ногами и кричала как оглашенная.

Кто-то над ней явственно, очень быстро пробормотал: «Кричит».

Однако Оля знала другой путь, по приставной лестнице на чердак, и оттуда через проем, по вырубкам в стене, можно спуститься на терраску, так они не раз влезали ночью в дом, если не могли найти ключей, они с Сережей.

Банку Оля оставила у дверей.

Там, в доме, сидела обезумевшая Бабаня, без воды, да и еду она бы не смогла добыть из застегнутого рюкзака с такими-то умственными данными. Что же происходит с человеком, как он теряет все, и умное, доброе, прекрасное существо становится опасливой глупой зверушкой...

Оля с трудом достала тяжеленную лестницу из-под дома, установила ее, полезла по трухлявым перекладинам, рухнула с третьей, совсем разбила ноги (сломила?). Со стоном поднялась, все-таки влезла на крышу, умудрилась и руки повредить, и бока болели, голова, на один момент даже открылось опять какое-то далекое белое пространство (бред, но он быстро прошел), затем она еле проволочлась по пыльному чердаку и спустилась на веранду, тяжелейший путь. Дверь с веранды в дом оказалась закрытой тоже. Видимо, с той стороны предусмотрительная Бабаня наладила крючок, боясь воров.

Хорошо.

Оля заплакала и забарабанила кулаком в дверь, крича:

— Анна Сергеевна! Але! Это я, Оля! Ольга! Пустите меня!

Постояв и послушав в мертвой тишине (только где-то как бы посыпалось что-то, как земля, струйкой), Оля сказала:

— Хорошо, я ухожу, вода у вас под дверью в банке. Хлеб и сыр в большом клапане рюкзака впереди. И колбаса там же.

Обратный путь по зарубкам вверх был еще тяжелей, руки не слушались, цепляясь за зарубки, а спускалась Оля уже в полубреду, неизвестно как миновав сгнившую перекладину... Белый свет сверкал сквозь сумерки, белые пространства обморока.

Добравшись до станции, она села на ледяную скамью. Было дико холодно, ноги закаменели и болели как раздавленные. Поезд долго не приходил. Оля легла скрючившись. Все электрички проскакивали мимо, на платформе не было ни единого человека. Уже капитально стемнело.

И тут Оля проснулась на каком-то ложе. Опять открылось (вот оно!) бескрайнее белое пространство, как снега кругом. Оля застонала и перевела взгляд к горизонту. Там оказалось окно, наполовину заслоненное голубой шторой. В окне стояла ночь, и сияли далекие фонари. Оля лежала в огромной темной комнате с белыми стенами под одеялом, как под грудой развалин. Правая рука не поднималась, придавленная каким-то грузом. Оля подняла левую руку и стала разглядывать ее. Рука была бледная до прозрачности. На указательном пальце темнела большая ссадина. Это онахватила по пальцу кирпичом, когда пробивала банку гвоздем там, у дома Бабани. Но ссадина уже почти зажила.

— Где я была? — произнесла Оля громко. — Эй! Але! Бабаня! А-аа!

Оля попыталась приподняться. Но эффект был нулевой. Страшно болели ноги, вот это уж действительно. И резало в низу живота.

Никого не было.

Все-таки она приподнялась, опершись на правую руку, и осмотрелась.

Это была кровать, и от нее вниз отходила полупрозрачная трубочка.

Катетер! Ей вставили катетер! Как умиравшей бабушке когда-то в больнице. Это и есть больница. Рядом стояла еще кровать с какой-то неподвижной грудой белого.

— Але! Ой! Ура! Спасите! — закричала Оля. — Бабаню спасите! Марину Федосьеву!

Груда белого на соседней кровати зашевелилась.

Вошла заспанная медсестра в белом халате.

— Вы что орете, тише, — приговаривала она на ходу. — Тише. Перебудите всех.

— Где это? — плакала Оля. — Дайте встать! Марина Федосьева, ищите ее. Мне надо встать!

— Встанете, встанете, больная. Раз вы... раз вы пришли в сознание, тогда...

Она ушла и вернулась со шприцем. Пока делали укол, Оля мучительно вспоминала.

— Что со мной, сестра, прошу вас.

— Что с вами, переломы ног, руки, малого таза. Лежите уж. Завтра муж придет, дочь придет, мама, все расскажут. Сотрясение мозга. Очнулась — уже хорошо. А то они все ходят, все сидят без толку. Ноги чувствуют?

— Болят.

— И хорошо.

— А где, где? Что произошло?

— Под машину вы попали, не помните? Спите, спите, под машину попали.

Оля изумилась, охнула, и тут ее накрыло, и она опять пыталась достучаться до Бабани, все хотела напоить ее. Был сумрачный октябрьский вечер, стеклышки на террасе дребезжали от ветра, болели усталые ноги и разбитая рука,

но Бабаня не желала, видимо, ее принимать. А потом с той стороны стекла появились хмурые, жалкие, залитые слезами лица родных — мамы, Сережи и Наси. И Оля все им пыталась сообщить, чтобы искали Марину Федосьеву Дмитриевну, Дмитриевну Бабаню, что-то так. Ищите, ищите, говорила она, не плачьте, я тут.

В ДОМЕ КТО-ТО ЕСТЬ

Кто-то явно был в доме. Войти в маленькую комнату — в большой что-то упало. Посмотреть, где кошка, она сидит на столике в прихожей, отражаясь в зеркале, ушки торчком, тоже что-то явно слышала. Пойти в большую комнату — там упал сам собой лист бумаги с пианино, листок с телефоном неизвестно чьим, неслышно слетел и отчетливо белеет на ковре.

Кто-то неосторожен, думает хозяйка квартиры, кто-то уже не скрывается.

Человек всегда боится присутствия неизвестных тварей, боится насекомых, мелких муравьев в ванной, боится, допустим, единичного пьяного таракана, прибежавшего, похоже, с места побоища от соседей в наркотическом состоянии, то есть сидит на видном месте. Всего боится человек, оставшийся наедине с кошкой жить, все куда-то делись, вся предыдущая семья, оставив сидеть такого человеческого таракашку одного на видном месте.

Особенно что ни суббота-воскресенье, то падают вещи и кто-то тайно, неслышно перешмыгивает из комнаты в комнату, такое впечатление.

Женщина никому не говорит о своем полтергейсте, еще Тот прячется и не стучит, не хулиганит, не поджигает, холодильник не скачет по квартире, не загоняет в угол, то есть нечего жаловаться.

Однако уже что-то поселилось, какая-то живая пустота, по росту маленькая, егозящая, подсмывающая по полу, такое впечатление. Кошка недаром тарасит ушки.

— Что, ну что? — разговаривает женщина с кошкой, кошка тихая и странная, как все кошки. Не идет под руку, не любит, когда ее втаскивают на колени, а вдруг сама прыгнет и ляжет в неподходящее время. — Ну что ты боишься, Лялечка, ну успокойся.

Кошка уворачивается от руки и отходит.

Хозяйка смотрит телевизор до упора и, погруженная в голубоватое излучение, уплывает в сладкие миры, пугается, заинтересована, скучает, то есть живет полной жизнью. Хозяйка положения тут, на диване. Бац! Опять рухнуло в маленькой комнате.

Рухнуло жутко, громынуло, отдалось эхом.

Вбежав, женщина оцепенело стоит. Оборвалась полка с пластинками. При чем пластинки разлетелись повсюду, пыльными веерами лежат на неубранной диван-кроватьи, на полу. Если бы там кто-то (ясно кто) спал, пластинка в конверте углом бац в висок. Но не случилось. Теперь в стене две рваные темные раны, выпали гвозди, которые когда-то вбивал Некто, не будем вспоминать. То есть это не гвозди, а как-то они иначе называются. Это был целый подвиг, большая история почти любви. Понадобилась дрель.

Но эти негвозди были вбиты в конце концов, и в конце концов все рухнуло.

Полка лежит на пианино, отсюда такой дикий гром с резонансом, как в горах.

С пианино тоже была история. Маленькая девочка училась играть на нем. Мама настаивала. Заставляла, сажала. Ничего не вышло. Упрямство победило. Упрямство, которым человек защищается от чужой воли. Отстаивает свою жизнь. Пусть эта жизнь получится хуже, чем кто-то запланировал, беднее, но своя, какая ни есть, хоть без музыки, без талантов. Без семейных выступлений

для родни. Однако и без ненужных страданий, что кто-то лучше. Мама очень страдала, якобы другие дети талантливее ее дочери. Нашему барану нет талану. Дочь это часто слышала и отомстила матери, став совсем нукудышной с точки зрения обеих сторон.

Затем все растворилось, эти взаимоотношения отцов и детей, остались пианино и старые пластинки. Мама скупала классическую музыку. Мама по телефону обсуждала жизнь своей дочери, раскрывая перед подругой (разбрасывая веером, как ненужное) чужие тайны. Теперь ни мамы, ни дочери, ни полки. Женщина стоит на пороге, пораженная картиной разрушения, ни мать, ни дочь. На этой постели уже не спать, все порушено, пропитано пылью. Грязно... Надо менять белье. Надо мыть, стирать, поставить все в ряд (где?).

Женщина отступает в большую комнату, закрывая дверь маленькой как бы навсегда.

Хоть бы поймать за мерзкий, полувидимый хвост Того, кто это все устроил. Зачем? Умереть от ужаса и омерзения? Ведь Его не убить, не раздавить каблуком. Значит, ловить не надо.

Тот, кто все рушит, он чего-то хочет, добивается. Как та мать добивалась от дочери. Если понять чего Оно добивается, то можно (как уже было раньше) перебить ему интерес, лишить его перевеса. Есть такой прием — идти навстречу. Как пожар зажигают в лесу навстречу идущему пожару: если они встретятся, то оба погаснут!

Так, например, мать пуще своих глаз берегла немецкий кофейный сервиз, то ли на черный день, то ли в виде накопления на случай похорон, а когда дочь в припадке гнева бросила чашечку на пол (дзынь!), то мама хладнокровно стала бросать весь сервиз, предмет за предметом, с размаху на пол (ддряннь!), и дочь чуть не сошла с ума, схватилась за голову, а мать сказала: «Если я умру, и у тебя ничего пускай не будет».

Но вот вопрос: хочет ли Тот полного разрушения или хочет просто выгнать на улицу?

Из дому уходить нельзя. Некуда. Может быть, даже кто-нибудь захочет вернуться (думает мать-дочь). Значит, остается остаться, но если Тот сеет разруху, надо превозмочь это своей силой. Ответить, как Кутузов Наполеону, чтобы стало неуютно внутри своей позиции. Мудрое решение. ТОТ будет повержен.

Решиться на это было сначала трудно, потом легче.

Побила на кухне всю посуду, раскидала по квартире. Сняла с большим трудом и грохнула висячий шкафчик вверх черепков. Теперь увидела, что этот самый шкафчик как раз и держался уже еле-еле на своих шурупах, когда она его снимала. То есть один шуруп так и вылез из стены вслед за шкафчиком, как рыбка из пруда. Легко-легко. Да и шкафчик уже почти расклеился, задняя стенка, оказалось, отстала в уголке, отошла. Стало быть, этот шкафчик и была первая кандидатура на срыв со стены и на погибель всей посуде! Причем возможно, что и на голову внизу стоящему!

Мать-дочь взбодрилась. Надо же, какое предвидение! Был сделан один шаг навстречу, и вскрылась такая подготовка! Воля поперек воли!

Ночевала на диване в большой комнате, потом день подождала.

Дождалась. Шурунуло в маленькой комнате, где пыль, пластинки веером, гром стоит в воздухе. Вошла. Там готовилось нечто. Там стояла вечно разложенная тахта, постель обычно убиралась в нижний ящик под матрац. (С некоторых пор прекратились эти уборки постели, зачем?)

Теперь м-д (мать-дочь) взяла молоток с гвоздодером на конце и подняла пружинный матрац, свежая пластинки в кучу. И гвоздодером начала выдирать какие-то шурупы, придерживающие механизм подъема матраца. Трудно было это делать, согнувшись в три погибели! Пришлось буквально на коленях влезать в ящик и там орудовать во тьме и пыли. Но уже со второго шурупа стало ясно, что

он держится буквально на соплях! Шурупы полувывлезли сами! То есть еще день-два — и механизм бы отказал. Ни поднять, ни опустить. Опять произошло предупреждение теракта! Опять Тот умылся!

Диван теперь нельзя было поднять и сложить. Так тому и быть. Замусоренный, пыльный, с грудой пластинок в сердцевине, в скомканных простынях, он остался навеки таким, как памятное гиблое место, которое надо обходить за километр. Как место гибели в землетрясении.

Опять упреждение и Тому наперекор.

Однако требовалось идти впереди событий, не хватать то, что уже идет в руки, а искать нетронутое, целое.

Ударом молотка разбила телевизор. Слегка грохнуло. Это был старый телевизор, но показывал он еще исправно, хотя и в черно-белом варианте уже.

Нельзя было найти ничего лучше для придуманного плана борьбы. Если Тот хотел бы сделать совсем жуткий удар, он бы взорвал к такой матери именно телевизор. И только представить по последствиям: раны на лице (позиция всегда была сидя близко к экрану) и общий пожар квартиры. То есть все в углях. И вынос тела в полиэтиленовом пакете, что осталось. По тому же телевизору показывали такие ужасы.

И именно эта точка была наиболее болезной. Телевизор служил для м-д всем. Содержанием, счастьем и основой домашнего очага, именно к телевизору она всегда спешила с улицы, из магазина. Для телевизора она брала бесплатное рекламное приложение, где печатались программы. И потом не выбрасывала эти программы, думала над ними, вспоминала.

Но кров над головой ценился по принятой (там) шкале еще выше, тут было над чем подумать.

Чтобы не заостряться теперь на этой страшной дилемме (жить или не жить), м-д выгребла из гардероба ВСЕ и сложила в мешок из-под картошки, вытащила его из рухляди в стенном шкафу. Эта рухлядь была давно на выброс (но не сейчас этим заниматься), старые жакеты-юбочки-калоши, все на тряпки и как вариант для поездки в село, на случай эвакуации и войны, к примеру. Голода, к примеру. Также там хранились старые занавески и одеяла, начиная с детских — спасение, если не будут топить зимой, как было в блокаду. В стенном шкафу копилась спрессованная нищета, а в гардеробе нынешняя жизнь. И так, долой все из гардероба в мешок!

Уже опустилась тьма, и м-д, взгромоздив этот мешок из-под картошки на подоконник, вывалила свой груз в пустое пространство за окно. Там оказались кофты, платья, пиджак, пальто. Белье нижнее. Шарфы, перчатки, шапки, берет, одна шляпа, пояса, косыночки. Целые зимние толстые колготки. Брюки. Свитеров три шт. Юбки две широкие, одна прямая, конвертом. И затем — постельное белье, чистое, пахнущее свежестью и туалетным мылом. Полотенчики все. Наволочки и простыни, пододеяльники, один с вышивкой. О Боже. Но не в пожаре спалены.

Вслед за тяжелым мешком в открытое окно отправились картина со стены в золотой раме и три стула один за одним.

Внизу заорали, какая-то ругань, мат, глухой мужской крик.

Она поспешно закрыла окно. Все.

Надеть теперь было нечего, только халат, под ним ночная рубашка и трусы.

Легла на диванчик, подстлав старые телевизионные программы. Одеяло и подушки остались в маленькой комнате как жертвы землетрясения... Укрылась новым рекламным приложением.

Утром, хорошо выспавшись, м-д подумала, что уже ничего не боится, совершенно ничего, и теперь даже не страшно было совсем бросить свою теперешнюю жизнь, быт, крышу над головой.

Начался постепенный отход из квартиры. Пооглядевшись вокруг, м-д ступила за порог, забыв ключи в сумочке на столе. Но не забыв выпустить кошку на лестницу.

Можно было оставить кошку запертой, однако она не представляла собой большой ценности (якобы) и не стоила того, чтобы бросать ее в пасть Того. То есть принесение в жертву живого существа как бы не планировалось. М-д делала хуже себе. Вопрос был: кому будет хуже — кошечке или м-д, когда м-д начнет жить безо всего, но как бы слыша затихающее мяуканье почти мертвой запертой Ляльки. У м-д начались самоуговоры насчет кошки, что именно для кошки жертва будет больше. Кому она нужна — ее морить голодом. Так, случайное животное, снятое с дерева.

Равнодушно и стараясь не думать, мать-дочь решила кошку выгнать. И тут произошел казус, смешная история. М-д была готова к жизни на воле, но кошка нет. Когда м-д взяла кошку рукой и перевесила через локоть, собираясь выйти вон, кошка задрожала мелкой дрожью, как кипящий чайник. Как электричка перед отходом. Как тяжело больной ребенок в ознобе. Она тряслась, видимо, испугавшись за свою жизнь.

— Чего,— плавно сказала м-д,— чего боимся? Ну все, все. Ты же всегда рвалась. Ну и иди! Живая иди!

Кошка — да, всегда рвалась на лестницу, караулила у дверей, надоедая своими хриплыми стонами. Орала ночами. Но выпускать ее было опасно: домой она могла и не вернуться. Все-таки м-д любила животное. Не сейчас, правда.

Веселая, оживленная, она спустила кошку с рук на лестничной площадке и захлопнула за собой дверь, все!

В халате и шлепанцах, она стояла на вершине своей судьбы, сама себе хозяйка, победившая Того. Здесь он может шуршать и перебегать сколько угодно, в этих огромных открывающихся пространствах.

Кошка сидела на хвосте как пришибленная. Она сгорбилась, ссутулилась и как-то призадумалась. Женщина, спустившись уже на пол-лестницы, обернулась и поглядела вверх. Кошка оцепенело смотрела перед собой, глаза у нее стали совсем как бельма, зрачки обратились в мелкие зернышки, утонувшие в зеленоватой массе, заполнявшей глазницы. Мордочка казалась облизанной. Черепушка вдруг вылезла и обрисовалась под черной шерстью. Смерть сидела на лестнице, одетая тощей шкуркой.

Женщина чуть не заплакала. Кошка готовилась к своей гибели. Ее ожидала улица, отпущенные на волю собаки, голод. Кошка не могла бороться за жизнь, она не знала, как спастись. Сегодня же ее погонят из подъезда, саданут ботинком по ребрам после первой же налитой лужи.

М-д остановилась в своем торжествующем движении вниз. Она подумала, что кошка расползется на клочья, как все расползлось — посуда, стулья, телевизор, одежда.

Тот мог торжествовать полную победу.

«Слишком уж,— подумала м-д,— такому ничтожному все... Обойдется,— решила женщина,— что это я так сразу поддаюсь ему на испуг!»

— Нет,— сказала она,— Лялька ни в чем не виновата.

Лялька сидела как чучело кошки, вылупив стеклянные мутные глазки. Хвост ее, обычно энергичный, который тонко выражал все мысли организма, теперь лежал пыльной мертвой веревочкой. Вся шерсть уже была пыльной, тусклой, больной.

Женщина тут же взяла Ляльку в руку, прижала локтем ее окаменевшее тельце и позвонила соседям, а оттуда энергично позвонила диспетчеру и села на предложенный стул ждать плотника.

Затем, когда была вскрыта дверь, женщина вошла в свое разгромленное жилище, спустила Ляльку на пол и оглядела хозяйство новыми глазами. Как будто все тут было новое, чужеватое, интересное.

Обувь сохранилась в прихожей! Из посуды остались живы все кастрюли и миска с кружкой! Ложки-вилки! «Какая роскошь!» — подумала женщина, которая уже готова была пастись там, внизу, на улице, у мусорного контейнера, чтобы найти себе баночку для питья воды и заплесневелый кусок хлеба на пропитание.

— Нашла бы я себе такую роскошь на помойке? — лепетала женщина, открыв холодильник, в котором стояли две тарелки, мелкая и глубокая, с вареными (!) плодами земли. С картошкой и свеклой. И баночка с супом! И мисочка с рыбкой для Ляли!

В квартире было все. Теплое, довольно чистое со стороны кухни жилище, краны работают, ванна, вода бежит, мыло, телефон! А постель! Простыня и пододеяльник есть, какая удача. Пластинки на диване и проигрыватель в углу, забытый, когда-то любил слушать музыку в этом доме... Мать или дочь.

Мать-дочь быстро убрала расколотую вдребезги посуду (да ладно, не первый случай в данном доме), совершила ряд путешествий к мусорному контейнеру, причем, когда она в третий раз вывалила туда мешок с осколками и мусором, двое мужчин в грязной, засаленной одежде и с сумами через плечо осторожно приблизились, подождали и тут же склонились над помойкой, едва только м-д отошла. Они вели себя как тени людей, стелющиеся, гнущиеся в разные стороны, незаметные, черные.

М-д наведалась и под окно. Разумеется, мешок давно прибрали. Кто-то будет ходить в ее свитерах, брюках, а она, свободная, бродит, ничего не имея. Да!

Придя в свою чистую, выметенную, помытую квартиру, м-д прежде всего удивилась своей прежней нерешительности (не выбросила продукты, не разбила внутренность холодильника, оставила все лампочки в целости).

Женщина затем спохватилась, достала рыбку из холодильника и положила Ляльке в лапушку.

Лялька, однако, все еще сидела как столбик, закованная посреди прихожей, и глаза ее все еще напоминали виноградины, очищенные, без кожицы, с еле видной косточкой внутри.

Дыхание смерти, видно, поморозило ее пугливую душу.

Женщина не стала утешать кошку, задача была одна — как можно скорее вернуть все в прежний вид, тогда кошка тоже придет в себя.

И, как часто бывает, если один член семьи нерешителен, трусит или пребывает в истерике, то второй член семьи взбодрится и буквально взлетает на крыльях, чтобы спасти положение. Женщина забежала еще быстрее, поставила полку на пианино, на ней уложила пластинки, понесла постельное белье в ванную, быстро простирнула и повесила. Полотенца, по счастью, нашлись в виде одного кухонного на крючке и двух на трубе в ванной.

— Ничего! — бормотала Ляльке хозяйка. — Прорвемся!

Мало того, м-д тут же нашла отвертку и укрепила шурупы (хорошо не выкинутые), и быстро сложила тахту в дневное положение, спинкой вверх.

Все!

И как легко было разрушать, а как тяжело ремонтировать, восстанавливать, приводить в порядок! Как трудно сгибаться, лезть в углы, собирать осколки, выносить, вкручивать, вытаскивать! Хуже всего было с телевизором. Пришлось дожидаться ночи и выбросить его из окна полным напряжением сил, а затем там, внизу, разбитый остов легче было взвалить на тележку и отвезти к мусорному контейнеру.

Как война прошла по мирной жизни м-д, как война.

Пусто выглядела большая комната без стульев и телевизора.

Однако же и безо всего может обойтись человек, если он выжил. Смотреть было нечего, но зато выступил из тьмы целый шкафчик книг. М-д поставила любимую когда-то пластинку, старинные танго!

Затем, под звуки музыки, она стала разбирать рюкзаки и чемоданы со старой одеждой. Вся жизнь прокрутилась перед ней, как кинохроника. Любимые тени ожили и окружили ее, хотя почти ничего из тряпья не нашлось на м-д, уже расплывшую от сидения перед ящиком (видимо). Хорошо. Имелось несколько кусков ткани, в уголке таилась старая швейная машинка, и кое-какую юбку можно было сварганить к тем старым трикотажным кофтам, которые еще нашлись.

Тем более что м-д давно уже носила только самое завалященькое, а чистое и почти новое берегла для какого-то особого случая, для выхода в люди (который случай все не наступал).

Тут же, по пути, м-д собрала еще мешок старого рванья и негодной обуви, помня о тех черных тенях, которые получили от нее в подарок груды битых черепков.

Господи, какая новая жизнь открывалась теперь перед м-д, а вот кошка все сидела остолбенев, как много переживший человек, и все глядела в одну точку мутным, невидящим взором.

Вдруг кошка подняла уши. Скрипнул пол где-то там.

Женщина усмехнулась.

Ясно, что дом усаживается, ссыхается, половицы трескаются, это раз. Затем: во всех квартирах вверху, внизу и по бокам живут живые люди, у них кто-то бегают, что-то рушится, портится, чинится, движется, житуха такая, громко произнесла женщина, адресуясь, как всегда, к кошке.

Лялька же, подвигав ушками, легко поднялась с корточек и пошла на кухню, загребая передними лапами, как тяжелая тигрица, что было странно при ее тщедушном сложении. Затем она деликатно присела перед своей лакушкой в угол носом, склонилась и взяла кусочек, тряхнув головой, решила продолжать жить.

ГЛЮК

Однажды, когда настроение было как всегда по утрам, девочка Таня лежала и читала красивый журнал.

Было воскресенье.

И тут в комнату вошел Глюк. Красивый как киноартист (сами знаете кто), одет как модель, взял и запросто сел на Танину тахту.

— Привет,— воскликнул он,— привет, Таня!

— Ой,— сказала Таня (она была в ночной рубашке).— Ой, это что?

— Как дела? — спросил Глюк.— Ты не стесняйся, это ведь волшебство.

— Прямо,— возразила Таня.— Это глюки у меня. Мало сплю, вот и все. Вот и вы.

Вчера они с Анькой и Ольгой на дискотеке попробовали таблетки, которые принес Никола от своего знакомого. Одна таблетка теперь лежала про запас в косметичке, Никола сказал, что деньги можно отдать потом.

— Это не важно, пусть глюки,— согласился Глюк.— Но ты можешь высказать любое желание.

— И что?

— Ну ты сначала выскажи,— улыбнулся Глюк.

— Ну... Я хочу школу кончить...— нерешительно сказала Таня.— Чтобы Марья двойки не ставила... Математичка.

— Знаю, знаю,— кивнул Глюк.

— Знаете?

— Я все про тебя знаю. Конечно! Это ведь волшебство.

Таня растерялась. Он все про нее знает!

— Да не надо мне ничего, и вали отсюда,— смущенно пробормотала она.— Таблетку я нашла на балконе в бумажке, кто-то кинул.

Глюк сказал:

— Я уйду, но не будешь ли ты жалеть всю жизнь, что прогнала меня, а ведь я могу исполнить твои три желания! И не трать их на ерунду. Математику всегда можно подогнать. Ты ведь способная. Просто не занимаешься, и все. Марья поэтому поставила тебе «парашу».

Таня подумала: действительно, этот Глюк прав. И мать так говорила.

— Ну что? — сказала она. — Хочу быть красивой!

— Ну не говори глупостей. Ты ведь красивая. Если тебе вымыть голову, если погулять недельку по часу в день просто на воздухе, а не по рынку, ты будешь красивой, чем она (сама знаешь кто).

Мамины слова, точно!

— А если я толстая? — не сдавалась Таня. — Катя вон худая.

— Ты толстых не видела? Чтобы сбросить лишние три килограмма, надо просто не есть без конца сладкое. Это ты можешь! Ну, думай!

— Сережка чтобы... ну это самое.

— Сережка! Зачем он нам? Сережка уже сейчас пьет. Охота тебе выходить замуж за алкаша! Ты посмотри на тетю Олю.

Да, Глюк знал все. И мать о том же самом говорила. У тети Оли была кошмарная жизнь, пустая квартира и ненормальный ребенок. А Сережка действительно любит выпить, а на Таню даже и не глядит. Он, как говорится, «лазит» с Катей. Когда их класс ездил в Питер, Сережка так нахрюкался на обратном пути в поезде, что утром его не могли разбудить. Катя даже его била по щекам и плакала.

— Ну вы прям как моя мама,— сказала, помолчав, Таня. — Мать тоже базарит так же. Они с отцом кричат на меня как больные.

— Я же хочу тебе добра! — мягко сказал Глюк. — Итак, внимание. У тебя три желания и четыре минуты остается.

— Ну... Много денег, большой дом на море... и жить за границей! — выпалила Таня.

Чпок! В ту же секунду Таня лежала в розовой, странно знакомой спальне. В широкое окно веял легкий, приятный морской ветерок, хотя было жарко. На столике лежал раскрытый чемодан, полный денег.

«У меня спальня как у Барби!» — подумала Таня. Она видела такую спальню на витрине магазина «Детский мир».

Она поднялась, ничего не понимая, где тут что. В доме оказалось два этажа, везде розовая мебель, как в кукольном доме. Мечта! Таня ахала, изумлялась, попрыгала на диване, посмотрела, что в шкафах (ничего). На кухне стоял холодильник, но пустой. Таня выпила водички из-под крана. Жалко, что не подумала сказать: «Чтобы всегда была еда». Надо было добавить: «И пиво». (Таня любила пиво, они с ребятами постоянно покупали баночки. Денег только не было, но Таня их брала иногда у папы из кармана. Мамина записка тоже была хорошо известна. От детей ничего не спрячешь!) Нет, надо было вообще сказать Глюку так: «И все, что нужно для жизни». Нет: «Для богатой жизни!» В ванной находилась какая-то машина, видимо, стиральная. Таня умела пользоваться стиральной, но дома была другая. Тут не знаешь ничего, где какие кнопки нажимать.

Телевизор в доме был, однако Таня не смогла его включить, тоже были непонятные кнопки.

Затем надо было посмотреть, что снаружи. Дом, как оказалось, стоял на краю тротуара, не во дворе. Надо было сказать: «С садом и бассейном». Ключи висели на медном крючке в прихожей, у двери. Все предусмотрено!

Таня поднялась на второй этаж, взяла чемоданчик денег и пошла было с ним на улицу, но обнаружила себя все еще в ночной рубашке.

Правда, это была рубашка типа сарафанчика, на ляпочках.

На ногах у Тани красовались старые шлепки, еще не хватало!

Но приходилось идти в таком виде.

Дверь удалось запереть, ключи девать было некуда, не в чемодан же с деньгами, и пришлось оставить их под ковриком, как иногда делала мама. Затем, напевав от радости, Таня побежала куда глаза глядят. Глаза глядели на море.

Улица кончалась песчаной дорогой, по сторонам виднелись маленькие летние домики, затем развернулся большой пустырь. Сильно запахло рыбным магазином, и Таня увидела море.

На берегу сидели и лежали, прогуливались люди. Некоторые плавали, но немногие, поскольку были высокие волны.

Таня захотела немедленно окунуться, однако купальника на ней не было, только белые трусики под ночной рубашкой, в таком виде Таня красоваться не стала и просто побродила по прибою, уворачиваясь от больших волн и держа в одной руке шлепки, в другой чемоданчик.

До вечера голодная Таня шла и шла по берегу, а когда повернула обратно, надеясь найти какой-нибудь магазин, то перепутала местность и не смогла найти тот пустырь, откуда вела прямая улица до ее дома.

Чемодан с деньгами оттянул ей руки. Тапки намокли от брызг прибоя.

Она села на сыроватый песок, на свой чемоданчик. Солнце заходило. Страшно хотелось есть и особенно пить. Таня ругала себя последними словами, что не подумала о возвращении, вообще ни о чем не подумала, надо было найти сначала хоть какой-нибудь магазин, что-то купить. Еду, тапочки, штук десять платьев, купальник, очки, пляжное полотенце. Обо всем у них дома заботились мама и папа, Таня не привыкла планировать, что есть, что пить завтра, что надеть, как постирать грязное и что постелить на кровать.

В ночной рубашке было холодно. Мокрые шлепки отяжелели от песка.

Надо было что-то делать. Берег уже почти опустел.

Сидела только пара старушек да вдаль вопили, собираясь уходить с пляжа, какие-то школьники во главе с тремя учителями.

Таня побрела в ту сторону. Нерешительно остановилась около кричащих, как стая ворон, детей. Все эти ребята были одеты в кроссовки, шорты, майки и кепки, и у каждого имелся рюкзак. Кричали они по-английски, но Таня не поняла ни слова. Она учила в школе английский, да не такой.

Детки пили воду из бутылочек. Кое-кто, не допив драгоценную водичку, бросал бутылки с размахом подальше. Некоторые, дураки, кидали их в море.

Таня стала ждать, пока галдящих детей уведут.

Сборы были долгие, солнце почти село, и наконец этих воронят построили и повели под тройным конвоем куда-то вон. На пляже осталось несколько бутылочек, и Таня бросилась их собирать и с жадностью допила из них воду. Потом побрела дальше по песку, все-таки вглядываясь в прибрежные холмы, надеясь увидеть в них дорогу к своему дому.

Внезапно опустилась ночь. Таня, ничего не различая в темноте, села на холодный песок, подумала, что лучше сесть на чемоданчик, но тут вспомнила, что оставила его там, где сидела перед тем!

Она даже не испугалась. Ее просто придавило это новое несчастье. Она побрела, ничего не видя, обратно.

Она помнила, что на берегу оставались еще две старушки.

Если они еще сидят там, то можно будет найти рядом с ними чемоданчик.

Но кто же будет сидеть холодной ночью на сыром песке!

За песчаными холмами давно горели фонари, и из-за этого на пляже было совсем уже ничего не видно. Тьма, холодный ветер, ледяные шлепки, тяжелые от мокрого песка.

Раньше Тане приходилось терять многое — самые лучшие мамины туфли на школьной дискотеке, шапки и шарфы, перчатки вообще бессчетно, зонтики уже раз десять, а деньги вообще считать и тратить не умела. Она теряла книги из библиотеки, учебники, тетрадки, сумки.

Еще недавно у нее было все — дом и деньги. И она все потеряла.

Таня ругала себя. Если бы можно было начать все сначала, она бы, конечно, крепко подумала. Во-первых, надо было сказать: «Пусть все, что я захочу, всегда сбывается!» Тогда бы сейчас она могла бы велеть: «Пусть я буду сидеть в своем доме, с полным холодильником (чипсы, пиво, горячая пицца, гамбургеры, сосиски, жареная курица). Пусть по телеку будут мультики. Пусть будет телефон, чтобы можно было пригласить всех ребят из класса, Аньку, Ольгу да и Сережку!» Потом надо было бы позвонить папе и маме. Объяснить, что выиграла большой приз — поездку за границу. Чтобы они не беспокоились. Они сейчас бегают по всем дворам и всех уже обзвонили. Наверное, и в милицию подали заявление, как месяц назад родители хиппи Ленки по прозвищу Бумажка, когда она уехала в Питер автостопом.

А вот теперь в одной ночной рубашке и в сырых шлепках приходится в полной тьме блуждать по берегу моря, когда дует холодный ветер.

Но уходить с пляжа нельзя, может быть, утром повезет первой увидеть свой чемоданчик.

Таня чувствовала, что стала гораздо умней, чем была утром, при разговоре с Глюком. Если бы она оставалась такой же дурой, то давно бы уже покинула это проклятое побережье и побежала туда, где теплей. Но тогда бы не оставалось надежды найти чемоданчик и улицу, где стоял родной дом...

Таня была полной дурой еще три часа назад, когда даже не посмотрела ни номер своего дома, ни названия улицы!

Она стремительно умнела, но есть хотелось жутко, а холод пронизывал всю ее до костей.

В этот момент она увидела фонарик. Он быстро приближался, как будто это была фара мотоцикла, но без шума.

Опять глюки. Да что же это такое!

Таня замерла на месте. Она знала, что находится в совершенно чужой стране и не сможет найти защиты, а тут этот страшный бесшумный фонарик.

Она свернула и потрухала в своих тяжелых, как утюги, шлепках по кучам песка к холмам.

Но фонарик оказался рядом, слева. Голос Глюка сказал:

— Вот тебе еще три желания, Танечка. Говори!

Таня, теперь уже умная, хрипло выпалила:

— Хочу, чтобы всегда мои желания исполнялись!

— Всегда? — спросил голос как-то загадочно.

— Всегда! — ответила, вся дрожа, Таня.

Откуда-то очень сильно воняло гнилью.

— Только есть один момент, — произнес Невидимый с фонариком. — Если ты захочешь кого-нибудь спасти, то на этом твое могущество кончится. Тебе уже ничего никогда не достанется. И тебе самой придется худо.

— Да никого я не захочу спасти! — сказала, трясаясь от холода и страха, Таня. — Не такая я добренькая.

— Ну говори свое желание, — произнес голос, и запахло еще и отвратительным дымом. Гниль и дым, как на помойке.

— Хочу оказаться в своем доме с полным холодильником, и чтобы все ребята из класса были, и телефон позвонить маме.

И тут же она в чем была — в мокрых тапочках и ночной рубашке — оказалась, как во сне, у себя в новом доме в розовой спальне, а на кровати, на ковре и на диване сидели ее одноклассники, причем Катя с Сережей на одном кресле.

На полу стоял телефон, но Таня не спешила по нему звонить. Ей было весело! Все видели ее новую жизнь!

— Это твой дом? — галдели ребята. — Круто! Класс!

— И прошу всех на кухню! — сказала Таня.

Там ребята открыли холодильник и стали играть в саранчу, то есть уничтожать все припасы в холодном виде. Таня пыталась подогреть что-то, какие-то пиццы, но плита не зажигалась, какие-то кнопки не срабатывали... Потребовалось еще мороженое, пиво, Сережка попросил водки, мальчики сигарет.

Таня потихоньку, отвернувшись, пожелала себе быть самой красивой и всего того, что заказали ребята. Тут же за дверью кто-то нашел второй холодильник, тоже полный.

Таня сбежала в ванную и посмотрела на себя в зеркало. Волосы стали кудрявыми от морского воздуха, щеки были как розы, рот пухлый и красный без помады. Глаза сияли не хуже фонариков. Даже ночная рубашка выглядела как кружевное вечернее платье! Класс!

Но Сережка как сидел с Катей, так и сидел. Катя тихо ругалась с ним, когда он открыл бутылку и стал отпивать из горлышка.

— Ой, ну что ты его воспитываешь, воспитываешь! — воскликнула Таня. — Он же тебя бросит! Я все всем разрешаю! Просите чего хотите, ребята! Слышишь, Сережка? Проси у меня что хочешь, я тебе все разрешаю!

Все ребята были в восторге от Тани. Антон подошел, поцеловал Таню долгим поцелуем, как ее еще никто в жизни не целовал.

Таня торжествующе посмотрела на Катю. Они с Сережкой все еще сидели на одном кресле, но уже отвернулись друг от друга.

Антон спросил на ухо, нет ли травки покурить, Таня принесла папироски с травой, потом Сережка заплетающимся языком сказал, что есть такая страна, где свободно можно купить любой наркотик, и Таня ответила, что именно здесь такая страна, и принесла полно шприцов. Сережка с лукавым видом сразу схватил себе три, Катя пыталась вырвать их у него, но Таня постановила — пусть Сережка делает что хочет.

Катя замерла с протянутой рукой, не понимая, что происходит.

Таня чувствовала себя не хуже королевы, она могла все.

Если бы они попросили корабль или полететь на Марс, она бы все устроила. Она чувствовала себя доброй, веселой, красивой.

Она не умела колотья, ей помогли Антон и Никола. Было очень больно, но Таня только смеялась. Наконец у нее было множество друзей, все ее любили! И наконец она была не хуже других, то есть попробовала уколотья и не испугалась ничего!

Закружилась голова.

Сережка странно водил глазами по потолку, а неподвижная Катя злым взглядом смотрела на Таню и вдруг сказала:

— Я хочу домой. Мы с Сережей должны идти.

— А что ты за Сережу выступаешь? Иди одна! — еле ворочая языком, сказала Таня.

— Нет, я должна вернуться вместе с ним, я обещала его маме! — крикнула Катя.

Таня проговорила:

— Тут я распоряжаюсь. Поняла, гнида? Иди отсюда!

— Одна я не уйду! — пискнула Катя и стала смотреть, не в силах шевельнуться, на совершенно бесчувственного Сережку, но быстро растаяла, как ее писк. Никто ничего не заметил, все валялись по углам, на ковре, на Таниной кровати, как тряпичные куклы. У Сережки закатились глаза, были видны белки.

Таня залезла на кровать, где лежали и курили Ольга, Никола и Антон, они ее обняли и укрыли одеялом. Таня была все еще в своей ночной рубашке, в кружевах, как невеста.

Антон стал говорить что-то, лепетать типа «не бойсь, не бойсь», зачем-то непослушной рукой заткнул Тане рот, позвал Николу помочь. Подполз и навалился пьяный Никола. Стало нечем дышать, Таня начала рваться, но тяжелая рука расплющила ее лицо, пальцы стали давить на глаза... Таня извивалась, как могла, и Никола прыгнул на нее коленями, повторяя, что сейчас возьмет бритву... Это было, как страшный сон. Таня хотела попросить свободы, но не могла составить слова, они ускользали. Совсем не было воздуха, и трещали ребра.

И тут все вскочили с мест и обступили Таню, кривляясь и хохоча. Все открыто радовались, разевали рты. Вдруг у Аньки позеленела кожа, выкатились и побелели глаза. Распадающиеся зеленые трупы окружили кровать, у Николы из открытого рта выпал язык прямо на Танино лицо. Сережа лежал в гробу и давилась змеей, которая ползла из его же груди. И со всем этим ничего нельзя было поделать. Потом Таня пошла по черной горячей земле, из которой выпрыгивали языки пламени. Она шла прямо в раскрытый рот огромного, как заходящее солнце, лица Глюка. Было нестерпимо больно, душно, дым разъедал глаза. Она сказала, теряя сознание: «Свободы».

Когда Таня очнулась, дым все еще ел глаза. Над ней было небо со звездами. Можно было дышать.

Вокруг нее толпились какие-то взрослые люди, сама она лежала на носилках в разорванной рубашке. Над ней склонился врач, что-то ее спросил на иностранном языке. Она ничего не поняла, села. Ее дом почти уже сгорел, остались одни стены. На земле вокруг лежали какие-то кучки, накрытые одеялами, из-под одного одеяла высовывалась черная кость с обугленным мясом.

— Хочу понимать их язык,— сказала Таня.

Кто-то рядом говорил:

— Тут двадцать пять трупов. Соседи сообщили, что это недавно построенный дом, здесь никто не жил. Врач утверждает, что это были дети. По остаткам несторевавших костей. Найдены шприцы. Единственная оставшаяся в живых девочка ничего не говорит. Мы ее допросим.

— Спасибо, шеф. Вам не кажется, что это какая-то секта новой религии, которая хотела массово покончить с собой? Куда завлекли детей?

— Пока я не могу ответить на ваш вопрос, мы должны снять показания с девочки.

— А кто владелец этого дома?

— Мы все будем выяснять.

Кто-то энергично сказал:

— Какие негодяи! Загубить двадцать пять детей!

Таня, трясась от холода, произнесла на чужом языке:

— Хочу, чтобы все спаслись. Чтобы все было, как раньше.

Тут же раскололась земля, завоняло невыносимой дрянью, кто-то взвыл, как собака, которой наступили на лапу.

Потом стало тепло и тихо, но очень болела голова.

Таня лежала у себя в кровати и никак не могла проснуться.

Рядом валялся красивый журнал.

Вошел отец и сказал:

— Как ты? Глаза открыты.

Он потрогал ее лоб и вдруг открыл занавески, а Таня закричала как всегда по воскресеньям: «Ой-ой, дайте поспать раз в жизни!»

— Лежи, лежи, пожалуйста,— мирно согласился отец.— Вчера еще температура сорок, а сегодня кричишь, как здоровая!

Таня вдруг пробормотала:

— Какой страшный сон мне приснился!

А отец сказал:

— Да у тебя был бред целую неделю. Мама тебе уколы делала. Ты на каком-то языке даже говорила. Эпидемия гриппа, у вас целый класс валяется, Сережка вообще в больницу попал. Катя тоже без сознания неделю, но она раньше всех заболела. Говорила про вас, что все в каком-то розовом доме... Бред не сла. Просила спасти Сережу.

— Но все живы? — спросила Таня.

— Кто именно?

— Ну весь наш класс?

— А как же, — ответил отец. — Ты что!

— Какой страшный сон, — повторила Таня.

Она лежала и чувствовала, что из косметички, которая была спрятана в рюкзак, несет знакомой тошнотворной гнилью — там все еще находилась таблетка с дискотеки, за которую надо было отдать Николе деньги...

Ничего не кончилось. Но все были живы.

ЗАВЕЩАНИЕ СТАРОГО МОНАХА

СКАЗКА

Как-то старый монах пробирался с коробкой собранных мелких денег домой, в горный монастырь.

В монастыре, удаленном от всех дорог, дела шли плохо. Воду приходилось брать в речке глубоко в ущелье, пища состояла из огрызков хлеба и сухих лепешек, собранных в виде подаяния в окрестных скупых и безбожных деревушках, и поэтому монахи запасали в лесах дикие плоды и орехи, ягоды и травы, а также искали мед и грибы.

В этой местности для монахов напрасным трудом было бы возделывать огород, обязательно находился кто-либо, кто приходил ночью с лопатой и тележкой на уже созревший урожай — такие были нравы.

Крестьяне поэтому свирепо относились к чужакам и прохожим попрошайкам (к соседям тоже), охраняли свои грядки под ружьем, сторожили семьями да и потом старались прикопать овощи в подвалах.

Бедняцкий монастырь, стоявший без охраны в глухом лесу, то и дело навещали, окрестным парням нужны были деньги на выпивку, и в конце концов монахи стали обходиться совсем небольшим — жестяные консервные банки для кипятка, кучка соломы — на чем спать, рогожи — чем прикрываться, а мед и ягоды и прочую лесную добычу они прятали там же, в лесу, в дуплах, на манер белок.

Топили они хворостом, поскольку даже топор и пилу у них отобрали.

Собственно, у монахов и устав был такой — трудиться только на ниве Божией, только для Него, и обходиться тем же, чем обходятся мелкие нехищные существа.

Ни рыбу, ни мясо они поэтому не ели и прославляли каждый день такой жизни.

Но им нужны были мелкие деньги на свечи, на масло для самодельных жестяных лампад, на ремонт крыши, скажем; иногда надо было помочь совсем уже несчастным беднякам купить, к примеру, лекарство.

Чтобы иконы не крали, монахи расписали свой храм по мокрой штукатурке, расписали столь дивно, что были попытки вырубить эти росписи, но напрасен оказался такой зверский труд — для него нужны были музейные навыки, любовь к труду, осторожность: а когда же бандит бывает трудолюбив?

Зимой начиналась стужа, хворосту не хватало, а ломать живые ветки обитатели монастыря не хотели. Но голод и холод для монаха — не беда, а благо, и маленький монастырь в зимние месяцы к тому же отдыхал от воров.

Кто же потащится сквозь снега в гору, в обледеневший храм, хотя каждое утро монахи звонили — не в колокол, его у них сволокли и продали как цветной металлолом, а в железную балку.

Она была старинная, на ней и висел раньше колокол, и местные трудяги-воюги как ни махали киркой, так и не добыли балку.

Монахи же били по балке секретным железным ломом, который с предосторожностями прятали, он у них был единственным орудием для защиты, скажем, от диких зверей, для обкалывания льда в замерзающем ручье, для прорубания тропы в скалах.

Да и не больно охотились за этим ломом местные, его волочь по горам мало охотников, а продажа принесла бы гроши.

Так что каждое утро из монастыря по окрестным деревням разносился заунывный звон лома о балку, но никто в той местности был не дурак — тащить-ся на молитву.

Кто же зовет врача здоровому, кто чинит неломаное, к чему хлопотать перед Богом, если все в ажуре?

Отпевать — да, крестить, в праздничек возжечь свечу — это святое, а просто так бить лбом и махать рукой никто тут не собирался, за небольшим исключением в виде десятка глухих старух и парочки богомольных теток, которым, видно, нечего было делать. Еще таскались к монахам те, кто предавался горю, но горе — вещь преходящая, глядишь — и оклемался человек.

В храме зато молились сами монахи, молились за все население, отмаливали чужие грехи.

Монастырь жил спокойно, дружно и в молчании, а настоятель монастыря, старик Трифон, больше всего печалился о том, что дни его приходят к концу и некому будет вести монахов дальше — остальные жители монастыря не желали быть главными, почитали себя недостойными, даже и осуждали всякую мысль о власти над другими.

Старый Трифон говорил с Богом все время, непрерывно, его никто не отвлекал от этого занятия, разве что в праздники.

Праздники местный народ обожал, все сбредались, даже тащили вино и закуски и располагались табором по лесу, и монахи долго потом приводили местность в порядок.

Кроме того, свадьбы и похороны, а также крестины полагалось отмечать тоже у монахов.

Хотя таскаться в такую даль народ не обожал, уже давно и упорно поговаривали о том, чтобы заделать в центральном селе филиал, там ставить покойников, там крестить и венчать, а больше храм ни на что и не нужен.

Сварганить часовню — и дело с концом.

По несчастью, для этого нужно было бы потратиться, а тратиться, да еще коллективно, местный житель не любил, вокруг такого сбора денег всегда начиналось повальное воровство.

Так что иногда даже звали Трифона, и он шел, отпевал, хоронил, а затем обходил дома и собирал милостыню на монастырь.

Людишки подавали святому старцу неохотно, подозревая его в том, в чем подозревали сами себя, то есть в стремлении обогатиться за чужой счет.

Нельзя сказать, что народ на равнине бедствовал, дела шли неплохо, давно не было войн, пожаров, наводнений, засухи, всеобщего мора, скот плодился, огороды давали обильный урожай, и винные цистерны не пустовали.

Можно сказать, что благоденствие снизошло на этот край.

Хотя что касается обычаев и порядков, тут не все было благополучно: к примеру, в данной местности не любили больных, просто не терпели их, считая дармоедами.

Особенно если больной был чужой, не свой, допустим, сосед или дальний родственник.

Своих как-то еще терпели, хотя и не слишком.

Как кто заболел, тут же его и начинали обвинять: сам виноват. Лекарства дороговатеньки, врачу надо платить, так что лечили народными методами, отворяли кровь, а потом в баню, крепко попарить, а то и просто уводили в лес и оставляли там. Считалось, что если кто умрет в лесу, то прямоком попадет в рай.

Таких оставленных навещали монахи, кого было можно — переносили к себе, но что они могли дать умирающим — кипяток с сухой ягодой, ложку меда...

Люди внизу, в селениях, этого не одобряли, крепкий и простой человечиска как будто не предвидел, что когда-нибудь и ему придется лечь в лесу на мох и ждать там смерти.

Старый монах бродил без устали по дорогам, заходил в села, в городки, стоял на солнцепеке или на морозе, маленький и иссохший, и шептал молитву, и в его коробку скудно капала мелочь...

Кстати, нищих в тех краях просто не выносили и вместо подаяния донимали издевательскими вопросами и поучениями.

Но на все вопросы (действительно ли он монах, и крепко ли приклеена его борода, и не цыган ли он переодетый, и не понесет ли он чужой, заработанный кровью и потом пятак тут же в кабачок на пропитие) Трифон отвечал как-то издали, молитвой, обиняками, шутками.

Его даже специально ходили слушать местные весельчаки, они довольно хохотали, услышав слова молитвы, как будто это был просто удачный способ вернуться и оправдаться.

Монах и спал там же, где просил, в ямке, как собачонка, не уходя с одного места по нескольку суток, и уже к вечеру первого дня сердобольные бабы (в семье не без урода) приносили ему в передниках, чтобы никто не видел, куски хлеба, огородные плоды, а то и чашку горячей каши.

Некоторые на ночь глядя укрывали его, спящего, мешковиной, особенно если шел дождь.

Некоторые оставались около него посидеть, пожаловаться на жизнь, помолиться.

Однажды такой поход вниз, в городок, завершился плачевно — Трифон почти не собрал денег, да еще и как-то ночью двое прохожих отобрали у него коробку с мелочью — притиснули к земле, зашарили грубыми руками за пазухой, а когда он сказал: «Господь с вами», — просто стукнули его по голове, вытащили копилку и унесли.

Трифону жаль было коробку, ее много лет назад сделал перед смертью прежний настоятель монастыря, святой старец Антоний.

Лежа побитый на земле, он слышал, как воры за углом подрались, кому открывать ларчик, уронили его, мелочь рассыпалась, они стали светить зажигалкой, увидели свой ничтожный улов, обозлились и вернулись, чтобы вытрясти из старика его богатства. Они стащили с него ряску, стали ее ощупывать, ничего опять не обнаружили и тут начали бить старика ногами, всерьез.

Они оставили его в живых, но к утру, когда Трифон очнулся, он увидел, что ряска его порвана в клочья, а шкатулка растоптана.

Старик поднялся, собрал в горсть те мелкие монеты, которыми побрезговали бандюги, завязал их в клочок рясы, куском побольше подпоясался и в таком виде, окровавленный и грязный, потащился к реке омыть свои раны.

Там его узнали ранние прачки, они ужаснулись, отвели его к одной доброй старухе, и та стала его лечить, сшила ему новую ряску из мешковины и велела уходить из городка — защиты тут ему было не найти.

Двое ночных разбойников были известны всему городу, они давно гуляли как хотели по улицам, грабя и убивая, и их никто не трогал, так как папаша одного из них работал судьей.

Судья выпер родного сыночка из дому за домашнее воровство, и тогда блудный пашенок решил опозорить отца и сестру в тюрьму — после чего судьёю бы тоже выгнали с его почетной должности.

Однако папаня не желал расставаться с хлебным местом, и потому было дано указание не обращать никакого внимания на баловство суденька. Решили не поддаваться на провокации и не арестовывать такого фокусника.

Где нет судьи, там ходит смерть — и смерть поселилась в городке. Избитые умирали без суда и следствия, на улице или в знаменитом Райском лесу. Все боялись искать правды, никто не жаловался на разбой и грабежи, потому что самих жалобщиков как раз арестовывали и увозили из городка куда-то.

Монах много разного узнал, лежа на соломенном тюфяке в доме доброй старухи, ему даже рассказали, что рядом живет безутешная женщина, мужа которой убили, когда он поздним вечером нес ребенка к врачу в другой город. Сама мать лежала дома тоже в горячке. И, видимо, его встретила на дороге та же страшная парочка, их звали Белый и Рыжий.

До утра кричал больной малыш у трупа отца, а затем их нашла мать, которая, не дождавшись мужа с ребенком, кое-как встала и пошла по той же дороге, а именно в соседний город в больницу.

Теперь эта женщина, похоронив убитого мужа, осталась без кормильца, да и ребенок так и не поправился, и она теперь сидела нарочно у городского суда и просила милостыню на глазах у всех, а люди боялись подавать ей деньги.

Монах, как только начал подниматься, тут же пошел к зданию суда и отдал свой нищий узелок с монетами той женщине, и сказал при этом:

— Завтра утром трогайтесь в путь вдвоем по направлению к горному монастырю по той дороге, которая идет над рекой. У большого камня мы встретимся, я там буду лежать на спине около молодой елки. Сначала со мной будут двое молодых ребят, Белый и Рыжий, они оставят мне нож, потом придешь ты. Ты должна оставаться там около меня в течение тридцати дней. Через месяц твой ребеночек поправится.

Молодая нищенка прижала к груди узелок с монетками и поцеловала край рясы монаха.

А он пошел бродить по городку и в конце концов нашел что искал — кабак на окраине.

Там сидели два молодых негодяя в крикливых ковбойских костюмах, блондин и рыжий, с золотыми цепями всюду где возможно, а вокруг них носились тени убитых — этого не видел никто, кроме монаха.

Тени убитых носились печально и тихо — маленькие тени детей, тени девушек в погребальных платьях, с веночками на голове, согбенные тени стариков, их было множество.

Не зная покоя, пролетали тени двух окровавленных мужчин — этих, видимо, еще не похоронили.

Воры были недовольны, лица их налились тоской и злобой: давно уже никто после захода солнца не выходил на улицу, а если и выходили, то с провожатыми, чуть ли не толпой, да с ружьями. Народ тут был не дурак.

Последний раз удалось убить только двоих: молодой мужик бежал с доктором к рожаящей жене — об этом потом шепталась вся округа, и ребенок, пришедший на свет утром, родился уже безотцовщиной.

Но беда заключалась в том, что ни врач, ни его провожатый не имели при себе денег, и сегодня двое шутников с большой дороги оказались без копейки.

Они сидели и пили, им принесли пока что полный графин вина.

Но они знали, что при свете солнца народ не допустит бесплатного ухода из кабака, поднимут крик, сбегутся толпой, чего доброго побьют, снимут у них все золото с шей и пальцев.

И пока приползут стражи порядка, все будет уже кончено.

Напряжение росло.

Уже вокруг бармена сбилась кучка людей — огромный повар, грубый официант почему-то с топориком в руке и местный дурачок, щетинистый детина с маленькими глазками, большими кулаками и широкой улыбкой.

Тутошний народ не любил сына судьи.

Монах приблизился к двум мрачным посетителям и сел прямо перед ними, буквально за соседний столик.

Он заказал себе стакан вина и громко сказал официанту:

— У тебя будет сдача с золотой монеты? Я иду в монастырь, несу хорошую весть: один грешник завещал нам котелок с золотом!

Официант был не дурак и знал, что монахи все как один жулики, вроде они бедны, вроде они нищие, а живут! А на что? — встает вопрос.

Официант криво улыбнулся и сказал:

— Сдачи пока что не будет. Посетители не платят.

— Подожду, спаси тебя Господь,— мирно ответил старик.

И за соседним столиком прекрасно расслышали весь разговор, четыре уха растопырились, десять пальцев сжались.

Когда монах встал, не тронув своего стакана, и похромал к дверям, официант не пошел вслед за ним, потому что это сделали двое, только что бесплатно выпившие графин вина.

Они на ходу бросили официанту:

— Отдадим вдвое, но завтра!

Тот пожал плечами:

— Я пока не сошел с ума. Оставьте залог, тогда пойдете.

Пока было светло, на дороге попадались прохожие, повозки и автомобили, да и монах был слишком заметной личностью в тех местах — с ним здоровались, он благословлял спины прошедших мимо, ни у кого не было времени болтать о божественном с Трифоном.

Весь город видел, как уходил монах, и весь город знал, что монах несет золото, причем незаработанное, чужое. И что монах пил, выпил бесплатно целый графин, тоже все знали.

И никто не дрогнул, видя, как те двое внаглую, открыто сопровождают монаха десять шагов спустя.

Те двое шли в понятном озлоблении — у них только что в кабаке официант, поигрывая топориком для разделки мяса, отобрал золотую цепь и часы.

Весь город также знал, что те двое вернуться в кабак очень скоро, как только стемнеет.

А монах возвратится в монастырь как был нищий, да еще и с позором, и побитый, и так ему и надо.

Но все получилось по-другому.

Наутро из города вышла женщина, неся на плечах своего неподвижного ребенка.

Она шла твердой походкой и не посторонилась, когда навстречу ей из лесу шагнули две попачканные кровью фигуры в ковбойских костюмах.

Но почему-то женщина с ребенком осталась жива, а вот в пункт охраны порядка заявился сын судьи с жалобой, что он только что убил монаха, а друг тут ни при чем.

Как всегда его не стали слушать, заскучали, отвернулись и ушли по кабинетам.

Однако же никто не знал, что между женщиной и двумя убийцами там, на дороге, состоялся разговор.

Заступив ей путь, один сказал:

— Куда идет такая молодая?

— Меня ждет монах Трифон, — ответила побледневшая женщина.

— Монах? — переспросили двое и переглянулись.

— Монах Трифон, который просил милостыню.

— Он тебя не ждет, — насмешливо возразил первый и своей рукой с запекшейся под ногтями кровью тронул грудь женщины.

— Он меня ждет, — отстраняясь, возразила она и сняла с плеч ребенка. — Он ждет меня над рекой на верхней дороге под молодой елкой, он лежит на спине с ножом там, где большой камень.

— Откуда ты знаешь? — спросил первый глухо.

— Он сказал, что вы двое, Белый и Рыжий, там его встретите... У камня. И он будет там лежать с ножом. — Тут она внезапно догадалась, что произошло, и твердо закончила: — Вы его там убьете, сказал Трифон, и оставите нож в груди!

— Он так и сказал? — беспокоивно смеясь, переспросил Рыжий.

— Да! И он велел мне сидеть около него тридцать дней. Молиться. И потом мой ребенок пойдет.

И она поставила сыночка на дорогу, и ножки его подкосились. Он не мог стоять.

— Прощайте, — сказала женщина, подняла ребенка на плечи и зашагала.

Двое, не глядя друг на друга, пошли в город.

И показания их были настолько упорными и настойчивыми, что через два дня стражи поехали на верхнюю дорогу собирать материал, однако ничего там они не нашли.

У большого камня под молодой елочкой была просто куча сухой земли, на которой горела копеечная свечка.

Там трое монахов читали молитвы, там бледная как смерть женщина сидела, прижав к себе ребенка, а рядом, на костре, варились грибы в жестяной банке.

Тем не менее двое парней упорствовали, требуя себе смертной казни, они называли место и время убийства и предъявляли свои бурые от крови ногти.

Мало того, они назвали еще сто двадцать три преступления и даже отвели полицию к скупщику краденого, однако этот человек заявил, что он их не знает, хотя охотно вынесет всем бутылку собственного вина из подвала только что построенного дома.

Разбойников выгнали в шею, и они исчезли из города.

Убийства и грабежи прекратились.

Через месяц в город вошли двое — среди бела дня по улице двигалась молодая вдова, она вела за ручку ребенка. Тот шел медленно, но все-таки шел сам!

Мать с ребенком проходили по городу, и встречные женщины, как подсолнухи, поворачивали головы им вслед и застывали так надолго.

— Парень ходит, — шептали рты.

Тут же матери, жены и дочери больных (а таких в городе оказалось немало) узнали о происшедшем чуде, и все они стучались в домик вдовы, и всем она говорила одно и то же — что прожила месяц с ребенком у могилы святого монаха Трифона, что случайно повесила на елку кофточку своего сына, и он тут же поднялся на ножки.

А месяц тому назад они пришли по верхней дороге к большому камню и увидели там лежащего на спине с ножом в груди (он держал нож рукой) умирающего монаха, который очнулся и благословил их, а потом попросил вызвать своих товарищей из монастыря, со всеми простился и велел похоронить его тут же, у камня.

А самой женщине он ничего не сказал, но она помнила его завещание — прожить месяц около него. Было страшно, что придут двое разбойников, и она все ночи жгла костер, ровно месяц, а потом наступило лето, было совсем жарко, и она повесила кофточку ребенка на ель — и мальчик встал на ножки.

Весь город точно обезумел: ребенка носили из дома в дом, буквально не давая ему ходить, целые процессии тронулись по верхней дороге, везли больных, шли попросить у святого Трифона кто жениха, кто богатства, кто освобождения из тюрьмы, а кто и Божьего наказания обнаглевшему соседу.

Монахи из горного монастыря поставили часовню у святой могилы, к ним стал стекаться народ, тут же мэр города построил гостиницу для приезжих из других мест, наладилась продажа воды из ручья, елку оградил, за вход брали плату, но все это не коснулось монастыря. Монахи его жили все той же жизнью, ничего не ели, а все добро раздавали бедным.

Очень скоро выяснилось, что старец помогает не всем, а только честным, чистым, обездоленным, преимущественно вдовам с детьми.

Но шли все, кому было нужно, разве остановишь поток? И потом, кто это, скажите, не честный, не чистый и не обездоленный в наше время? И какая древняя старушка — не вдова с детьми, спрашивается?

Кстати, число монахов выросло — было пятнадцать, стало семнадцать, и двое новых никогда не показываются людям, они днем и ночью молятся в верхнем храме, не решаясь спуститься вниз по горной дороге к могиле старика, которого они убили и который их спас.

СПАСЕННЫЙ

СКАЗКА

Только в лунные ночи случаются такие происшествия, и в маленьком приморском поселке стали происходить в самую глухую пору странные вещи: вроде бы выросал сам собой дом из дикого камня, почти крепость, зияющий черными провалами вместо окон и дверей, но высотой в три этажа и под крепкой крышей — он стоял, освещенный луной, и исчезал как призрак с первыми волнами рассвета.

Шальные ночные туристы забредали в эти места, ища острых ощущений, они карабкались по осыпающейся дорожке среди бедных строений, жители спали, и только недостроенный замок торчал, сияя белым камнем, как давно разрушенная крепость, и взирал на полную луну черными дырами, за которыми там, внутри, клубился как бы туман.

Но ночные туристы когда-нибудь да ложились спать на подстилке под кустом, полные страшных впечатлений, и со временем наступало утро, и пора было возвращаться на берег моря, и все выглядело беднее, глупее и проще, и никакой зловещей крепости не громоздилось над бедными выселками.

Однако еще кое-кто знал про исчезающий дом — это был мальчик-старшеклассник, который вставал затемно и шел с сетью к морю.

Каждую ночь он видел недостроенную крепость, но днем, когда он возвращался к себе в холмы с уловом, никакой крепости не было; парень, однако, никого ни о чем не спрашивал, в этих краях лучше было ничем не интересоваться, еще и убьют.

Крепость вполне могла оказаться ночным пристанищем таких сил, которые способны были свободно убирать ее на дневное время.

Его мать, владелица трех коз и клочка сухой земли, работала медсестрой в санатории, собирала травы и знала много чего, но тоже никого в эти дела не посвящала.

Они оба с сыном были не из этих мест, когда-то молоденькая мать выцарапалась из развалин со своим трехлетним ребенком, спасла его во время

землетрясения, а муж ее так и остался лежать там, в глубине, в случайной могиле под бетонной горой — в момент подземного толчка он возился с машиной в гараже.

Там он, вместе с грудой железа, и остался вопрошать судьбу, уйдя глубоко в бездонную щель, а его жена как только не мыкалась, где только не надрывалась, бывшая студентка без профессии, однако к зрелым годам все-таки какой-то домишко у нее образовался, сын рос тихим и работающим, видно, его детство осталось там, под камнями, где они с матерью просидели больше суток, согнувшись в три погибели, и мать все утешала его, пела песенки, а сама скреблась ногтями, разбирала куски бетона, а земля все вздрагивала. Мать осторожно, стараясь не разбудить нависшую над ними плиту, откладывала камушек за камушком, и открыла крошечный лаз наверх, и протиснула туда своего сыночка, а он никуда не ушел от выпустившей его дыры, лежал и плакал, шаря ручкой в узкой норе — мама да мама. По надрывному крику его и обнаружили спасатели, хотели унести, но он заверещал, потому что именно в этот момент поймал руку мамы там, внизу.

Один спасатель догадался посмотреть, чем же это защемило ручку младенца, и увидел в глубине, во тьме, несколько окровавленных пальцев. На всякий случай крикнули туда, в щель, и услышали осмысленный ответ, что разбирать нужно осторожно, сижу под нависшей плитой.

Так что мальчик, родившийся в хорошем доме за тысячи километров отсюда, рос под крылом своей молчаливой матери совсем не таким, каким он мог бы вырасти в той, прежней, жизни — он бы там ездил на машине в университет, играл на рояле, жил среди отцовской и дедовой библиотеки, а тут он лазил по скалам, рубил аметистовые жилы на продажу, нырял за раковинами, ловил рыбу, плавал, как дельфин, и мог на одних руках вскарабкаться на дерево.

Так решила воспитывать его мать, она постановила, что вырастит его человеком, который способен все вынести, любую тяжелую работу, все преодолеть.

Сама она тоже все преодолела, начав строить свой домишко на выселках, в холмах на улице Палисандр, в том месте, где запрещалось селиться, — местные несколько раз поджигали ее сарайчик, старухи предупреждали Лизавету, что место проклятое, но Лизавета так хорошо лечила их детей, что в конце концов ее оставили в покое. Пусть ей будет хуже, решили местные и отступились.

Нигде в другом месте, кстати, ей было бы не построиться — земля тут, на теплом побережье, шла по бешеным ценам.

Поэтому Кита местные сторонились, как прокаженного.

Он ловил рыбу, брал книги в пустовавшей поселковой библиотеке, и мать купила ему в городе дешевую деревянную флейту, пачку нот, кое-что они вместе разобрали в самоучителе, а дальше мальчишка и сам полюбил, сидя в лодке на рассвете далеко от берега, насвистывать Моцарта.

Только товарищей ему не было, поскольку местные ребята и девушки, веселые дети, знали от своих веселых родителей все что надо и сторонились Лизаветиного сына Кита — и правильно делали.

К Лизавете ходили за травами, за козьи́м молоком, поскольку ее козы были какие-то не такие, кудрявые, и считалось, что их молоко буквально лечит от кашля.

А свитера, которые Лизавета вязала из пуха своих коз, славились тем, что прогоняли ломоту в костях.

Но у Лизаветы и ее сына было прозвище Спасенные, и в школе Кита так и называли: «Ну ты, Спасенный, дай списать».

Их так прозвали, потому что местные туманно помнили историю юной Лизаветы, прибывшей в поселок с сыном, из вещей у них имелся только пакет со справкой, что они спасены при землетрясении.

Но, с другой стороны, это была такая шутка местных — в поселке ходила старая сказка, что, когда придет время убийств, против них выйдет один спасенный с крестом в руке.

А убийства начались уже давно: однажды в некотором большом доме на улице Палисандр один брат-колдун извел ребенка другого брата-колдуна из-за обыкновенной семейной зависти. И хотя вся эта семейка друг друга перебила, а упомянутый дом вскоре сгорел и превратился в развалины, и даже место это было проклято, но циркулировал упорный слух, что, когда вернется кто-нибудь умерший из семейства Палисандр, дом встанет опять, и каждому из поселковых будет дано право на три убийства.

Что же касается Лизаветы, то она получила, как бы в насмешку, участок именно там, в холмах (другая земля нужна была своим).

Однако Кит почему-то знал, что здесь не кончится их жизнь, что она продлится где-то там, вдали, в больших путешествиях, среди иных людей, и поэтому спокойно ловил рыбу на чужой лодке, спокойно отдавал хозяйке этой старой посуды половину своего улова, а другую половину нес домой коптить для продажи: он всему был научен. И его мать умела все.

У нее только не было сил возвращаться в прежнюю жизнь, где она была дочерью врача и сама уже почти врач...

Все ее родные погибли в ту ночь, на их костях возник новый город, понаехало строителей, и Лиза, сбежав оттуда, теперь боялась этого города и его новых жителей.

После больницы ее устроили медсестрой подальше от катастрофы, в детский лагерь на берегу моря, и она так там и осталась...

Таким образом, молодой рыбак Кит каждую ночь видел исчезающий дом, прямо через дорогу от собственной ржавой калитки, но всякий раз, выходя на дорогу, он торопился к морю, тем более что ночи стояли здесь темные, и Кит не мог рассмотреть подробно, что это за дом и не белеет ли это туча над обрывом. А затем в соседний залив вошла огромная стая местной рыбы-собаки, и Кит выходил на лов уже с вечера.

Но настала первая ясная ночь, и дом явственно возник под неверным, обманчивым лунным светом.

Кит собрался, как обычно, промчатся мимо, спеша вниз по дороге к морю, но вдруг заметил наверху, в черном проеме пустого окна, что-то удлинненное и блестящее, похожее на рыбку в воде.

Он остановился, держа сеть на плече.

На подоконнике лежала ослепительно белая рука, видная по локоть.

Кит, как на магните, приближался к дому.

Рука выступала из тьмы и сияла в лунном луче там, высоко, под самой крышей, в окне третьего этажа. Она выглядела сверкающей, как будто была сделана из отполированного мрамора. Как экспонат в музее, где Кит бывал с матерью на каникулах.

Кит, добытчик в семье, не мог пройти мимо такого сокровища.

Никакая отдельно лежащая рука его не пугала.

Он начал искать путь вверх по стене.

Кит вообще не боялся ничего. Он тренировал себя, блуждая по горам в поисках хороших камней, устремлялся по опасным карнизам, которые могли сойти на нет над пропастью. Он спокойно ходил среди дикой приморской шпаны, как олень ходит среди львов: это была для него привычная среда обитания. Он учился, кстати, у своего кота Мура, который при виде собак садился неподвижно, как тумбочка, никогда от них не убегал и дожил до почтенного уже возраста невредимым.

Кстати, Мур, следовавший за своим господином куда угодно, не выносил берега моря. Там приходилось то и дело сидеть тумбочкой — у прибрежных ресторанов ходили в поисках милостыни вредные собаки.

Итак, Кит немедленно повесил сеть с внутренней стороны своего забора и кошачьим шагом бесшумно пересек каменистую дорогу.

Затем он сунул голову в дверной проем и обнаружил там полную пустоту до самой крыши — собственно, ничего другого ожидать было нельзя, только свет месяца заполнял тьму, туманными пучками лился внутрь, слегка клубясь...

Кит нашел, пошарив глазами, то окно наверху, и внезапно в этом косом прямоугольнике возникла темная тень: как бы приподнялась рука и помахала. Маленькая, узкая рука с длинными пальцами... И опять бессильно легла.

Кит выскочил к своей калитке — сияющая длинная рыбка все так же лежала в оконном проеме.

«Мало спал», — решил юнец и кинулся снова в дом. За ним, отчаянно мякая, выскочил из дырки в заборе кот Мур.

Мур, кстати сказать, очень любил своего хозяина и не выносил разлуки с ним — особенно когда Кит закрывал за собой дверь, готовя уроки. Или уходил из дому. Мур преследовал Кита даже в горах, объявлялся в самом неподходящем месте, например, на скале, куда Кит лез, и отчаянно орал сверху, взывая о спасении.

Приходилось фукать на Мура. После такого фуканья Мур обижался (видимо, на кошачьем языке это страшное оскорбление) и исчезал на полдня.

Итак, Кит фукнул на кота, уцепился своими сильными пальцами за нижний подоконник, подтянулся и пополз по вертикальной стене вверх. Для опытного скалолаза в каменной кладке всегда найдутся трещина и выступ, а в своей погоне за аметистами в горах, среди потухших вулканов, вдруг заметив далеко вверху слом каменной жилы и стеклянный фиолетовый блеск, Кит добирался до нужного места иногда только на руках, болтая ногами вне опоры и находя ее где-то сбоку и выше.

У Кита, кстати, была лучшая коллекция местных камней, о которой никто не подозревал, дребедень он сбывал местным ювелирам.

Короче, голова Кита появилась на уровне того самого подоконника, но он был пуст — рука теперь висела в клубящемся темном пространстве, она указывала куда-то пальцем.

Кит присел на парапет окна и, само собой разумеется, посмотрел туда, куда направлен был палец.

Как раз там, в туманной темной дали, в горах, плавилась яркая белая точка, как фокус в стеклянной лупе под солнцем.

Мальчик присмотрелся к точке, подрассчитал расстояние и понял, что светится что-то на скале, известной в местных кругах как Вражье Копыто.

Рука сама собой растаяла, и Кит немедленно спустился и рысью понесся вон из поселка по горной тропе.

Через час он сидел на вершине Копыта, однако никакого сияния здесь не наблюдалось.

Все еще стояла светлая лунная ночь, на горизонте виднелась белая вертикальная полоса — это была лунная дорожка на невидимом море.

Надо было спускаться. Вот примерещилось-то!

Однако он вдруг расслышал чей-то возглас, похожий на стон, склонился над пропастью и увидел там, в густом мраке, маленькую белую руку, вцепившуюся в камень под ногами Кита, на расстоянии двух метров.

Кит полез вниз и поймал эту скрюченную руку как раз в тот момент, когда загремела мелкая осыпь из-под ног прилипшего к стене существа...

Кит спустился вместе с этим существом, повисшим у него на плече, и ему пришлось нести бесчувственное тельце назад, и уже на тропе по ту сторону уще-

ля он рассмотрел раскаленную точку на покинутой им скале — она сияла точно на том месте, откуда недавно отвалился последний камешек, за который держалась бедная девочка, а это была девочка у него на плече, худенькая, с каким-то туманным лицом в свете луны.

Тем временем точка заелозила на далеком камне, сорвалась и стала зигзагами шарить по скалам.

Кит даже опустил свою ношу на тропу, так его заинтересовала пляска этого лунного зайчика.

Точка тем временем подобралась ближе и вдруг прыгнула на девочку, заметалась, кинулась ей в глаза и скакнула к морю.

Девочка встрепенулась, вскочила и помчалась за мелкой огненной искрой, не открывая глаз.

Кит, разумеется, ринулся следом.

Но девочка неслась как вихрь, долетела до ближайшей дороги, там стоял темный, без фар, автомобиль.

Хлопнула дверца, машина взревела, все исчезло.

Кит пошел домой, забрал свой невод и двинулся вниз к лодке, однако драгоценное время было упущено, близился рассвет, и удачливый в обычные дни Кит зря закидывал сеть и насвистывал Моцарта: рыба ушла.

Следующую ночь Кит встретил у своей калитки — и медленно, как вздымающееся над горой облако, возник дом, и на третьем этаже в проеме окна, не таясь, появилась рука — она указывала перстом в море.

Кит быстро оказался в своей лодке и стал грести со скоростью заводной игрушки, со скоростью биения ходиков на кухне, но сердце его колотилось еще быстрее.

В том месте, где плавилось в волнах белое сияние световой точки, Кит остановил лодку и стал смотреть вокруг, но волны были пустынные.

Тогда Кит сообразил и нырнул, поскольку заметил, что точка дымится на глубине. Кит нырял зверски, ловил рапанов как японская девушка ама, он прочесал все пространство вокруг лодки — и все безрезультатно.

И только когда Кит нырнул вертикально ко дну, он увидел громадный белый сверток, который, кружась, уходил, несомый течением в самую бездну.

Кит устремился за этим страшным коконом, ухватил развевающийся край ткани и подтянулся к телу (а это было тело, завернутое с головой).

Но что-то мешало ему поднять свою ношу вверх — это был луч от пляшущего вверх светового пятна. На нем, как на острие, была наколота белая фигура, и луч вел ее в глубины.

Кит извернулся, выскочил наружу, вдохнул и опять бросился, но теперь уже наперерез лучу, стараясь спускаться, держа его на собственной спине.

Связь светового копья и тела, таким образом, прервалась — тело болталось в воде, уже как бы обмякнув, и Кит умудрился обхватить утопленника и, держа его под собой, выплыть наверх к лодке.

Много времени ушло на разматывание белого кокона, Кит долго разворачивал плотные влажные пелены, пока наконец не показалось лицо с широко открытыми глазами.

Это была все та же девушка, вчерашняя малютка, но теперь уже совсем без признаков жизни.

Кит, приморский обитатель, знал, как делается искусственное дыхание, и очень скоро девушка задрожала, извергла из уст массу воды, закашлялась и открыла глаза.

Лодка мчалась к берегу, а фокус света остался бессмысленно покоиться в волнах, как поплавок при неудачной рыбалке.

Кит греб спиной к берегу и все время видел пятнышко в море, видел, как оно резко засияло, вырвавшись из воды, как заметалось и во мгновение ока, не успел гребец и моргнуть, очутилось на голове у полусидящей в лодке девушки.

Источник света был все там же, где-то на высоком берегу.

Дева вздрогнула, напряглась, выпрыгнула из лодки и помчалась по мелким волнам к земле.

Но уж тут у Кита не было равных — в гонке по мелководью.

Он только должен был затащить лодку на берег, чужую лодку, которая стоила слишком дорого для бедной матери Кита.

В несколько прыжков Кит перегнал бегунью и грудью пересек путь луча.

Девушка остановилась, хрипло дыша.

Кит взял ее за руку и повел за собой, луч прыгал и метался, ища свою жертву и не находя ее, и Кит тоже прыгал, как кот, играющий с мышью.

Они шли все выше, все дальше от моря, и наконец Кит выбрался на дорогу, которая вела к его дому.

На этом шоссе стояла все та же машина, изнутри которой, из-за темного стекла, пылал узкий, как лезвие, луч, ровный по всей длине (странно, и вдали он тоже не расплывается, подумал Кит).

Кит вилял, прятался в кусты, поскольку луч ощутимо прожигал, как крапивой, его грудь, но луч находил его. При последнем подъеме пришлось даже бежать, чтобы скорее понять, что делать.

Девушка за спиной у Кита начала, видимо, просыпаться, стала выдергивать свою руку из ладони Кита.

Луч тоже заметался, заплясал в воздухе, как бы выписывая крупные буквы.

Но у Кита была довольно мощная грудная клетка, а девушка была маленькая. Луч вилял напрасно.

Азарт защитника проснулся в до сей поры спокойном Ките.

Однако он все-таки сделал ошибку, решив открыть дверцу машины и хорошо замазать невидимому убийце.

Луч тут же уперся в открывшуюся на момент девушку, она шарахнулась с безумной силой, вырвалась из железной руки Кита, прыгнула с другой стороны к машине — раздался щелчок открываемой дверцы, стук, рев, и автомобиль исчез.

Единственное, что все-таки рассмотрел Кит, бросившись вслед за девушкой к открываемой дверце, что внутри машины никого не было.

Там не было ни руля, ни сидений.

Там клубилась тьма.

Она на мгновение вырвалась из дверцы и отбросила Кита как бы мощным ударом.

Он очнулся уже при свете утра в придорожном рву и с пустыми руками поплелся к своему дому.

На следующий день, перед рассветом, он ушел в море при плохой погоде, но ведь улова не было уже несколько дней, и внезапно ему посчастливилось: он увидел какое-то легкое свечение на волнах, стал грести туда, и стая странной, невиданной рыбы пошла плясать вокруг его лодки. Вода просто вскипала.

Однако наловил он немного, всего четыре штуки, рыба ушла так же внезапно, как и появилась.

Да еще и на берегу его поджидала неприятность.

Когда он нес свой улов, его застучали три всем известных друга — это был страшный рассветный час, когда сон от них ушел, хмель выветривался, вызывая дрожь во всех конечностях, включая голову, когда вся их загубленная, пропащая жизнь требовала ответа на главный вопрос: где найти выпить?

Они попросили у Кита немного денег или часы.

Такого еще не бывало в поселке.

Кит ответил им как надо, незаметно сняв с руки часы за спиной.

Кит давно не нравился трем приятелям, и они обрадовались поводу слегка его поучить, как надо вести себя со старшими.

Готовясь к обороне, Кит незаметно нагнулся и спрятал часы за большим камнем, где обычно привязывал свою лодку.

Потом он посмотрел наверх, в холмы, на улицу Палисандр, где жила его мать. Не то чтобы он ждал оттуда спасения, нет. Он посмотрел туда, ища глазами мать. И вдруг увидел, что в холмах стоит новый высокий белый дом, абсолютно явственный.

Трое друзей тоже оглянулись и тоже увидели дом.

— Ну все, каждому разрешено по три убийства, — сказал самый страшный друг, а остальные двое засмеялись.

Они окружили его, и Кит получил первый удар, под дых.

Когда его кровь уже начала уходить в песок, а денег и часов не нашлось, парни засомневались, следует ли оставлять Кита в таком виде снаружи, на поверхности земли. Пока что они столкнули лодку в море, озабоченно перекрикиваясь: пусть думают, что мальчик ушел и не вернулся. Улов они вытащили, все-таки приморские были ребята, знали толк в рыбе, а эта оказалась крупная и нездешняя.

Кита надо было бы так же столкнуть в волны.

Однако на берегу уже появились какие-то люди, и трое приятелей заботливо, с криком «ох, говорили ему» поволокли Кита (как мертвецки пьяного) с собой и, оглянувшись, отнесли его и закрыли в подвале спасательной станции.

Они как раз подрабатывали спасателями раз в трое суток.

Затем, все еще посмеиваясь, они позвонили дружку трактористу насчет выпивки и в ожидании пустили красивую, крупную рыбу на жареху, а спустя небольшое время приехал на тракторе этот друг с рыбозавода — и не без бутылки.

Все обрадовались.

Тракторист увидел улов.

— Чо, привезли откуда? — спросил он.

— Наловил один чужак, — ответили ему.

— Не, у нас такой тут нету, — возразил тракторист.

— У вас нету, а у нас вот имеется, — сказал самый страшный шутник, так и завершился этот разговор.

Компания из четырех приятелей выпила спирт и закусила жареной рыбкой (тракторист отказался), после чего данный тракторист вынужден был свезти этих друзей в лазарет, где они быстро отправились в лучший мир.

В поселке зашумели: три смерти в один вечер!

Многие смотрели в сторону улицы Палисандр, где возвышался белый, плотный, как грозовая туча, новый дом.

Многие стали точить ножи и варить травку, опасную травку цикуту.

В полдень того же дня мать Кита встревожилась и сбегала к хозяйке лодки. Они вместе спустились к морю. Лодки не было. Хозяйка сразу заподозрила, что Кит не вернулся.

Но мать тут же увидела, что на обычном месте, где Кит швартовался, лежит, полужарывшийся в песок, его шлепка — старенькая резиновая вьетнамка, он ходил летом в этой обуви.

Она стала перерывать все вокруг и увидела часы — аккуратно снятые, ремешок целый, лежат свернутые. Сын специально их сюда положил. Он очень ценил эти водонепроницаемые часы, он сам их купил.

Под набережной валялась вторая шлепка.

Поэтому Лиза поняла, что Кит не в море.

Она стала искать следы на пляже, ничего не нашла, все было истоптано загорающими, а к вечеру сообразила, сама себе кивнула и принесла на берег старого кота.

Мур дико испугался шумного моря, вздыбил шерсть на бегущую мимо собачку, но хозяйка взяла его на руки и до ночи ходила с ним вдоль пляжа и у домов, успокаивая серенького.

Вблизи лодочной станции кот стал вырываться, прыгнул наземь и начал орать у какой-то железной двери.

Мало того, он лег и лапой стал поддевать дверку — он делал так обычно, просясь к Киту.

Дверь открыли новые спасатели, проникли в подал, вызвали «Скорую», вытащили умирающего, мать сидела в больнице у сына неделю, причем Кит в бреду упоминал какой-то луч в море и рыб, приплывших на этот луч.

— Зачем, зачем я? — говорил он.

Спустя неделю она перевезла его домой, и там, в дальней комнатухе, стала выпаивать Кита отварами трав и молоком, а напротив их калитки уже вовсю ворочался подъемный кран — там строили еще и гараж в добавление к трехэтажному дому из дикого камня, который возник буквально за одну ночь.

Однажды на рассвете, когда Кит стал выздоравливать и открыл глаза, он встал, вышел на крылечко и увидел этот дом, огромный, как грозовая туча, уже с окнами и дверями, даже с занавесками. И на третьем этаже, в крайнем окне светилась лампа.

Притянутый непонятной силой, Кит подошел поближе и стал смотреть наверх.

Там, за приоткрытым окном, на стене, был виден портрет молодой женщины.

Это лицо Кит уже видел дважды в своей жизни — в те ночи, когда луч играл свою непонятную игру с горами и волнами, пытаясь погубить девушку.

На стене висел именно ее портрет.

Но это было не совсем то же лицо — как будто бы лет на пять постарше.

На портрете молодая женщина сидела в окне, положив свою белую руку на подоконник.

Кит вернулся к себе, а мать уже знала, что он выздоровел, и молилась перед иконой.

Потом она зашла к нему и рассказала, что ей удалось устроиться в построенный напротив дом убирать, платить будут хорошо. Хозяйка оказалась женщиной порядочной, даже интересовалась здоровьем Кита, откуда-то узнав его имя. Даже дала ей коробку витаминов для него.

(Лиза сходила и закопала эти витамины на местном кладбище, неизвестно почему. То есть она думала, что в любом другом месте вдруг да кто-то лет сто спустя начнет копать колодец или что-то сажать, а на кладбище и так уже все умершие, и яд им не повредит. Со времен землетрясения Лиза хорошо предчувствовала последствия тех или иных человеческих действий. Кроме того, Лиза просто была очень умная, она уже убирала в доме и видела на третьем этаже большую девочку — эти же витамины стояли на ее столике.)

В следующий раз, придя убирать к больной, она заварила ей своего чаю и заставила выпить две кружки.

— Так будет вам лучше, — сказала Лиза.

Уже с первого дня было видно, что хозяйка пичкает лекарствами свою молодую дочь с безбрежной щедростью.

Как бы в ответ на такую заботу больная хирела просто на глазах.

Или это была не ее дочь, уж больно они были не похожи; кроме того, судя по разнице в возрасте, такая мамаша должна была родить такую дочь лет в одиннадцать: больной на вид шестнадцать, а матери в лучшем случае двадцать семь.

Лиза также пыталась поить девочку козьим молоком, но это было сурово запрещено, раз и навсегда. Молоко было выплеснуто в раковину в бешенстве.

Молодая хозяйка все время жаловалась: на то, что все уползает из рук, что разбита жизнь, что как-то так происходит, но сил хватает только на три раза (Лиза сообразила, о чем идет речь, однако кивнула с сочувствием).

— Только на три раза! — с силой, но горестно восклицала женщина.— И вторая попытка не удалась, вы подумайте! А те три парня, это уже пришла власть убийц. Это не считается. Это знаменитая рыба, ее надо знать. Рыба фугу.

А Кит вечером смотрел из своего сада, с раскладушки, на еле светящееся окно под крышей дома напротив.

Лампа озаряла портрет на стене и узкую белую руку нарисованной дамы.

В обязанности Лизы входило после ежедневной уборки кормить обессиленную больную (в основном лекарствами), сама Палисандрия к девочке не прикасалась, в кухню не заходила и никогда ничего не ела. («У меня такая диета»,— со смехом говорила эта слишком молодая мать.)

Однажды днем, латая сети в тени своего грецкого ореха, Кит увидел, что от дома отъезжает знакомая черная машина. Лиза, которая варила варенье, встрепенулась, сняла кастрюлю с плиты, нащупала в кармане ключи, взяла с полки бутылочку с настоем и сказала Киту:

— Что-то случилось. Я схожу.

— Я с тобой,— откликнулся Кит.

Они пошли к большому дому, но ни один ключ не открыл двери.

Лиза стучалась напрасно.

Тогда Кит посмотрел вверх, где окно третьего этажа было, как всегда, открыто, и увидел, что на подоконник опустилась ворона, а две другие сели на карниз крыши.

Кит ослабел за последнее время, но если кто научился взбираться на отвесную стену, то это остается у него навсегда (как остается умение плавать). Так по крайней мере думал сам Кит.

Он уже как будто не раз лазил на эту именно стену.

Не очень скоро Кит оказался на третьем этаже, влез в окно, затем быстро выглянул и сказал:

— По-моему, все.

— Попробуй открыть дверь,— ответила Лиза, забежала к себе, прихватила икону и встала у подъезда большого дома.

Кит возился с замком по ту сторону и наконец нашел какие-то тайные защелки. Дверь открылась.

Они поднялись по лестнице в ту комнату, где лежала умершая девушка.

Наверху Лиза вдруг решила:

— Нет, здесь не годится.

Вдвоем они подняли тощее бездыханное тельце и понесли к себе в дом.

Лиза велела Киту вскипятить воду и стала делать искусственное дыхание, прижавшись ртом ко рту девушки.

Кит сидел, читая медицинский справочник, главу «Реанимирование».

Он не умел плакать, но во рту у него было горько и сухо, а сердце билось где-то в районе желудка и горело огнем.

Это была та самая девушка, которую он дважды спасал.

Тут мать коротко крикнула:

— Дай воды!

Он отнес чайник и увидел, что девушка дышит, а мать растворяет какой-то истолченный травяной порошок в мисочке с кипятком и осторожно, ложечкой, поит больную.

Так пролетело время.

И тут Кит заметил на своем окне, занавешенном плотной портьерой, пляску какого-то как бы луча карманного фонарика.

Он сказал матери:

— Беги и спрячься подальше.

Лиза знала своего сына и мгновенно исчезла.

Лучик пробивался сквозь портьеру, упорно стремясь к телу девушки.

Кит двинулся навстречу этому лучу.

Он открыл окно, перешагнул подоконник и, пошатываясь как перед сильным ветром, пошел, нанизанный на световое острие, плавающий конец которого уже начал прожигать ему грудь, а другой конец, вернее, исток — Кит теперь уже это знал, — исходил из недр черной машины, той самой машины, битком набитой клубящейся пустотой.

Луч упирался ему в грудь, прямо в нательный крестик, и плясал, стараясь увильнуть.

Кит шел напрямую через заросли и холмы, шел по лучу, иногда проваливался в ямы, но луч оставался все так же туго натянутым, не плясал, не искал никого, стойко упираясь в известную цель, и мальчик мгновенно выскакивал из любой ловушки, чтобы нанизаться на лезвие света и заслонить девушку.

Сколько длилось это путешествие, он не помнил, но вдруг очнулся и увидел, что луча больше нет.

На груди у Кита дымилась глубокая ранка, поверх нее блестел нательный крестик.

Кит стоял уже на верхнем шоссе, у черной машины, а внутри нее, за темными стеклами, клубилась, переворачиваясь, какая-то дымная масса с проблесками как бы искр.

Кит подошел ближе, заглянул в лобовое стекло.

Последний раз блеснуло изнутри, как выстрел, и парень ощутил смертную боль в груди.

Он упал на капот, звякнул его крестик, и Кит, защищая, прикрыл его ладонью, и вдруг стало как-то необыкновенно легко.

Через мгновение Кит стоял у вполне обычной машины и с любопытством заглядывал внутрь — а там было пусто. Ни стекол, ни руля, ни сидений.

Видимо, машина стояла давно, и любители запчастей ее уже всю разобрали по домам, как трудовые муравьи, которые ведь тоже воры, если вдуматься.

Когда он с легкой душой, целый и невредимый (грудь только слегка ломило) спустился к себе, напротив их дома лежала гряда камней, приготовленных для стройки. Дворец исчез.

И у дороги валялась засыпанная цементной крошкой картина в раме.

Кит поднял эту запыленную картину, протер ее и явственно увидел портрет молодой женщины. Ее рука, белая и прекрасная, лежала на подоконнике какого-то неизвестного окна.

Дома было тихо, мать напевала в кухне, постукивала ложечка о кастрюльку.

Он оставил портрет пока что в сенях.

В дальней комнате слышался негромкий голос:

— Ну и что ты пришла, глупая? Зачем ты это делаешь? Выплюнь сей-час же!

Кит осторожно заглянул в полуотворенную дверь.

На кровати лежала девушка и вела разговор с кем-то невидимым.

Кит сдвинулся влево и увидел младшую козу Зорьку, которая беззвучно жевала скатерть.

Что касается Мура, то он находился на столе, что ему было категорически запрещено, спина коромыслом, и стоячими от возмущения глазами смотрел на козу, которая выедала из-под него скатерть.

Кот даже тихо сказал ругательное «фук», коза не расслышала.

Тут явилась мама Лиза с очередным чаем, кот прыгнул и изобразил тумбочку, обмотавшись хвостом, козу увели, и жизнь пошла своим ходом.

Никто ни о чем не спрашивал девушку, пока она однажды сама, извиняясь, не спросила:

— Вы не знаете, у меня ничего не пропало?

— Успокойся, ничего,— ответила Лиза.

— У меня была мачеха...

— Куда-то делась,— сказал Кит.— Как бы испарилась.

— Отец умер, я знаю... Потом ко мне приехала жить мачеха... Предъявила завещание... Моя мама погибла при землетрясении пятнадцать лет назад...

Лиза невольно кашлянула.

— Мачеха показала все — свидетельство о браке, даже свадебные фотографии... Я тоже там была снята, держала букет... Какой-то ужас... Письма папы... Он писал, что должен подготовить свою упрямую дочку к мысли о новой маме... Дочь растет неуправляемой, писал он... Только ты сможешь ее обуздать...

— Не верь,— сказала Лиза.

— Он ей писал «лапа моя». У него и слов таких не было. «И цыпленочку».

— Бред,— откликнулась Лиза.

— У нее имелось отцово завещание. Какое завещание? Он был, правда, уже немолодой, сорок с лишним лет... Но он был крепкий старик! Его так и не нашли в море... Он погиб случайно! «Все движимое и недвижимое завещаю моей жене Палисандрии...» Правда, папина далекая тетя пошла в суд и заявила, что все равно я имею право на сколько-то процентов. Но в завещании было написано: неперемное условие на эти мои деньги построить дом именно почему-то здесь... Улица Палисандр... Бывший дом семь...

— Это тут, напротив,— сказала Лиза.— Она называлась Палисандр. Там, говорят, стоял дом, и там один брат убил ребенка другого брата... Дом сгорел в результате. И никому не разрешали селиться на улице Палисандр. И тут построились совсем новые люди, вроде нас, потому что поселковые избегают этого места... Кто-то проклял его, сказал, что, если дом вернется на прежнее место, начнется власть убийц. И у каждого будет право на три убийства. Но не своей рукой. Как-то так. С помощью чего-то постороннего. Кто что придумает: кто яд, кто умную клевету. Кто тайное облучение... И один спасенный должен был встать против них, держа в руке крест. Такая легенда.

— Мне очень хотелось убить себя,— сказала девушка.— Я не соглашалась жить с ней, но она поселилась у нас. Мне прописали лекарства. Она привезла меня сюда, к морю. Мы жили на Морской улице, дом пять... Но я убежала и то пыталась сброситься со скалы, то утонуть в море... Меня звал свет, и я чувствовала, что летаю, как бабочка. Последний мой бред, как она мне говорила, был умереть в своей кровати под портретом мамы. И Палисандрия сказала: «Хорошо»,— быстро построила дом и дала мне комнату. И повесила там портрет мамы. Чтобы мое желание исполнилось. Этот портрет — единственное, что осталось после землетрясения. Мне снилось, что мама протягивает мне руку и спасает меня.

— Так оно и было,— сказал Кит и принес ту самую картину.

Девушка прижала портрет к груди, обвела глазами комнатушку, в которой лежала, по белым стенам здесь висели акварели, в углу горела лампадка под иконой.

— Это теперь твоя комната,— сказала Лизавета.

— Моя комната? — спросила девушка.— Я тут умру?

— Ну как раз! — быстро возразила Лизавета, вешая портрет на гвоздик, как бы специально ждавший этого в центре стены.

Женщина с портрета смотрела туманно и нежно, и ее ослепительно белая рука лежала на подоконнике того окна, которое давно уже истлело где-то в развалинах землетрясения...

ТРИ ПУТЕШЕСТВИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ МЕНИППЕИ

Первое путешествие

Один старый человек очень хотел куда-то уйти. За свою долгую жизнь он и на море успел побывать, и в горах, которые особенно любил, и на севере, и на юге. Но все это были скучные, обязательные поездки: заранее покупался билет, жена собирала вещи, и путешественники приезжали по точному адресу и уезжали в назначенное время.

Как-то раз рано вечером, когда летнее солнце уже скрывалось за домами, а вся семья где-то там, за городом, села пить чай в маленьком доме — наш старый человек тоже собирался ехать к ним на дачу, — вдруг в потолке открылся квадратный люк, как будто он всегда там был и вел на чердак.

Старый человек не испугался, а обрадовался, поставил стул на стол, забрался наверх и, подтянувшись, залез на чердак, в темное, сухое и высокое пространство.

То есть он понимал, что это невозможно, наверху, на шестом этаже, жили люди, которые вечно топали, перекрикивались и ночами заводили музыку.

Второе путешествие

— повторяла я про себя, идя вверх по узкой древней улице города Н.

Первое путешествие

— но теперь тут старого человека встретила тишина, высоко во тьме угадывалась крыша, а вдали, в глубине чердака, сияло что-то — окно или открытая дверца —

Второе путешествие

еще я думала о том, насколько странной выглядит моя собственная нынешняя поездка сюда, в этот незнакомый маленький город Н., который привиделся мне вчерашней ночью на шоссе, когда некто Александр, широко размахивая обеими руками, вез меня на своей машине по извилистому горному шоссе. Это было —

Третье путешествие

Александр смеялся, рассказывал какие-то истории, бурно жестикулируя. Кажется, речь шла о том, какой он хороший водитель. Я сидела рядом с ним (так называемое место смертника) и размышляла, довольно тупо, о том, что еще секунда, и мы с ним и с его очень взволнованной женой, которая со смехом поддакивала своему мужу с заднего сиденья, еще секунда — и мы окажемся на дне темной пропасти, которая угадывалась за мелькающими сбоку огоньками заграждения.

Это маленькое расстояние между жизнью и смертью видится человеку в редкие минуты его жизни. Даже когда он подозревает, что есть шанс попасть в авиакатастрофу или, например, отравиться и в его мозгу возникает яркая картина последствий (вплоть до похорон), даже тогда он редко сворачивает с пути, сдает билет или выплевывает в тарелку кусок жареной рыбы фугу, которую ему подали в якобы японском ресторане.

Мне очень хотелось сказать моему веселому шоферу, что я больше не хочу ехать в его машине.

Но как это сделать?

Не следовало его обижать, тем более что другой возможности вернуться в гостиницу не было, этот Александр любезно согласился подвезти меня из приморского ресторана, где был шумный праздник, обратно в наш отель, — мы жили там все вместе как участники конференции под названием «Фантазия и реальность».

Собственно говоря, я сразу увидела, что он сильно пьян и возбужден, как только мне на него указали. Он стоял у своей машины какой-то темный, оскаленный, как собака. Как осужденный на казнь. Лицо его было искажено гримасой гибели (складки от носа ко рту, безвольно повисшая нижняя губа).

Была еще одна возможность — попытаться взять такси. Но где оно тут, в этом городишке, в час ночи, и потом до нашего отеля километров сорок. То есть довольно большие деньги. Нас здесь только кормили и содержали в тепле, как подопытных животных, а также оплатили нам проезд, все.

Как каждый нормальный человек я, стало быть, не сдала свой билет на самолет и не выплюнула подозрительную рыбу фугу на японскую тарелку.

И вот этот жуткий путь, мелькают огоньки, водитель не касается руками руля и кричит о том, что никогда не попадал в автомобильные катастрофы, а жена повторяет с заднего сиденья: «Да, Александр — гениальный шофер!»

Мне очень хочется возразить, что гениальными шоферами набиты все кладбища мира, но я молчу.

Мы находимся в стране великих писателей (правду сказать, в каждой стране есть свои великие писатели), и я вдруг думаю, что — весьма возможно, — погибнув на этом шоссе, я окажусь в некоей новой «Божественной комедии», и там, в сумрачном свете Лимба, в круге первом, но вовсе не на сияющем зеленом холме, а попроще, в писательской столовой на чердаке какого-то деревянного дома (туда надо подниматься по широкой лестнице), и там сидят за столиками Данте, Боккаччо, Буццатти, Толстой, Чехов, Джойс, Пруст. У нас в России есть такие дома творчества. И в них действительно встречаются за столом разные писатели, и новенькому в таком месте приходится на первых порах довольно тяжело.

И вот я, рухнув с Александром в пропасть, окажусь в этой писательской столовой, и вдруг свободное место будет только за столом, где сидят вместе Толстой, Чехов и Бунин. Я подойду, а они на меня уставятся, особенно будет недоумен Толстой... Да и те двое...

Смешные, конечно, мысли возникли тогда у меня, а вслух я сказала, что боюсь, когда водитель не касается руля. Да еще ночью, да еще на такой скорости, да еще на горной дороге. Я не сказала «да еще и такой пьяный».

Может быть, перспектива ужина за одним столом с неприветливыми, хмурыми русскими классиками мне, кандидату на тот свет, представилась не слишком привлекательной.

— Оу! — воскликнул Александр с громким, довольным смехом. (Его глупая жена поддержала его смех, а мы неслись почти среди облаков, темных ночных облаков, виляя на мокром шоссе туда-сюда, как собачий хвост.) — Ооу! Вы еще не знаете, как я умею водить!

— Эйх! Охохо! — взвизгнула его бешеная жена, и наша собака опять резко вильнула могучим хвостом, и я невольно крепко прижалась к горячему боку водителя, чтобы через мгновение оказаться прижатой к дверце.

Александр делал все, чтобы я, не теряя ни секунды, оказалась в компании Чехова и Толстого.

Я сделала еще одну попытку спастись:

— Ой, мне нехорошо, я выйду! Остановите! Я пойду пешком!

— Ой! Сейчас-сейчас мы приедем, осталось двадцать минут всего! — завопил буйный Александр, выделывая руками штуки, как испанская танцовщица с кастаньетами.

Как же он поворачивал руль? Неужели он управлял машиной так же, как это делают в цирке клоуны на одноколесном велосипеде? То есть усилием воли?

Я представила себе, как трудно будет родным получить мое тело оттуда, из пропасти, и как сложно будет отлепить меня от Александра.

— Остановите! — сказала я, прижав руку к горлу и опустив голову. Одновременно я вся перекосилась, как от лимона. Мимически я старалась показать, как мне нехорошо.

В таких ужасных ситуациях даже закаленные стюардессы бегут на помощь и протягивают пакетик.

Эти двое ничего не заметили. Они не подумали, к примеру, о том, что их машину нужно будет долго мыть и проветривать...

Пантомима оказалась неувиденной, мои зрители сами играли спектакль. Это я должна была на них смотреть!

— Нет!!! — заверещала жена Александра сзади. — Он ТАК быстро еще никогда не ездил! Рекорд! Он лучший водитель в мире! Шумахер, иди домой! Фак оф! Гет аут оф хиа!

— Оу йес! — веселясь, крикнул победитель Шумахера. — «Формула-один», фак аут!

Мы опять вильнули, и я поочередно присосалась сначала к Александру, потом к боковому стеклу. Я посылала родным и любимым прощальный привет, летя в темных небесах. Я воображала себе, однако, почему-то рай. Рай в той простой форме, которая много раз была уже изображена, допустим, маленькими голландцами: овечки, олени, кусты, реки и горы в кудрявых деревьях — и ни одного человека. Внизу подпись: «РАЙ».

Как это, погодите (ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ): один старый человек очень хотел куда-то уйти.

Я ведь еще не написала это!

За всю свою длинную жизнь он и на море побывал, и в особенно любимых им горах, и на севере, и на юге. А я это не написала! Не успела!

И теперь (ТРЕТЬЕ П.), летя в крошечной тьме при взрывах дьявольского хохота моего подозрительно загорелого и очень пьяного шофера, а также лохматой, как ведьма, его жены, я подумала о великом Данте, о его остроумной идее разместить своих врагов сразу в аду!

Этот жанр называется «мениппея», рассказ, действие которого происходит в загробном мире.

И это тот доклад, который я, видимо, тоже уже не успела прочесть на конференции «Фантазия и реальность»!

Жанр мениппеи (будущий доклад)

Итак, Данте и круги ада. Мало того что современник Данте, древний читатель, никогда в аду не бывавший, будет с трепетом и ужасом (но и со злорадством постороннего) ходить вслед за автором по всем этим страшным кругам и пропастям, наблюдая муки и позор своих знатных земляков, причем будучи в полной безопасности, — мало того, Данте, великий хитрец, сделал вид, что все написано было много раньше! И напроорочил будущие преступления, смерти, изгнания, и это, разумеется, к моменту выхода книги уже сбылось! А врагов своих автор запузрырил в самые жуткие места ада. И это тоже сбудется, думал простой читатель... Такие богатые, известные жители Флоренции, начальники, страшно подумать, оказались блудливыми ворами! А Беатриче там, на том свете, теперь самая святая, кто бы мог предположить. Простая ведь была женщина, умерла немолодой, двадцати семи лет...

Третье п.

И, летя на предельной скорости в ночной тьме по горному шоссе, быстро приближаясь при этом к недовольному Толстому и Чехову, я думала:

Жанр мениппеи (будущий доклад)

какой роскошный это жанр, мениппея, мениппова сатура!

Какой это роскошный жанр, что автор в письменном виде отомстит всем врагам, превознесет своих любимых и сам при этом безнаказанно остается парить над миром как пророк.

Но, поскольку наша конференция «Фантазия и реальность», созванная, по-моему, с одной исключительно целью — заполнить этот пустующий зимой отель (причем это сборище частично финансировал как раз хозяин отеля, и непонятно, зачем это ему нужно), — итак, поскольку наша конференция посвящена как раз теме фантазии, то мне будет позволено здесь поговорить о каком-то одном аспекте мениппеи, о проблеме перехода из фантазии в реальность.

Я бы назвала этот переход как-нибудь просто: трансмарш.

Таких переходов из этого мира в тот множество — это путешествия, сны, перепрыгивания, перелезания через стену, спуски и подъемы. Даже просто пребывание за столом или в машине, к примеру. Но тип перехода, я бы предложила, если бы осталась в живых (тут я снова поздоровалась с дверью, с лобовым стеклом и — затем — с Александром), может быть разный.

То ли это действительно переход, явное для читателя действие (как в «Божественной комедии» Данте), явный трансмарш, то ли все происходит совершенно незаметно для читателя, и это трансмарш тайный.

Допустим, герой (а с ним и читатель) давно уже находится на том свете, но еще не подозревает об этом. Вот мы — мы простодушно мчимся, виляем, как тяжелая нижняя часть танцора, исполняющего старинный танец твист. И так же простодушно мы не понимаем, что давным-давно уже взорвались, ударившись о скалы там, внизу, и гром, и вспышка света, дым и гарь, запах паленого уже разнеслись по ущелью.

Но мы мчимся, едем, приезжаем в свой отель, разбредаемся по номерам, принимаем душ как живые люди, ложимся в постели, читаем на ночь журнальчик или смотрим телевизор, а уже в пять утра к нам в номера беспрепятственно, открыв дверь запасными ключами, войдут люди и, не обращая внимания ни на какие возмущенные возгласы, начнут просматривать и собирать наши разбросанные вещи, отвечать на вопросы полицейских, искать наши паспорта...

— Вы что, вы куда?! — завопит разбуженный Александр, но его никто не услышит, и сквозь него, который вскочил и ищет свои трусы, прошел и сел в кресло полицейский, а дежурный сквозь жену Александра поднимает ее подушку, проверяя, не осталось ли там чего...

Это как раз второй тип переходного периода в мениппее, тайный трансмарш.

Если только это будет мениппея, а не простенький рассказ из американского сборника фантастики.

Третье путешествие

Снова серия поцелуев: окно — Александр — окно. Энергичный кивок в сторону лобового стекла, это Александр показывает свое умение тормозить. Ногами он пользуется, кстати.

Продолжаю составлять мой будущий доклад в экстремальной обстановке возможной мениппеи.

Жанр мениппеи (будущий доклад, тезисы)

1. Существует такой вариант: читатель понял, что переход (трансмарш) совершен, герой уже ушел в загробный мир, а герой все никак не догадается (как в вышеописанном случае).

2. Или герой уже догадался и испугался, а читатель еще не догадался, но уже боится.

3. Или автор прямым текстом говорит о трансмарше (в «Божественной комедии» Вергилий сразу сообщает Данте: «Я не человек, я был им» и дальше: «Иди за мной»).

4. Бывает и хуже — читатель не понял, где вообще происходит действие и о чем речь.

Но самое замечательное, что можно смешать все типы трансмарша, и тогда вас поймет только очень тонкий и умный собеседник (не тот, из пункта № 4 «Тезисов»). То есть повествование начинается на этом свете, но безо всякого объявления вдруг оказывается на том. Нечто вроде путешествия, нормального путешествия. И все нормально заканчивается. Все живы. Герои приехали куда стремились, но вот беда, страна очень странная, люди все одеты в белые хитоны, ничего не едят и только водят хороводы... Причем временами отталкиваются от предметов и летают.

Это такая игра с читателем. Повествование — загадка. Кто не понял — тот не наш читатель. Но кто понял...

О вы, кто все понимает!

Третье путешествие

Какой странный у нас слалом — все вверх и вверх, вжжик! Вжжик! (Привет, дверь! Прощай, дверь, привет, Александр!)

Крик сзади:

— О, за нами кто-то едет! А ну дай им в морду, Александр!

Меня вдавливают в спинку сиденья, как космонавта. Мы уходим от погони крутыми зигзагами. Хорошо, что на этом ночном мокром шоссе пока что все едут в одну сторону, от моря. И никто не догадается помчаться ночью от отеля к морю! Тогда бы точно это был уже исследуемый нами жанр и трансмарш!

Обращение к читателю

Итак, о вы, читатели, которые все понимают! Лучшие из этого мира, избранные! Те, кто (может быть) будет искать мои тексты в путанице слов Третьего Тысячелетия!!!

С годами мы все меняемся, но в старину, когда я еще только начала писать свои рассказы, я постановила никогда и ничем не привлекать читателя, а только его отталкивать. Не облегчать ему чтение! Не использовать ни юмора, ни сатиры, ни смешных и остроумных деталей, ни красивых сравнений, от которых сама всегда приходила в восторг, читая других авторов.

Также я отказалась от диалогов, которые (если они смешно написаны) являются самым основным видом привлечения читателя.

Третье путешествие

— Александр! Этот Шумахер отстал! Фак ю! «Формула-один!» — кричит сзади пока еще не вдова.

— Оу йес! — вопит водитель, маша обоими кулаками в воздухе, в пятидесяти сантиметрах над рулем.

Опять обращение к читателю

О мой читатель, повторяла я, трясаясь и временами прыгая в стороны, как жрец религии вуду в трансе, я еще в самом начале своей литературной деятельности знала, что он будет самым умным. Самым тонким и чувствительным. Он поймет меня и там, где я скрою свои чувства, где я буду безжалостна к своим несчастливым героям. Где я надену маску рассказчицы из толпы. Где я прямо и просто, не смешно, без эпитетов, образов и остроумных портретов, без живых диалогов, скупое, как человек на остановке автобуса, расскажу другому человеку историю третьего человека. Расскажу так, что он вздрогнет, а я — я уйду, оставив его догадываться, кто ему рассказал эту историю и зачем.

И свои загадочные, странные, мистические истории я расскажу, ни единым словом не раскрывая их тайны... Пусть догадываются сами.

Я спрячу ирреальное в груди осколков реальности.

(Но мне, честно говоря, долго пришлось ждать своего читателя. Чужие читатели меня запретили сразу! Моя первая книжка вышла двадцать лет спустя.)

(ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.) Неожиданный поцелуй в плечо Александра. Грубый поцелуй в дверцу.

(ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ.) Вот такого читателя я себе придумала — и только с ним и прожила до сих пор, пока мне не встретился этот кошмарный Александр (ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ), у которого была одна заветная мечта — участвовать в «Формуле-один», и эта мечта осуществлялась только ночью, в пьяном виде и по горной дороге! Такой сложнейший вид спорта!

Он ездил в специально ухудшенных условиях плюс без рук, как ребенок на велосипеде, плюс без скафандра. Он, видимо, презирал водителей «Формулы-один». Днем, на хорошей трассе, да с механиками, да на болиде, который стоит миллионы долларов! Это каждый дурак может!

Он искал своих ценителей, непризнанный гений, и его жена восхищалась им.

Это была их маленькая, видимо, тайна, ночные гонки.

(К ЧИТАТЕЛЮ.) Ну что ж, я его понимаю — в литературе я тоже не пользовалась ничем, выскакивала на опасную дорогу как есть и мчалась на дикой скорости, возможно, пугая Тебя, о читатель!

(ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.) И вдруг на повороте шоссе, на той, дальней стороне огромной пропасти, там мелькнул туманный, светящийся, сонный городок — он лепился вокруг скалы, громоздились плоские крыши, арки с колоннадами, ворота, узкие переходы, крутые лестницы, храмы со шпилями, и все венчал высокий замок с башней наверху и с мощным прожектором. Город был, как кружево старинного чайного цвета, он мелькнул на фоне темного, бархатного неба и скрылся за поворотом (вжжик!).

— Что?! — закричала я. — Мне надо! Срочно! Стойте! Это что было?

— Это что, это что, уот из ит? — запел Александр. — Файв минут! Мы дома через пять минут!

— Сколько километров до отеля? — спросила я.

— Пятнадцать только! — маша руками и ногами, крикнул Александр, и я опять тесно к нему прижалась, как сирота на похоронах, но только на секунду. Потом я столь же бурно пожаловалась дверце. Видимо, так нерегулярно качало пассажиров в тонущем «Титанике».

Затем прошла ночь, и утром за завтраком я кисло поздоровалась с Александром. Он выглядел тусклым, бледным и меня почему-то не заме-

тил. Проществовал мимо меня, как мимо пустого места. Жены не оказалось с ним.

В зале, куда я вошла, было несколько человек, и они тоже не ответили на мое приветствие, правда, довольно тихое. Жужжали свое.

Остальные не явились, видимо, переживали последствия вчерашнего буйного ужина в ресторане за счет местного департамента культуры, который возглавлял тоже наш хозяин отеля. Он тут все возглавлял.

Со мной не поздоровался и наш постоянный мальчик, толстый и сонный официант, который обычно резво бегал, разнося блюда, но отдавал работе и клиентам только тело — голова его покоилась непосредственно на плечах и оставалась неподвижной. Он ее никогда не использовал для разговоров с посетителями. Он был двоюродным племянником хозяина отеля. Все тут были его родственниками, видимо.

Я сама налила себе кофе.

За окнами погода была тусклая, моросил еще вчерашний дождик.

Я вернулась в номер, где все оказалось мгновенно убраным и выглядело, как вчера вечером, когда я ввалилась после страшного ночного путешествия и плюхнулась на гладко застеленное ложе.

Горничная так быстро все убрала! Впечатление было, что я здесь и не ночевала!

Второе путешествие

Спустя час я уже ехала в местном синем автобусе в сторону моря.

Где-то там, на пятнадцатом километре от отеля, должен был находиться мой волшебный ночной город, который вчера так туманно сиял на фоне темных небес.

Первое путешествие

Итак, один старый человек очень хотел куда-то уйти...

Второе путешествие

Этот город, его арки, зубчатые стены, храмы, башни, колоннады, вчера он медленно вращался вокруг скалы, заворачиваясь винтом, увлекая внутрь своей воронки, я туда еду, как всегда, сочиняя на ходу —

Первое путешествие

Как будто бы один старый человек тоже хотел куда-то уйти. За свою длинную жизнь он побывал и на море, и в своих любимых горах, и в степях, и на севере, и на юге, но все это были скучные поездки, для отдыха: заранее покупался билет, жена собирала чемоданы, сумки, путешественники приезжали по точному адресу и уезжали в назначенное время.

Как-то раз рано вечером, когда летнее солнце уже скрывалось за домами, а вся семья где-то там, за городом, села пить чай в маленьком доме, наш старый человек тоже собирался ехать к ним на дачу, как вдруг в потолке открылся квадратный люк, как будто он всегда там был и вел на чердак.

Старый человек не испугался, а обрадовался, поставил стул на стол, забрался наверх и, подтянувшись, залез на чердак, в темное, сухое и высокое пространство.

То есть он понимал, что это невозможно, — наверху, на шестом этаже, жили люди, которые вечно топали, перекрикивались и ночами заводили музыку.

Но теперь тут была тишина, высоко во тьме угадывалась крыша, а вдали сияло что-то — окно или открытая дверца.

Старый человек пошел на свет и обнаружил там прорубленную в крыше неровную дыру, в нее свисали длинные сухие нити.

Человек осторожно вылез и оказался на большом лугу, который шел до самого горизонта, и приходилось стоять по колено в цветах.

Оглядевшись, человек увидел у своих ног какую-то небольшую нору типа кротовой. Она медленно осыпалась и на глазах затягивалась травой.

Как-то вроде получалось, что там, внизу, под этой травой, остался большой дом, улицы, провода, потоки машин, летний вечер пятницы, заходящее солнце, вечер пятницы, множество людей.

Там, на том же нижнем уровне, под травой, должна была, видимо, оказаться и вся семья старого человека, его бедные дети, его суровая жена и вечно обиженная совсем старая мама.

Но эта мысль как-то прошла мимо человека, чтобы уже больше не возвращаться. Он постарался отогнать, забыть ее.

Его очень заинтересовала теперешняя жизнь, ее высший уровень, этот луг, над которым стояло теплое, нежаркое солнце. Тут поддувал душистый ветерок с запахом зелени и сладкими ароматами цветов, кажется, что мелких гвоздик, и этот простор радовал душу, он был виден до самого края земли, до каких-то лесов в синей дымке и даже до гор на горизонте.

И старый человек зашагал куда глаза глядят. Ему встретилось несколько низких плодовых деревьев, вишня с почти черными спелыми ягодами, широко раскинувшаяся слива, на ветвях которой плоды висели попарно вниз головой, как попугайчики, а потом он увидел и яблоню с прекрасными белыми, чуть ли не прозрачными плодами, которые так и манили попробовать их. Но человек опасался, что где-то рядом окажутся хозяева и им не понравится такое вольное поведение, и он поборол искушение.

Затем пошли кусты роз, диких старинных роз, и каждый цветок был похож на блюдечко белой пены, розовой в сердцевине, а из зеленых бутонов высывались красные клювы будущих цветов.

Под кустом спелой малины человек увидел первое живое существо — сначала от испуга дрогнуло сердце, когда в тени что-то резко шевельнулось. Но это оказался маленький зайчонок, который дернул ухом.

Человек нагнулся и погладил это живое творение по спинке. Шерсть была прохладной и шелковистой, как у кота. Зайчик не испугался, не отпрыгнул, а вместо этого прижался к ноге человека и только что не замурлыкал.

Вдали, как оказалось, паслись олениха с детенышем, а в глубине этой пасторали, у блеснувшей воды, ни много ни мало как обозначилась длинная шея пятнистого жирафа!

«Попал в зоопарк, вот это да!» — подумал человек.

Все подступало к глазам постепенно.

Проявились густые, кудрявые заросли, усыпанные крупными цветами, и пошла петлять зеленая река, в которой отражались ивы.

Ни единого местного жителя не было видно здесь, и старый человек поймал себя на чувстве страха и неудобства. Встретить в таких райских местах аборигенов — это почти точная гарантия, что тебя погонят отсюда в какие-то пустынные области, где земля голая и каменистая, где холодно и свищут ветры, метет снег и нет приюта.

Красивые места все распределены давным-давно, думал человек.

Однако никто из двуногих не появлялся.

Раньше, блуждая по лесам и полям вокруг своей дачи (у семейства имелся какой-то смешной, почти фанерный домишко, поставленный еще отцом-умельцем на клочке земли, а также почти японский по своим размерам садик, где все было поделено на грядки-посадки, где постоянно попадались под ноги шланги, ведра и тяпки для прополки), блуждая в окрестностях, старый человек постоянно уходил от тесного семейного мирка, старался никого не видеть, но в своих скитаниях он частенько натыкался на таких же блуждающих людей, которые

смотрели на него пустыми, чужими глазами, как бы отталкиваясь. Он сам, наоборот, так же смотрел на них.

Из своих странствий старый человек обычно приносил домой диковинные камешки, которые находил в ручьях и на дорогах. У него был нюх, инстинкт собирателя, он умел обнаруживать древние окаменелости, отпечатки раковин и растений на совершенно неприметных серых камешках, иногда даже попадались хорошие большие экземпляры, и он волок их домой с трудом, на плече, но когда он торжественно вываливал свой улов дома, то семья как-то не разделяла его восторгов, посмотрят из вежливости и разойдутся, куда опять эти булыжники... Дети, его мальчики, не разделяли любви отца к диковинам. Не удалось также и вызвать в них особой привязанности. Всему мешала жена, которая относилась к мужу как к школьнику, который не учит уроков. Старому человеку печально было в семье и жалко старую мать, которая бесконечно жаловалась.

Теперь он оторвался от всех и был один, вернее, не один, потому что маленький заяц все не отставал от него, прыгал около ног клубочком, как котенок.

Единственное существо, которое когда-то любило старого человека безусловно, — это был черно-белый кот Мишка, существо, подобранное в погибающем виде у помойки. У этого помоечного котенка была еще и ранка на ухе, и жена боялась заразиться, но болячку удалось вылечить, остался только шрам в виде полоски.

Кот Миша обычно ждал возвращения старого человека с работы, как восхода солнца. Он спал всегда у хозяина под боком. Когда все смотрели телевизор, Мишка глядел на своего хозяина, как бы молясь, не моргая, вылупив свои желтые очи, и все это продолжалось часами.

Потом Миша исчез. Прошло лет двадцать. У старого человека уже была другая семья, а он все еще не мог завести себе нового кота. Он жил с уверенностью, что встретит Мишку.

Старый человек остановился и подобрал зайчонка, а потом дунул ему в мордочку и сунул себе за пазуху. Зайчик сразу угрелся, подобрал свои холодные уши и лапки и, видно, заснул. Это был не кот, чтобы мурчать, но от него шло тепло.

Так вот, бывало, засыпал у него за пиджаком Мишка, взятый на прогулку.

Мишка однажды пропал, когда старый человек — тогда еще вполне молодой — приехал домой после долгого отсутствия. И тут же нужно было, положив вещи, срочно бежать на работу.

Мишка тогда помолился у ног своего хозяина, потоптался и прыгнул к нему на колени. Тут же он замурчал, закружился, прилег, блаженно закрыв глаза, но его сняли на пол. Больше его никто не видел. Видимо, сильно соскучившись, кот выскочил из дома вслед за своим божеством, побежал вдогонку, отстал и заблудился.

Старый человек долго искал Мишку.

Его старшая дочь, теперь уже совсем взрослое существо со своими детьми, а тогда небольшая, день и ночь плакала по коту, они вдвоем с отцом вешали объявления на домах и остановках, ходили по квартирам.

Однажды, поздно вечером, испытывая привычную тоску в груди, старый человек (тогда еще не старый) вдруг почувствовал, что что-то кончилось, оборвалось. Боль отпустила, страх за Мишку кончился. Человек понял, что Мишки больше нет на свете, его страдания прекратились. Он уже не голодает, не плачет, не зовет, его не дерут чужие коты, не преследуют собаки, ему не холодно. Все.

Вскоре после этого его жена ушла с дочкой к другому человеку, мотивируя это тем, что ей надоело врать, надоело прыгать из койки в койку, а здесь ее не любят.

И та жизнь кончилась.

А теперь, шагая по короткой густой траве, среди высоких цветов, летним жарким полднем, старый человек не чувствовал ни усталости, ни голода. Было хо-

рошо. Все время открывались новые пространства, впереди его ожидали горы, обещающие подъемы и панорамы, спуски и ручьи, а в ручьях обещающая дивной красоты камни. Может быть, лиловые аметисты или прозрачные розовые агаты.

Было весело и прекрасно, комок пуха за пазухой согревал душу.

И вдруг впереди, за деревьями, обозначилось что-то человеческое, прямоугольное. У природы не может быть таких форм. Это была крыша дома. Старый человек насторожился и хотел было обойти дом за километр по кругу, однако прятаться было еще хуже, получилось бы как воровство. Все равно найдут и попрут уйти в еще более грубой форме.

Надо же узнать в конце концов, где мы с Иваном находимся, подумал человек. Он уже успел назвать зайца Иваном.

Хотя в глубине души человеку как раз ничего не хотелось знать. Так иногда бессонной ночью не хочется смотреть на часы.

Он понимал, что что-то здесь не так, что этот поход вверх, за потолок, не совсем уместается в рамки реальности. И не безумие ли здесь?

Тем не менее, как бы выполняя свой долг, человек поднялся на крыльцо и постучал.

Никто не откликнулся, пришлось постучать еще. Молчание было ответом. Дверь оказалась какая-то странная — без замочной скважины, без звонка. Только круглая ручка. Оставалось открыть и войти.

Внутри пахло солнцем, то есть нагретым деревом. Никакой пыли и паутины, но и никого в доме.

Круглый стол, лампочки нет, проводов тоже, однако есть стулья, икона в углу (человек поклонился и перекрестился). В углу тахта под пестрым ковриком, радио на тумбочке.

Человек включил его. Послышались громкие, торжественные звуки арфы. Музыка сразу заполнила дом.

Заяц за пазухой выпростал ухо, стал им водить, прислушиваясь.

Человек испугался, что распоряжается в чужом месте. Он выключил радио. Затем пришлось выпустить проснувшегося Ивана на пол, и тот мгновенно ускакал в открытую дверь, присел на мгновение и исчез в слепящем солнечном прямоугольнике.

Упрыгал, дикий зверек.

Человек опять остался один.

И тут в углу, на тахте, под пестрым ковриком, что-то начало подниматься бугром. Что-то росло, топорщилось, вытягивалось.

Старый человек вздрогнул, отступил.

Из-под коврика выползло нечто небольшое, потянулось, и кто-то взглянул светлыми желтыми глазами на старого человека.

Кто-то, сверкая черным и белым, замер, как бы молясь, и вдруг стронулся с места и нерешительно пошел по коврику к человеку, и кто-то спрыгнул, приблизился и потерял усатой щекой о его ногу. И раздалось самозабвенное мурлыканье.

Человек погладил этого чужого кота неуверенно, а потом вдруг пальцы поймали на левом ухе твердую полосочку, шрам.

Человек присел на тахту. И кот Мишка, исчезнувший много лет назад, вошел к нему на колени, потоптался, покружился, лег и замер, напевая свою вечную песенку, одну на все времена.

Второе путешествие

Я продолжала свое движение в тархтящем синем автобусе по горной дороге вдоль глубокого ущелья и вдруг увидела, что над пропастью в одном месте разрушено ограждение и толкуются люди, сверху стрекочет вертолет с тросом, протянутым вниз, тут же стоят машина «Скорой помощи» и две с мигалками.

Наш шофер быстро проскочил это место, как бы в испуге, а я долго выворачивала шею, высматривая, что там делает вертолет.

Кому-то страшно не повезло.

Все в автобусе прильнули к окнам на нашей стороне, а одна маленькая девочка прыгнула на мое сиденье и, святая простота, при этом буквально взгромоздилась на меня и так продолжала ехать. И ее толстая маленькая мама села рядом и ни словечка не сказала! Хорошо, что они быстро сошли.

Однако вот оно: впереди, в бледном свете полдня, под непроницаемыми, сияющими, как слои перламутра, облаками, возник висящий над поворотом ущелья светлый городишко цвета старых кружев.

Но днем это уже было не то, не было темного бархата, на котором бы это сияло.

Я сошла с автобуса, причем шофер хлопнул дверцами прямо по мне, видимо, торопясь. Мне было не больно, но неприятно.

Неожиданно для себя я очутилась на узкой улице, вымощенной кирпичом, около двухэтажного дома, очень старого, с деревянными пластинчатыми ставнями и длинным балконом через весь второй этаж.

Ставни были прикрыты, но неплотно, а центральная балконная дверь стояла чуть ли не настежь, показывая внутреннюю тьму дома. Запустение окутывало его, хотя в трех левых окнах второго этажа горели сквозь деревянные планки огни. Я вошла под арку ворот неизвестно зачем. Там была укреплен железная вывеска: «Художественная керамика».

Я проследовала через эту сырую подворотню. Старый дворик, мощный разными по величине булыжниками, таил в себе неожиданную роскошь — в глубине, в каменной стене, сложенной из огромных валунов, находился древний водопровод, львиная голова, как бы изъеденная проказой, из пасти которой вылезал обыкновенный водопроводный кран, как будто льва стошнило.

Под стеной стояли разнообразно хромые дачные стулья, составленные как собеседники, в кружок.

Здесь явно сиживали художники-керамисты, вон и тачка валяется на боку, заляпанная глиной.

Я живо представила себе бородатые лица, озаренные пламенем печи, и ступила в подъезд. Там, на стене очень старой лестничной клетки, опять висела вывеска «Художественная керамика» со стрелкой наверх.

Древние, выщербленные мраморные ступени привели меня на второй этаж. Слева оказалась высокая деревянная дверь с той же вывеской, но наглухо и давно, видно, запертая. На ручке, которой я коснулась, лежала пыль.

Можно также было пойти направо, там дверь была распахнута, но странная робость незваного гостя сковала мои движения. Где-то, видимо, горела печь, слышались голоса, а тут молчание, запах извести, тьма, мрачный коридор, неизвестно куда идущий, слева закрытые жалюзи окна, справа же (я уже ступила в этот коридор) зияла пустая, темная, побеленная комната без дверей. Из нее, как из пещеры, несло затхлой сыростью, отсутствием человека. Она робко приглашала зайти, светясь свежей извесью, как каждая пустая комната, — звала войти и поселиться навсегда. Но я шла дальше, во тьму высокого коридора, и следующая комната не заставила себя ждать — огромная, тоже выбеленная, но вместо передней стены у нее был барьер высотой примерно метр. Я видела сразу всю комнату, то место, куда надо войти, дверной проем без двери и черную кучу тряпья у стены. Такие бесформенные кучи оставляют выехавшие жильцы. Но тут ведь недавно был ремонт!

Я нерешительно остановилась. Это уже совершенно не было похоже на путь в мастерские художников, где горит печь и продаются кружки и тарелки. От чер-

ной кучи тряпья несло мерзостью, тоской, даже ужасом. Эта куча казалась неожиданно живой и напоминала груды лежащих бродяг, неподвижно, бездыханно лежащих, сваленных каким-нибудь гнусным мусорщиком для сжигания.

Надо было бежать отсюда. Я повернулась — и вдруг краем глаза увидела, что куча шевелится. В этом темном известковом, сыром пространстве что-то треснуло, как бы выпрастываясь, что-то затрепыхало как бы крыльями, как птицы, всполошилось и стало подниматься, как выкипающая черная каша. Какой-то краткий приглушенный вой сопровождал этот трепет крыльев. Птицы завывали? Куча явно двигалась всей своей массой, и довольно быстро, за мной.

Я уже сбегала вниз по лестнице.

Так погибают, даже не узнав своей судьбы, от неведомых крыльев, воя и куч, и никто не услышит того единственного рассказа, который никогда не прозвучит, рассказа о последних мгновениях...

Я бежала вниз по лестнице, волосы на голове шевелились, как бы заполнившись живыми муравьями. Тем не менее на моем лице, я это чувствовала, возникла деревянная улыбка, как у преследуемого вора, который залез в чужой дом и теперь делает вид, что это шутка.

Я выскочила, не оглядываясь, в каменный дворик с подавившимся львом, буквально метнулась в темную арку ворот, а за спиной нарастал многоногий топот, но легкий, изящный, нечеловеческий, как бы на когтях. Даже балерины хорошо топают на своих пуантах. За мной явно гнались какие-то тени.

Выбежав на улицу все с той же улыбкой на лице, я быстро пошла налево по улице. Улыбка застыла, как судорога, и никак не отклеивалась. Шаги за спиной стихли. Однако вдруг раздался все тот же трепет жестких огромных крыльев, опять-таки как бы снабженных когтями.

Я заставила себя оглянуться.

Белая и черная собаки нерешительно присели около подворотни, причем белая в черную крапинку неистово чесалась, ритмично трепыхая лапой и косясь глазом с вывернутым белком.

Вот это и был тот жесткий трепет крыльев.

Собаки в доме спали на куче тряпок, затем услышали мои шаги, проснулись, зевнули и зачесались неистово. Отсюда трепет крыльев с когтями и тонкий вой, собачья зевота до визга.

Кто-то, правда, там спал еще, в этой куче. Кто-то тяжело зашевелился в том тряпье, массивно заколыхался, вся эта куча и была тем существом в полкомнаты. Оно меня не настигло.

Оно осталось лежать в сумеречном свете известки, а я пошла вниз по улице, сопровождаемая двумя собаками, белой и черной. Белая выглядела очень красиво, большой мордастый далматинец в черную крапинку, как говорил один владелец такой собаки, «помесь коровы с березой», а черная была дешевая невысокая дворняжечка с тонким намеком на таксу.

Справа тянулся темный, очень высокий дом типа собора, зарешеченные окна были только на первом этаже, я бы могла в них заглянуть, но они оказались закрыты изнутри плотными ставнями. В дом вела неожиданно низенькая дверь, почти незаметная. Такими бывают двери в подвал.

Когда мы с собаками шли мимо нее, вдруг из глубины, снизу, забил, как фонтанчик, поток детских голосов. Он вырывался из-под земли непринужденно, как будто так и должно быть, что дети бегают и играют там, внизу. Кому это пришлось в голову держать школу или детский садик в подвале?

Пустой второй этаж в том странном доме и забитое детьми подземелье здесь...

Впрочем, может быть, город-то на горах, и подвал здесь обернется со стороны ущелья самым высоким этажом.

Мы с собаками все шли и шли вниз и оказались в конце концов ранним вечером, в сгустившейся тьме, на огромной террасе над провалом, над безмерной пропастью.

Там, под террасой, ничего не было видно, зато вдали, за десятки километров, на горизонте мелькали огни — мелкие, как бисер, цепочки фонарей вдоль каких-нибудь нездешних шоссе.

Вид был как с самолета.

Собаки сзади меня вдруг подняли дикий, с рычанием, лай. Они буквально захлебывались.

На кого они так лают? Я оглянулась. Оказалось, на меня. Обе, приседая, разрывались от бешенства. На морде белой явственно были видны обнажившиеся зубы. Черная вообще была представлена одними клыками, подрагивавшими во тьме.

Вот оно что: невдалеке стоял небольшой двухэтажный дом, и в нем открылась дверь.

Все правильно. Собаки сигнализируют хозяевам, что пришел чужой человек, и работают собаками. О том, что они пришли сюда со мной, — ни звука. Мы чужие.

Помесь коровы с березой демонстрировала охотничий азарт. Намек на таксу был виден, только когда прыгал вдоль белого тела далматинца.

Всю эту странную картину: безмерный котлован, как воронка вниз, дальние холмы с бусинками фонарей, лающую в два голоса березу, — осенял свет довольно дородного уже месяца.

Из открытой двери вышла женщина, мелькнув в освещенном проеме белым фартуком, и крикнула псам:

— А ну хватит! Баста, баста!

Собаки, как бы говоря про себя «ну и ну» и «это добром не кончится», отступили и сели. Белая демонстративно стала драть себя лапой. А соседствующая темнота тоже поскреблась невидимо и с визгом зевнула. Концерт был окончен.

— Они бегают везде одни, — сказала женщина, подходя, — белая еще молодая, десять месяцев, ее не удержишь, а черная с ней заодно.

Собаки, сообразив, что их осуждают, снова забились в истерике, как бы давая понять, что служат преданно и верно.

Хозяйка топнула на них:

— Сказано, хватит!

Мы поговорили с ней. Она позвала меня в дом и рассказала, что его перестроил муж, по своей первой профессии каменщик. Женщину зовут Санта. Дом, видимо, средневековый, внутри был, как картинка из журнала, — древние кирпичные своды, сияющий светлый паркет, старинный огромный буфет, стол с розами. В глубине шла винтовая лестница почему-то вниз, а справа в углу горел большой очаг. Перед ним в кресле недвижно, выпрямившись, сидел незаметный старик, из той породы старцев, чьи глаза отливают темным перламутром, как лужицы нефти, а кожа на лице напоминает старый книжный переплет.

Однако старик вежливо встал и поклонился, когда я вошла. Постояв, он с достоинством сел и замер.

— Мой отец, — сказала Санта. — Ему восемьдесят четыре года. Мамы нет с нами.

Про детей она ничего не сказала.

Она пригласила меня что-нибудь выпить, но меня ждал ужин в отеле, и я отказалась. Мы вышли снова к пропасти. Собаки, сидя рядом, неподвижно смотрели в туманную даль. Им было хорошо вдвоем.

Мне вдруг представилось, что здесь конец мира. Именно тут завершается все, в том числе и жизнь. А та мелкая светящаяся цепочка бисера на горизонте — это уже тот свет.

— Как у вас тихо, — заметила я.

— Даже слишком,— ответила Санта, немного помолчав.

Я стала говорить о том, что я счастлива, когда вижу людей, у которых все хорошо. Я рада, что есть на свете такие люди, они живут в покое и тишине, в прекрасном доме.

Санта посмотрела на меня с сомнением и что-то как будто хотела сказать, видимо, чем-то разбавить мои похвалы, но промолчала.

Женщина может ничего не говорить женщине, все понятно — любовь редко бывает счастливой, тем более любовь к мужу и детям.

Все это мы знаем, мы, хранители текстов чужих жизней, женщины.

Я попрощалась с Сантой и пошла вверх и вверх по кирпичным улочкам, под неяркими старинными фонарями, и черное и белое сплеталось впереди меня, помахивая хвостами. Ни единого человека не встретилось мне по дороге в гору, и только уже за собором, за ручейком детских голосов из-под земли, за той аркой, из которой я поспешно вышла при свете дня, на спуске я увидела женщину и седого мужчину (они стояли у открытой двери, готовясь внести в дом два ящика).

Я спросила у них, как называется то место, где живет женщина по имени Санта, у нее еще старый отец и муж.

Они недоуменно посмотрели друг на друга, и мужчина с сомнением в голосе сказал своей жене:

— С тех пор как погибла Санта, я все время слышу какие-то голоса, называющие ее имя... Как вспомню ее старую мать, которая столько дней все кричала: «Откопайте мою Санту, она там жива...» Собаки выли из-под земли.

— Не сходи с ума. Кстати, еще одно такое землетрясение, и нас тоже здесь не будет,— с ожесточением сказала женщина, внося в дверь свой ящик.— Мало тебе, что вся школа рухнула. Ноябрь, надо укрыть розы на могиле детей...

— Я уже был там сегодня,— ответил муж.

Видимо, между ними давно шли разговоры о переселении.

Уже исчезли, отстали белая и черная собаки, но все громче раздавался хор детских голосов, играющих где-то там, под землей...

Третье путешествие

Я стояла вчера у того ресторана, где около машины меня ждал, оскалившись, пьяный и бесстрашный человек, ждал, чтобы устроить главные гонки своей жизни.

Я прощально помахала ему рукой... Он развернулся и уехал. Долгая глупая ночь стояла в приморском городишке, долгая, бессонная ночь. С неба капало. «Такси, такси!..»

Еще один вид мениппеи — дорога, по которой мы не пошли.



Когда луна осенний ножик вынет...

* * *

Над всей Испанией безоблачное небо.
Век кончился. Осталось меньше года.
Смысл жизни остается где-то слева,
у дачного загадочного пруда.

Над всей Голландией плывут головки сыра,
над пагодами домиков имбирных.
Там сдобный запах дремлющего мира,
он в перископе видится двухмерным.

Над всей Россией тучи ходят хмуро,
и в магазинах «появилось сыра».
Идут войска на зимние квартиры,
и на броне ржавеет голубь мира.

Над всей Малаховкой летают девки круто,
над зеленью прудов пристанционных.
Внизу в шкафах с тоской звенит посуда,
и мужики вздыхают исступленно.

Над всем Китаем дождь идет из риса,
но в атмосфере не хватает сыра.
По всей Евразии летает призрак мира
подобием дощатого сортира.

Летит над США ширококрыло пицца
с салями и, конечно, с сыром.
За ней следит патрульная полиция
с сознанием веры, верности и силы.

В Канаде, там идут дожди косые,
густые, как на площади Миусской,
где сладковатый запах керосина
стоит сто лет и продают сосиски.

Над Средиземноморьем голубое
разорвано пурпурно-серым взрывом.
Фалафель там сражается с хурмою,
сулаки бьются с хумусом и пловом,
но, как всегда, нейтральны помидоры.

Над Гибралтаром вьется истребитель,
взлетевшая душа Шестого флота.
В компьютере там есть предохранитель.
Он нас предохраняет от ошибки,
чтоб не пришлось начать все это снова

и, встав с колен в той безымянной дельте,
следить над головой за тенью птицы,
парящей и рассеянной в полете.
Глядишь — и улетит, нас не заметив,
к далекой, нам неведомой границе.

Я, как всегда, один лечу безбожно
над океаном, беспредельно снежным.
Двойное виски ставлю осторожно.
На стюардессу я гляжу безгрешно,
как на заливы Северной Канады,

и мир пульсирует на телепанораме.
Так славно ощущать себя агентом
Антанты, в белой пробковой панаме,
Джеймс Бондом в легкой шапке-невидимке.

И, пролетев над Англией, как ангел,
в Италии остаться у залива
случайно и как будто по ошибке.
И пить кампари, чтоб не опознали.

В вечернем баре девке в мини-юбке
слегка и бескорыстно улыбнуться
с надеждой, чтобы, опознав,
еще налили.

* * *

Я ее знаю давно,
еще до первого выбора,
до шапочного разбора.

Родное, родина, родинка.
Вот мой дом,
вот моя родина:
стрелка, развилка.
Чай остывает,
моросит.
Спаси, Господи,
раба твоего
ото всего.

Ей-богу, это не я —
это судьба,
переодетая контролером
в вагоне. Следующая станция:
Скоротово.

* * *

Имперских зданий сталинская статья.
 Как будто мир на цыпочки привстать
 пытается, к Свободе дотянуться.
 Но миром правит хладный лицедей
 и на ночь прочно закрывает остров.
 Бесплотный лёт судьбы, ее прозрачный остов
 растают в вечеряющей воде.

И странно, что так хочется вернуться
 в обшарпанный обманом зал суда,
 где отделяет мутная слюда
 холодной пленкой мастерскую чувства.
 Благословенна эта пелена,
 верней, туман, в котором наши души,
 спасенные, предел судьбы нарушив,
 осознают, что горе от ума.

Благодарю за каждый мертвый час
 осмысленно-пустого ожидания.
 Но, видимо, никто не ожидает
 ее, меня, да каждого из нас!

И как бы мне хотелось сна незнания,
 как чашки кофе черного с утра.
 Где длятся чаепитий вечера?
 Где тянется табачный дух беседы?
 Все это было будто бы вчера.
 Лет двадцать, а все кажется,
 что в среду.

* * *

Брожу по местам преступления
 и, как Ходасевич, дышу:
 свободно, осенне-весенне.
 И, как сумасшедший, все жду,
 что что-нибудь да случится,
 летящая, словно взор,
 случайно-прекрасная птица
 прокаркает свой приговор —
 до боли знакомого неба.
 Объявит, и я побреду
 от мест, где любили, налево,
 к заливу, к закатному льду.

* * *

Так проще, привычней. Забудь меня. Пыль
 застынет знакомым и матовым слепком.
 И оклик, приняв очертание «мы»,
 осядет на дно и запомнится пеплом.

И кто-то подсядет и руку возьмет.
 Привычные искры, вспыхнув, погаснут.

Но имя твое кто назовет? Кто знает его?
Останется отзвук, как пресная песня,

пустая слеза стекленеющей мути.
И если когда-нибудь, переболев,
очнувшись, присядешь в постели в тоске:

вот рядом чужой и оскаленный зев,
вот Рим за портьерой,
вот страшное утро.

* * *

Когда остынет звук, когда остынет,
когда луна осенний ножик вынет
и память виноватого найдет,
озимые, где слабых бьют навзлет,
замерзнут наконец,
и ночь закатом,
печалью царственной
отметит этот холм —
там все останется.

И на затихший дом
сойдет покой,
и только запах быта
оставит след в душе
молочно-мутный.

Там живших
след простыл
и ставня, как бельмо,
глядит на лес
сквозь пепельное утро.
Но также в пустоту,
в разбитое окно.



Пропавший заговор

ДОСТОЕВСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС 1849 ГОДА

Часть четвертая. СОЖИГАНИЕ ЕРЕТИКОВ

Глава 15. НЕОКОНЧЕННЫЕ ЛЮДИ

О пользе торговли табаком

Однако круг мечтателей довольно широк.

Ибо пока всякую ночь с пятницы на субботу гости Петрашевского коротают время за умной беседой, а гости Дурова субботними вечерами музицируют и тоже толкуют о высокоом, в некотором от них отдалении другие, правда, не столь образованные, лица тоже пытаются заявить о себе.

В процессе 1849 года возникают странные фигуры: Шапошников, Катенев, Утин, Толстов. О некоторых выше уже шла речь. Никто из них не посещает пятничных или субботних встреч; никто не блистает знанием социальных идей. Но они *тоже* принадлежат к числу недовольных. Этого оказывается достаточно, чтобы проходить с «фурьеристами» по общему делу. Один из них, а именно табачный торговец П. Г. Шапошников, приговаривается к расстрелянию и наравне с другими выводится на Семеновский плац. Он как бы единственный представитель *народа* в этом, как водится, *страшно далеко* от народа кругу.

Главные улики против него извлечены из донесений агента — тоже по фамилии Шапошников.

В этой, разумеется, совершенно случайной одинаковости имен — знак того, что мы вступаем в зыбкую область наваждений, обманок, путаниц и подмен¹.

Агенты, внедренные в эту компанию, Шапошников и Наумов, прибывают из Костромы в марте 1849 года. «Где их откопал Липранди, неизвестно», — пишет Б. Егоров, сообщая попутно важные архивные сведения о неприметных героях².

Окончание. Журнальный вариант. Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), «Альфа-Банка» и Московского Литфонда. Начало см. «Октябрь», 1998, №№ 1, 3, 5.

¹ Такие «зеркальности», как мы уже не раз замечали, вообще характерны для этого дела. Например, Антонелли сообщает Липранди о ссоре «двух Толлей», которая чуть было не закончилась дуэлью. При этом Петрашевский предложил довольно элегантный маневр — «ехать стреляться на взморье, а в случае, кто будет ранен, то тому камень на шею, да и в воду». Правда, при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что «Толль номер два» носит другую фамилию.

² «Выдавали они себя за дядю и племянника. Василий Макарович Шапошников, 37 лет, галичский купец 3-й гильдии, обучался в Костромском уездном училище; Николай Федорович Наумов, 25 лет, галичский мещанин, обучался в Галичском уездном училище. Оба были чудовищно безграмотны, особенно Наумов; наверное, им впервые в жизни пришлось составлять донесения, письменные тексты...» Интересно, что в Петербурге не нашлось подходящих кандидатов и агентов пришлось выписывать из провинции.

Очевидно, это были давние *сотрудники* генерала³. Шапошников (Василий Макарович, агент) знакомится с Шапошниковым (Петром Григорьевичем, табачным торговцем): дабы не вызвать подозрений у последнего, первый тоже выдает себя за охотника торговать нюхательным табаком. Шапошников-агент, сообщает Липранди, «как бы случайно» нанимает в доме Петрашевского помещение «под предполагаемое заведение» (то есть табачную лавку). По замыслу генерала, от этой операции «со временем можно было ожидать самых удовлетворительных разъяснений». (Еще бы: наблюдательный пункт в самом логове врага.) Однако вскоре последуют аресты, и лавочку, так и не успевшую начать свою полезную деятельность, в буквальном смысле прикроют.

Друзья (или родственники? остановимся на нейтральном — коллеги) Шапошников и Наумов начинают свою столичную карьеру с того, что уже в первую пятницу, 4 марта, то есть на следующий день по прибытии в Петербург, добросовестно сообщают Липранди, кто посещал Петрашевского после девяти пополудни и откуда извозчики везли седоков. Для выяснения последнего обстоятельства предположительно расспрашивались сами извозчики.

Попытки *внедриться* поглубже, по-видимому, не увенчались успехом.

«Петрашевский жил в собственном доме у Покрова,— пишет Липранди.— Дворник и два мальчика, ему прислуживавшие, были его крестьяне и содержались весьма строго, несмотря на весь либерализм их барина. Не было никакой возможности агентам моим (еще до Шапошникова и Наумова? — **И. В.**) свести какое-либо с ними знакомство <...> Внизу была немецкая булочная. Агенты могли только свидетельствовать, что по пятницам, вечером, сходились от 15 до 25 человек, в числе которых были и военные, и оставались далеко за полночь; но кто были, оставалось темным» (ОР РГБ, ф. 223, оп. 221, ед. хр. 3, л. 12 об.).

С появлением Шапошникова и Наумова ситуация мало изменилась. Друзьям были куплены лошади, сани, а позже дрожки — все это, надо думать, на деньги Министерства внутренних дел. Взяв билеты на право извоза и получив соответствующие инструкции, они каждую пятницу, вечером, стояли неподалеку от *интересного* дома. Выходившим по двое-трое посетителям ничего не оставалось, как нанимать готовых к услугам возниц. (Тем более что попечениями полиции возможные конкуренты, очевидно, удалялись на приличное расстояние.) «Часто продолжали разговор о своих заседаниях,— пишет Липранди,— и так через несколько пятниц я успел узнать имена человек десяти...» (Прощаясь, попутчики нередко называли друг друга.) Но все это были, конечно, паллиативы. Настоящий успех пришел лишь с появлением Антонелли.

Среди запомненных лжеизвозчиками имен не было Достоевского. Так что остается неясным, случалось ли ему пользоваться любезностью Шапошникова и Наумова или же он предпочитал пешие ночные прогулки — от Коломны до дома Шилиа на углу Вознесенского и Малой Морской: концы не такие уж маленькие.

Тут вновь возникает некоторое недоумение: о нем уже говорилось выше. Как помним, первые сведения о Петрашевском были доставлены начальству еще в марте 1848 года. «Наблюдения продолжаются,— пишет Липранди в отчете министру от 13 апреля 1848 года,— и по мере открытия чего-либо особенно

³ «Я выписал из Москвы и Костромы двух мещан, известных мне по раскольниковым делам своей сметливостью»,— пишет в своих записках Липранди. Если речь идет о костромчанах Шапошникове и Наумове, тогда неясно, какой же агент был выписан из Москвы. Тем более что Липранди уверяет, будто его подопечные не знали друг друга «до самого окончания дела» (ОР РГБ, ф. 223, оп. 221, ед. хр. 3, лл. 12 об.— 13), что к Наумову и Шапошникову никак относиться не может. Не существовал ли, помимо них и Антонелли, еще один, оставшийся неизвестным, соглядатай? Или это надо понимать в том смысле, что Антонелли, с одной стороны, и Шапошников и Наумов — с другой, не ведали друг о друге?

заслуживающего внимания будет донесено немедленно» (ОР РГБ, ф. 203, оп. 221, ед. хр. 1, л. 6 об.). Вслед за сим следует полная тишина. Загадочнее же всего, что длится она ни много ни мало добрые девять месяцев: до зимы 1849 года, когда на сцене появляется Петр Антонелли. Первое агентурное донесение «сына живописца» помечено 9 января 1849 года (а дублирующие эту информацию отчеты Липранди министру внутренних дел Перовскому появятся только в конце месяца). Спрашивается: что же тогда происходило на протяжении почти всего 1848 года? Велось ли в этот период систематическое наблюдение, где отчетная документация, и если ее не существует, то по какой сугубой причине Липранди позволил себе столь долгую паузу? Ответов на эти вопросы мы пока не имеем.

Но вернемся к Шапошникову и Наумову: за наличием Антонелли отставленные от Петрашевского, они посещают теперь Шапошникова-купца. Там постоянно толкуются Толстов и Катенев. Философические прения о пользе царевубийства плавно перетекают в совместное путешествие, конечной целью которого становится веселое заведение г-жи Блюм. Там, как мы помним, Катенев «провозглашает республику». Шапошников (Петр Григорьевич, табакоторговец) в этом безобразии, кажется, не принимает участия. Впрочем, как и его приятно, следствие запишет ему «развратное поведение».

27-летний Шапошников П. Г. — ровесник Достоевского. Он человек не образованный, но трепещущий при малейших признаках просвещения. Хотя 19-летний Катенев и немногим старше его Толстов тоже не блещут глубокими знаниями, они как-никак посещают университет и поэтому взирают на продавца табака с высокомерной усмешкой. Самоучка Шапошников тщетно пытается быть с ними на равной ноге: они именуют его «глухой славянщиной XVI века», а также дают понять, что он «недостойн жить с ними в одно время». Между тем скромный член непривилегированного сословия ревностно переписывает в тетрадку попавшиеся ему стихи, учит Шекспира и по неистребимой страсти к театру закупает в количестве неимоверном маскарадные костюмы. После ареста их насчитают до пятидесяти; число же масок разного рода доходит до тридцати пяти. (Что еще раз подчеркивает некоторую карнавальность происходящего.) «Я начал с ним говорить о Шекспире, о драматическом искусстве вообще, — с некоторым удивлением показывает на следствии бывший студент Ханыков. — Обо всем этом говорил он довольно порядочно». Шапошников мечтает о сцене и терпит насмешки Катенева, возможно, лишь потому, что тот обещает устроить его в театр. (Что выглядит в глазах Шапошникова очень правдоподобно, ибо Катенев, как мы уже знаем, знаком с *самим Бурдыным!*)

Толстов пренебрежительно заметит на следствии, что Шапошников не может быть вреден для правительства, ибо он — трус. Говорит же он вольно только для того, чтобы не показаться невежью. (Немаловажная психологическая подробность!) Шапошников, в свою очередь, заявит, что Толстов поддерживал его либеральные увлечения «с намерением забирать у него в долг табак»: наблюдение, тоже не лишнее глубины. Готовый сделаться при республике (которую он пишет через «и» — как *риспублику*) министром торговли (притязание, в общем, отвечающее роду его занятий), Шапошников вместе с тем ужасно боится, что его «возьмут к графу Орлову и отдерут». (Этого, как мы убедились, страшатся и люди пообразованнее, чем он). На самом деле его впереди ожидает нечто похуже⁴.

⁴ Любопытно, что в ночь ареста Шапошников-продавец отправляет своего помощника Вострова в дом Петрашевского, дабы передать Шапошникову-агенту (снимающему там, напомним, тоже табачную лавку) долг в тридцать рублей серебром. Величина суммы, которая предназначена человеку, его предавшему (о чем П. Г. Шапошников, само собой, пока не догадывается, не может не вызвать известных ассоциаций. Кстати, при аресте у самого П. Г. Шапошникова «нашлось деньгами около двух рублей серебром» (см. ГАРФ, ф. 109, оп. 1849, д. 214, ч. 12, л. 3).

Письмо, не доставленное маменьке

«...Конечно, по сравнению с другими приговоренными это безумно жестокая кара для такого человека», — пишет о вынесенном Шапошникову смертном приговоре Б. Ф. Егоров. Тут нечего возразить. Политическая девственность Шапошникова не смогла растрогать его жестокосердных судей. Мечтающий встретить на Дворцовой набережной императора Николая Павловича, он, если верить агенту Наумову, готов — нет, не покуситься на царственную жизнь, но предложить государю отчаянную программу: «Скажу ему, чтобы дал свободное книгопечатание и усовершенствовал Александринский театр». Последнее мнится истому театралу сущим благодеянием для страны.

22 декабря, в день несостоявшегося расстрела, вернувшийся с эшафота Шапошников садится за письмо: оно доселе не было известно. В отличие от Достоевского, который свое знаменитое, написанное в те же часы послание адресует старшему брату, Шапошников обращается к матери — жительствующей в Кожевниках московской мещанке Александре Степановне Шапошниковой. В этом письме нет ни малейших следов пережитого только что смертного ужаса: оно скорее напоминает реестр. Самым тщательным образом автор письма перечисляет имущество, должное теперь отойти к «дражайшей маменьке»: «мебели красного дерева» — комод, диван, два стола, киот... Не зная всех обстоятельств, можно подумать, что это пишет озабоченный правильным оформлением дарственной благополучный негодичник, а не человек, только что побывавший между жизнью и смертью.

Наконец, исчислив, кажется, все, он доходит до главного.

«Затем, моя маменька, остаюсь и пребуду навсегда к Вам с виновным моим к Вам родительнице моей, почитанием и любовью и поручаю Вас в слезном молении — к облегчению Вашего духовного страдания в разлуке со мною и об моем положении».

Вопль души Шапошников старается облечь в «книжную», приличную форму. Он не подыскивает слова, он использует готовые эпистолярные формы. При всем при этом он искренен. И, судя по всему, сокрушен.

Он клянется матери, что поехал в Петербург с одной лишь целью — облегчить ее «семейное отягощение». Но Бог судил иначе. И тут, как бы между прочим, автор письма делает одно важное прибавление: «Маменька! Я не имел никогда никакого виновного намерения и в помышлениях моих — а я оклеветан пред Правосудными Судиями, оклеветан людьми теми, которые были мною призрены и повозможно мною вспоможевствуемы». Имеются ли тут в виду Толстов и Катенев, благодаря чистосердечию которых он был возведен на эшафот, или же подразумеваются Шапошников Василий и дружок его (или племянш) Наумов Николай, которые были приставлены к нему для нравственных наблюдений и о чьей деятельности он может теперь догадаться? Трудно сказать. Но он настаивает на этом пункте с особым упорством, поверяя маменьке (и, разумеется, тем, кто будет читать это послание *до* нее) свои гражданские чувства.

«Маменька, еще повторяю, что я оклеветан, я любил и люблю, почитал и почитаю всегда Государя так, как Бог велит, Церковь заповедует и чувства верноподданного христианина говорят — в чем и клянусь пред Вами, маменька, Господом Богом и вечным меня от Него осуждением».

В письме от того же 22-го числа он «в слезном молении» просит коменданта Петропавловской крепости генерала Набокова не отказать в милости переслать при посредстве купца Симанова «собственной моей родительнице» деньги, вырученные за сдачу магазина, ибо никакого другого состояния она не имеет.

30 декабря комендант препровождает прошение Шапошникова и его прощальное к матери письмо Леонтию Васильевичу Дубельту. Добрейший Иван Александрович просит коллегу из ведомства тайной полиции «оказать с Вашей стороны содействие престарелой матери Шапошникова к получению прописанных в письме денег и вещей и о последующем по сему почтить меня уведомлением».

Неясно, почтил ли жандармский генерал в этой связи коменданта Набокова, но на его *сопроводилке* появляется резолюция: «Письмо не отсылать и сделать матери, чего он желает». То есть отдать ей вещи и деньги, не утруждая при сем последним сыновым приветом.

Чего опасался Леонтий Васильевич? Намеков, которые содержались в письме? Указания на клевету и конкретных клеветников, конечно, могли бы породить неприличные слухи. Шапошников давал понять, что он осужден безвинно. Меж тем государем назначенный суд, а тем паче сам государь не могли ошибаться.

Как бы то ни было, письмо Шапошникова осталось в архиве, откуда теперь наконец-то извлечено.

Еще один неизвестный типограф

Знал ли Достоевский П. Г. Шапошникова в 1849 году? Это маловероятно. (Хотя он был заядлым курильщиком и *в принципе* мог пользоваться услугами шапошниковской лавки.) Скорее всего впервые они встретились на эшафоте. Но имя подельника, а возможно, и кое-какие подробности о нем были Достоевскому, безусловно, известны.

В подготовительных материалах к «Бесам» первоначально вместо фамилии Шатов стояло: ШАПОШНИКОВ. Первые комментаторы этой записи полагали, что, возможно, «на выбор этого имени повлияла фамилия старообрядческого архиерея Шапошникова, умершего в 1868 году», поскольку образ Шатова «должен был быть родственным старообрядцам». С другой стороны, существует предположение (к сожалению, не учтенное в комментариях к академическому собранию сочинений), что генеалогия тут иная: образ Шапошникова-Шатова восходит к одному из реальных участников процесса 1849 года. «Это вполне согласуется,— пишет высказавший такую идею М. С. Альтман,— не только с религиозностью, но и с церковностью, которой Шатов наделен в романе Достоевского».

В своих показаниях Толстов употребляет одно «странное» слово. Он говорит о Шапошникове, что тот — человек «всесторонне неоконченный». Это «термин» Достоевского. Неоконченный (или недоконченный) человек — одно из ключевых понятий в его «идеологическом словаре».

«Шатов» — фамилия говорящая. Как справедливо замечено в академических комментариях, «она указывает на умственную и нравственную неустойчивость ее носителя». В романе Степан Трофимович прилагает к Шатову еще один интересный эпитет — «недосиженный». Старающийся быть «не хуже других» владелец табачной лавки подпадает под эти определения.

Шатов в романе — трагический персонаж. Он человек, «придавленный» идеей и освобождающийся от нее ценой собственной жизни. Его убийство, совершенное Петром Верховенским с компанией, — это ритуальное жертвоприношение: его кровью хотят скрепить сомневающийся и неверных. К разрыву с «бесами» его подвигает не столько «чистое умозрение», сколько коренные черты его духовной природы.

Среди прототипов Шатова иногда называют В. И. Кельсиева, судьба которого очень интересовала Достоевского. Кельсиев стал «невозвращенцем» в 1859 году. В Лондоне он сблизился с Герценом и Огаревым, выпустил в эмиграции «Сборник правительственных сведений о раскольниках». Он слыл знатоком старообрядчества и сектантства и имел в этой среде обширные связи, для под-

держания которых в 1862 году нелегально ездил в Россию. С этой же целью он долго скитался по Турции, Австрии, Венгрии, Галиции и Румынии. Он теряет семью — его жену и детей уносит холера. В 1867 году Кельсиев добровольно является на Скулянскую таможенную и отдает себя в руки властей. Он пишет «Исповедь», где подробно излагает то, что с ним произошло. Александр II прощает Кельсиева.

Герцен говорит про своего раскаявшегося сотрудника, что тот был «нигилист с религиозными приемами». В нем «можно было заметить много неустоенного и неустоявшегося». Он «учился всему на свете и ничему не научился дотла, читал всякую всячину и надо всем ломал довольно бесплодную голову». Все это обнимается формулой «неоконченный человек» и все это с полным правом может относиться к Шапошникову. Но Кельсиев интересуется Достоевского еще с одной стороны.

«Об Кельсиеве с умилением прочел,— пишет он А. Н. Майкову в октябре 1867 года из Женевы.— Вот дорога, вот истина, вот дело! <...> Но теперь про Кельсиева говорить будут, что он на всех донес. Ей-богу, помяните мое слово».

Будущего автора «Бесов» занимает феномен «блудного сына»: духовная эволюция Кельсиева — во многом, очевидно, схожая с той, какую в романе предстоит пережить Шатову. (Мотив кающегося грешника вообще крайне важен для Достоевского.) Не зря упоминается и о «доносе»: Шатов в романе будет убит якобы из-за опасения, что он «донесет».

Итак, Шапошников — Кельсиев — Шатов; не исключены и другие.

Но спрашивается: каким же образом автор «Бесов», лично не знавший Шапошникова, мог наделить некоторыми его чертами одного из своих героев? Шапошников — все-таки не Наполеон III, лично Достоевскому тоже не известный, но ставший одним из «идеологических прототипов» Петра Верховенского.

Встречались ли они после Сибири? На это нет никаких указаний. Шапошников получил отставку в 1856-м. Ему разрешили жить в Москве под полицейским надзором и вернули права состояния (в том числе звание «мещанин»). О дальнейшей его судьбе мы ничего не знаем.

Но вот документ, малоизвестный и никогда не привлекавший внимания. Это письмо А. Н. Плещеева Н. А. Добролюбову от 25 августа 1859 года, посланное из крепости «Илецкая защита», где Плещеев (тоже давно обретший свободу и, кто знает, может, тайком печалющийся о *Настеньке*) гостит у родителей своей законной жены. Приведем этот текст.

«С прошедшей почтой я писал Н. А. Некрасову, послав ему повесть и два стихотворения, но забыл сообщить адрес свой. Будьте добры — передайте ему — чтобы он отвечал мне пока на следующий адрес: в Армянский переулок, в типографию Каткова, Петру Григорьевичу Шапошникову, для передачи А. Н. Плещееву. Я еще не знаю, где я поселюсь в Москве; а Шапошников человек аккуратный, исполняющий обыкновенно все мои поручения. Это мой бывший товарищ по ссылке».

Таким образом, выясняется: Шапошников, который «тянул» свой срок в оренбургских линейных батальонах вместе с Плещеевым, обретается ныне в Москве, «в типографии Каткова». Что это значит? Живет ли он просто «при типографии» или работает в ней, печатая, например, книжки «Русского вестника»? Именно в этом журнале Достоевский хотел бы — впервые после Сибири — опубликовать свою новую повесть. О чем как раз в это время ведет деятельные переговоры с издателем. Так «где и что» Шапошников?

В одном забытом мемуарном источнике мы неожиданно наткнулись на более или менее внятный ответ.

Автор «Набросков из прошлого» князь Д. А. Оболенский упоминает о Шапошникове. Он говорит, что последний «попался в историю, как кур во щи». В его лавку заглядывал Петрашевский — поболтать с покупавшими папиросы

студентами. На допросах Шапошников «сам на себя наболтал, что был близок с Петрашевским, что Петрашевский — первеющий человек». За что якобы и пострадал.

«По возвращении (из ссылки.— **И. В.**),— говорит Д. А. Оболенский,— Шапошников, оставшись без дела и состояния, поступил к Каткову в типографию наборщиком». Что, добавим, при его тяготении к прекрасному и высокому было поступком вполне уместным.

Помощник Каткова по его изданиям, П. М. Леонтьев, задался мыслью склонить московского генерал-губернатора к тому, чтобы он принял участие в судьбе страдальца. Хозяин Москвы приказал Шапошникову явиться лично и спросил его: за что тот подвергся политической каре? «За то,— честно отвечал новоявленный типограф,— что желал в Российской Империи водворить республиканское правление». Граф был сильно разгневан. Выяснилось, однако, что в арестантских ротах, где пребывал молодой торговец табаком, Шапошникову велено было официально так отвечать.

Не Плещеев ли, часом, составил Шапошникову протекцию у Каткова? И еще: не доводилось ли бывшему продавцу табака набирать для «Русского вестника» романы Достоевского, в частности, «Бесы»?

Достоевский будет подолгу останавливаться в Москве, где его бывших подельников — раз-два и обчелся. Со второй половины шестидесятых он — постоянный автор «Русского вестника». Работает ли по-прежнему Шапошников в типографии Каткова? И если да, то у двух в высшей степени разных, но связанных общей судьбой людей найдутся темы для разговоров.

Но если даже автор «Бесов» и Шапошников лично не знали друг друга (и единственное место их встречи — Семеновский плац), это, в сущности, ничего не меняет. Любой «прототип» у Достоевского — лишь музыкальная тема, вписанная в полифоническую структуру романного текста и обладающая бесконечным количеством связей. Автору не обязательно ведать подробности; ему достаточно намек, «зерна», чтобы вырастить собственный плод.

Большинство материалов из дел Катенева, Шапошникова и Толстова не сохранилось. Но то, что до нас дошло,— это своего рода *поэма*.

Самым удачливым из троих оказался Толстов.

«И ныне я был бы подлец...»

Кара, грозившая Толстову, была, во всяком случае, не меньше той, какая постигла П. Г. Шапошникова и Достоевского. Но в отличие от последних ему удалось спастись.

Что инкриминировалось Толстову? В основном *болтовня*. Он перевелся из Московского университета, где не мог сдать переводные экзамены и остался на второй год, в университет Петербургский, причем там эта история, кажется, повторилась. Как доносит агент Наумов, Толстов «осуждает» действия правительства и порицает царя. Он распространяет ложные слухи о бунте в Москве (на этом мы еще остановимся ниже), но, будучи призван по этому поводу в III Отделение к Дубельту, с успехом отпирается от обвинений. Он говорит заподозренному им агенту Наумову (заподозренному не в том, что он агент,— об этом Толстов не догадывается, а в «неосторожном» доносе), что через три дня «мы» (то есть и те, кто стоит за ним: старый, но верный прием) откроем виновного и непременно лишим его живота. «...Как мы с год тому назад сделали с одним рассказчиком (доносчиком? — **И. В.**), которому отрезали язык и отрубили руки»,— такими *карбонарскими* ужасами Толстов устрашает агента. Он говорит, что если даже сам он, Толстов, выдаст кого-то Дубельту, то «наши» узнают об этом и доноситель тут же исчезнет.

Это любопытнейшая черта. Спешнев и Черносвитов, которые будут поумнее Толстова, тоже дают понять, что за ними стоят некие могущественные и

анонимные силы. В свою очередь, П. Г. Шапошников (который *неагент*) туманно толкует приятелям, что к нему «приезжали на собрание довольно важные лица», но он прекратил эти визиты, поскольку «правительство начало наблюдать за ним»⁵. Неистребимая тяга к мистификации, к «дезе» бродит в русской революционной крови. Петруша Верховенский не прочь намекнуть на свою близкую связь с «Интернационалкой». Уже через много лет после написания «Бесов» прототип Петруши, Сергей Геннадиевич Нечаев, уверял охранявших его (и «афилированных» им) солдат Петропавловской крепости, что, если они выдадут его сношения с волей (точнее, с «Народной волей»), к ним на улице подойдет некто и, коснувшись рукой их предательских уст, навсегда лишит доносчиков дара речи. Это действовало неотразимо.

«Стоят они, чтоб на них доносить!» — восклицает Достоевский в упомянутом выше письме, где говорится о Кельсиеве. Он словно запамятовал, что на него самого донесли.

Толстов, «человек чрезвычайно пылкого характера и отчаянный либерал», уверяет агент Наумова, что, какая ему, Толстову, ни грозила бы казнь, он никогда не выдаст «своих». Подразумевается, очевидно, что он также не выдаст и самого себя. Меж тем, оказавшись в крепости и сообразив, что улики против него довольно сильны, он решается на рискованный шаг.

Студент Толстов после окончания всех допросов требует пера и бумаги: он пишет «особое объяснение». Такой сокрушительной откровенности не позволял себе, пожалуй, никто из них.

«Я не только виноват в тех преступлениях, в которых меня обвиняют, — начинает Толстов, — но гораздо в больших. Я разоблачу мою душу, каков я был до сей минуты. Все мои сердечные помыслы, все мои задушевные мысли — все налицо; я преступник, я негодяй, но поступаю, как честный человек».

Стараясь исполнить эту угрозу, он спешит сообщить своим высоким читателям, что в душе своей оскорбил лично каждого члена Следственной комиссии, ибо был о них самого неблагоприятного мнения. Более того, он делает мужественное признание, кого же именно он почитал виновником всех зол: «И не залюбил я моего государя, как иудей». Он, видимо, понимает, насколько подобная откровенность может ухудшить его положение. Но, выбрав эту игру, он играет ее до конца.

Государь, продолжает неистовствовать Толстов, был в его глазах источником бедствий: он не любит подданных, он эгоист, он, наконец, «схватил народ в свою железную руку». Даже о внешности государя Толстов (в отличие от восхищенного большинства) не мог заключить ничего доброго. «Если случилось, что я видел его портрет на Невском, я говорил, что бессовестно льстят его лицу». И если автор этой душераздирающей исповеди вдруг встречал государя, «едущего, завернувшись в шинель, с надвинутой на чело каской», тот казался ему «скрытым злодеем, мрачным тираном». Сообщив членам Комиссии все эти, безусловно, уголовные частности (о которых его, собственно, и не спрашивали), Толстов переходит к самому главному.

Он говорит, что если у него и не было обдуманного заранее плана, как известить царскую фамилию, то не по причине монархических чувств, а единственно потому, что он считал это дело бесполезным — до тех пор, пока не будет приготовлен народ. Тот, в свою очередь, должен сам убедиться, «что нет необходимости в царе». (Столь высокая политическая зрелость не могла не вызвать приятного удивления у позднейших историков.) И далее Толстов возводит на себя страшное обвинение: «И если, может быть, не совершил бы сам своеручно смертоубийства, то только потому, что в сердце моем еще оставалось несколько ка-

⁵ В своих показаниях на следствии П. Г. Шапошников признался, что причиной подобных намеков была его «суетность»: однажды генерал Я. И. Ростовцев, проходя через его магазин, сказал с ним несколько слов о том, как идет торговля.

пель чистой крови и подобное злодеяние казалось мне слишком кровавым, а если бы нашел человека, способного на это, и если б знал, что я тут не могу по-пасться, я не преминул его настроить».

И в заключение, дабы дорисовать собственный отвратительный образ, Толстов признается, что в голове его уже бродили смутные идеи об составлении общества, члены коего сами бы не знали друг друга: голубая мечта конспираторов всех времен.

«Вот каков я был! — завершает Толстов. — И ныне я был бы подлец, если бы у государя смел просить себе пощады. Я только хочу одной милости, чтоб он простил мне в своем сердце, иначе жизнь для меня будет отравой...»

На что, однако, рассчитывает исповедующийся, чье чистосердечие порой очень смахивает на хорошо продуманный самооговор? Признание в умысле на царевубийство (пусть даже явленное в виде гипотетического рассуждения) не могло не отяготить его вины. Но, очевидно, Толстов — неплохой психолог. Он верно предположил, что его откровения будут доведены до сведения тех, кого они непосредственно касаются и от кого зависит его судьба. И он не ошибся.

«О таком признании студента Толстова, — сказано в материалах Комиссии, — доведено было до сведения государя императора, и его величество, принимая во все милостивейшее внимание откровенность, с которою Толстов изложил самые тайные мысли свои, высочайше повелеть соизволил — определить его унтер-офицером в Отдельный кавказский корпус, дабы предоставить ему случай загладить заблуждение молодости». 30 июля 1849 года Толстов был освобожден из-под ареста и направлен по назначению — в расквартированный в укреплении Шикарты Дагестанский полк.

Он избежал не только Семеновского плаца, но даже процедуры суда. В отличие, например, от того же Шапошникова, которому Толстов, глумясь, пытался внушить, «что его призвание на республиканской площади», и который не обладал ловкостью своего более образованного приятеля.

Шапошников на эшафоте оказался единственным, кто подошел к исповеди. Другие воздержались от исполнения обряда. Возможно, из-за мистической стыдливости — невозможности совершить его на глазах у тысячной толпы. В этом не было ничего нарочитого, хотя отказ от исповеди (запечатленный, например, не без сочувствия к отказнику на известной картине Репина) в позднейшие времена будет трактоваться как некий высоконравственный шаг. Для правительства, однако, гораздо важнее церковного покаяния исповедь политическая. Тем более адресованная носителю верховной власти, которой в силу своего сакрального статуса и в качестве первосвященника обладает правом отпускать любые грехи. Пушкин, признаваясь в авторстве «Гавриилиады», обращается прямо к царю; Бакунин и Кельсиев пишут в крепости исповеди, рассчитывая на того же читателя. Все они — полностью или частично — будут прощены.

Студент Толстов рискнул — и победил. Можно подумать, что он заранее изучал психологию самодержцев.

Радости тихой любви

Впрочем, Толстов не ограничился только политическими признаниями. Автор «особого объяснения» поверяет следствию интимные подробности и другого рода. Он не скрывает, что «столовыми стаканами пил простое вино» (надо понимать, водку), что «заболел сильно дурною болезнью, набуянил в Нескучном саду в Москве, просидел две недели под арестом» и т. д. и т. п. И наконец: «...я полюбил женщину, но полюбил серьезно, не как пылкий ребенок или восторженный юноша с своим энтузиазмом, нет, любовь моя была тихая, глубокая».

Следует отдать должное автору: он не называет имени своей избранницы. Но оно уже и без того известно следствию.

Один из двух агентов-костромичей (неясно, В. М. Шапошников или Наумов) сообщает, что им были замечены лежавшие на столе у Толстова письма на французском языке. Плохо изъясняясь по-русски, по-французски агенты тем более не разумели.

Были приняты негласные меры по выяснению личности и места жительства незнакомки. Оказалось: «Она действительно воспитывалась в Смольном монастыре и уже несколько лет как имеет связь с *Толстовым* (говорят, что будто бы и с другими) и недавно родила». (ГАРФ, ф. 109, эксп. 1, оп. 1849, д. 214, ч. 61, лл. 38 об.—39). При этом не уточняется, является ли сам Толстов отцом названного ребенка или же в этом качестве выступают «другие».

Установлением личности дело не ограничивается. Попутно выяснено: молодая дама «живет очень бедно и существует только перепискою некоторых бумаг, которые ей дают ее знакомые». Этим воспользовались наблюдавшие. «Тогда подослано было ей предложение искать место в гувернантках, она была очень довольна, и по требованию той женщины, которая к ней была послана, дала собственноручно свой адрес, которого почерк со временем может быть очень нужен».

Тут, собственно, изложена нехитрая полицейская интрига. Доверчивой пассивности студента Толстова обманно предлагают место гувернантки. Затем специально подосланная к ней женщина (Липранди, как помним, имел осведомителей и среди представительниц прекрасного пола) получает вместе с адресом образец почерка и, разумеется, имя.

Теперь мы знаем: «тихую, глубокую» привязанность Толстова (и, возможно, мать его ребенка) зовут Любовь Федоровна Оглоблина. Она одна из очень немногих дам, которые допрашивались по делу.

24 мая Дубельт извещает Набокова, что Оглоблина была приглашена в III Отделение «и по снятии с нее показания отпущена».

Толстова, как помним, направляют на Кавказ 30 июля. Девушка Оглоблина за ним не последует: согласно справке адресного стола, аккуратно подшитой к делу, 25 августа она выехала в Новгородскую губернию в город Крестцы. Правда, еще в июне ей прислали из Вологды посылку, которая была адресована на имя Толстова. «Вручить, но прежде осмотреть», — наложил резолюцию бдительный Дубельт. Этим, собственно, любопытство правительства к девушке Оглоблиной было исчерпано. Образ потенциальной нигилистки (хотя это слово еще не в ходу), каковой пытались изобразить возлюбленную Толстова в агентурных источниках, при ближайшем рассмотрении, по-видимому, не совпал с оригиналом.

...В романе «Бесы» скандал на «балу у гувернанток» начинается с того, что Липутин оглашает изумительные по своей художественной силе стихи капитана Лебядкина, посвященные «бедным образованным девушкам нашей губернии».

Но теперь, когда, пируя,
Мы собрали капитал
И приданое, танцуя,
Шлем тебе из этих зал,—

Ретроградка иль жорж-зандка,
Все равно теперь ликуй!
Ты с приданным, гувернантка,
Плюй на все и торжествуй!

Несостоявшаяся гувернантка Оглоблина с незаконнорожденным ребенком на руках могла бы стать живой иллюстрацией к этой бесподобной эклоге. Может быть, как многие девушки ее поколения, она являлась поклонницей Жорж Санд. Может быть, она сочувствовала отчаянным мыслям Толстова. Этого нам не дано знать. Но, как бы то ни было, все это порой начинает напоминать атмосферу знаменитого романа.

В первую очередь это касается самого колоритного члена кружка. «Многие яркие и необычные черты характера и склада ума Катенева,— пишет Б. Егоров,— предвещают будущих персонажей Достоевского, особенно из романа “Бесы”».

Что ж, пора заняться Катеневым.

Катенев, жаждущий крови

И впрямь: «яркие и необычные» (мягко выражаясь) черты характера Катенева вызывают эффект литературного узнавания. Это «чистый» персонаж Достоевского. Притом факт их личного знакомства или незнания не имеет большого значения.

Школьниками мы прилежно учили, что «широкий боливар» Онегина, в котором тот поспешает в места, специально отведенные для массовых дворянских гуляний,— это знак его тайных симпатий к борцам за независимость молодых южноамериканских республик. Одежда и аксессуары Катенева тоже могут быть квалифицированы как некий требующий внимательного прочтения текст. В изложении агента Наумова все это выглядит так: «...в белых с большими клетками брюках, в черной круглой шляпе, желтом жилете, черном сюртуке и толстой палке с набалдашником одного из революционеров Франции». Клетчатые брюки не могут не вызвать ассоциации с одним позднейшего происхождения литературным героем. (Тот тоже принадлежит — и самым непосредственным образом — к семейству «бесов».) Что касается круглых шляп, их запрещали еще в стародавние времена, при императоре Павле, истребляя модное поветрие Первой республики. О желтом жилете ничего не можем сказать. Кроме того, что он, как и аналогичный предмет из гардероба Антонелли (только еще более радикального — красного цвета), свидетельствует о вкусе их обладателей⁶. Набалдашник, который, надо понимать, был исполнен в виде головы «одного из революционеров Франции» (Марата? Ламартина? Прудона? Ледрю-Роллена?), есть, видимо, ключ ко всей композиции.

Катенев — из разночинцев: сын почетного гражданина, купца 3-й гильдии. Это объясняет многое, но не все. Он не блещет образованием, хотя и состоит вольнослушателем Петербургского университета, откуда его, правда, уволят незадолго до ареста. Именуя его «юным вольнодумцем» и ненавистником монархического строя, отечественные историки испытывают вместе с тем некоторое смущение. Ибо катеневская ненависть имеет довольно странный оттенок.

Перед самым арестом Катенев вдруг вспоминает (и об этом агент Наумов добросовестно сообщает Липранди), что, будучи тринадцатилетним отроком, он во время гулянья наблюдал толпу на Елагином острове, которая кричала «ура!» проезжающему монарху. Уже тогда, признается Катенев, он получил ненависть к Государю и поклялся в душе отомстить ему за это и довести до того, чтобы и ему, Катеневу, также кричали «ура!». Вот где, оказывается, сокрыты таинственные истоки «русского бунта»⁷.

Недавно в одной столичной газете появился захватывающий пассаж: «Руководители и активисты революционного кружка петрашевцев во главе с шефом баловались педофилией, некоторые из них получали заряд бодрости».

⁶ Хотя, с другой стороны, цвет жилета — тоже своего рода «литературная цитата». О знаменитом «красном жилете», в котором поэт-романтик Теофиль Готье появился на премьере драмы Виктора Гюго «Эрнани» 25 февраля 1830 года и который произвел публичный скандал, существует обширная литература.

⁷ В другой раз Катенев рассказывает, как прошлым летом «под предлогом холеры» он хотел возмутить народ. «Я нарочно одевался в республиканское платье, и когда наказывали на острове мужиков, то я стоял прямо против Императора и смотрел ему в глаза, но он отвернулся». Слушателям дается понять, что царь проявил слабость и не выдержал честного катеневского взгляда.

ти, созерцая тазики с кровью в ближайшей цирюльне». Интересно: откуда автор статьи черпал свою эксклюзивную информацию? Ну, относительно педофилии нетрудно и догадаться. Петрашевскому постоянно прислуживают его крепостные мальчишки: это пикантное обстоятельство не может не дать толчок полету богатой авторской мысли. Но при чем тут тазики с кровью?

Ответ явился неожиданно.

Агент Наумов как-то осведомился у своего поднадзорного, отчего тот так грустен. «Жажду крови,— отвечал Катенев,— и жажду до такой степени, что готов зайти в цирюльню, чтоб увидеть там чашки две крови...» Так ныне пишется «история русской революции»: в ней будет что почитать на ночь.

Тут возникает еще одна интересная параллель. В своем роде (именно в *своем*) Катенев не менее демоничен, чем Спешнев. Или, если угодно, Ставрогин. «Я чувствую,— доверительно сообщается агенту Наумову,— что во всю мою жизнь не сделал я ничего доброго, но стремился к злодеяниям». Пожалуй, так бы мог изъясняться inferнальный герой «Бесов», избрав, правда, в качестве личного исповедника не агента-осведомителя, а, например, известного старца. («Проклятого (то есть профессионального? — **И. В.**) психолога»). Но поскольку сын купца третьей гильдии не может похвастать ни аристократизмом, ни обаянием, которые присущи Ставрогину, он — для поддержания *имиджа* — готов на крайние меры.

Катенев неоднократно в присутствии ряда свидетелей (которые на следствии не замедлят подтвердить этот факт) изъясняет готовность покуситься на жизнь государя. Он заявляет ошарашенным слушателям, «что на месте этого фонаря желал бы видеть повешенного нашего царя» — строки, достойные пера капитана Лебядкина⁸. «Отец, мать и все семейство меня отвергают,— с печальной гордостью заявляет Катенев,— я чувствую приближение смерти, которая не иначе должна последовать, как от виселицы или топора».

Он, очевидно, имеет в виду казнь государственную, поэтому не совсем ясно, при чем здесь топор⁹.

Его смерть последует от другого: об этом еще будет сказано ниже.

Что же касается малохудожественных стихов о повешенном царе (довольно популярных, ибо, например, П. Г. Шапошников признает, что слышал их еще «в малолетстве»), они имели некоторые последствия.

Катенев хвастает Шапошникову, что как-то, идучи с подругой по Васильевскому острову и «указывая на фонарный столб», он говорил эти геройские строки. Следственная комиссия немедленно озаботится поиском прекрасной незнакомки.

Но тут начинается нечто такое, что будет не раз повторяться в этом маргинальном сюжете: артефакты, дикая путаница, неразбериха — все, что вполне согласуется с общей «аурой» этого дела.

Девушка или вдова?

Имя слушательницы возмутительных стихов установят довольно быстро: Вережкина. (Оно подозрительным образом корреспондирует с их висельным смыслом.)

⁸ В качестве автора стихотворения, откуда взята эта искаженная цитата, неосновательно указывали Пушкина: «Друзья! Не лучше ли на место фонаря,/ Который темен, тускл, чуть светит в непогоду,/ Повесить нам царя?/ Тогда бы стал светить луч пламенной свободы». Пушкину, впрочем, приписывали *всё* — от Беранже до Баркова.

⁹ Отсечение головы не практиковалось в России со времен Емельяна Пугачева, казненно-го именно таким способом. Правда, поставленные «вне разрядов» декабристы были первоначально приговорены к четвертованию. Надо думать, слово «топор» употребляется Катеневым более в ритуально-романтическом смысле.

25 августа генерал-лейтенант Дубельт сообщает генерал-адъютанту Набокову, что в Петербургской части девицы Веревкиной не найдено, зато «по справкам оказалось, что Рождественской части, 5-го квартала во вдовьем доме проживает вдова губернского секретаря Александра Андреевна Веревкина» и просит удостоить его уведомлением, «следует ли помянутую Веревкину требовать в III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии для допроса по донесению *Наумова* о Катеневе».

Уж не шутит ли с его высокопревосходительством генерал Дубельт? Не полагает же он в самом деле, что обитающая в богадельне почтенная вдова и есть возможная подруга (или даже любовница) страстного либерала Катенева?

Набоков, впрочем, отвечает Дубельту (1 сентября) с полной серьезностью и с соблюдением всех канцелярских форм: «...Как по последним сведениям, полученным в Комиссии, оказалось, что *с Катеневым была в сношениях не Веревкина*, а известная под этим именем женщина Анна Егорова, то упомянутую вдову Веревкина, по неприкосновенности к делу, к допросу не призывать».

Именно Липранди, как всегда *владеющий информацией*, уведомил следствие, что Анна Егорова живет на Петербургской стороне, за Тучковым мостом, второй переулок налево в доме Петрова, у учителя Авенира Федорова Веревкина (то есть, очевидно, Катенев употреблял фамилию «Веревкина» в качестве притяжательного прилагательного) и что обвинение ее заключается в том, что она, «как *сказал Наумов Катенев, знала преступный образ мыслей сего* последнего и советовала ему объявить о том правительству». По точному смыслу этой формулировки правительство должно было бы выразить Егоровой свою благодарность. Самое большее, в чем ее могли бы по-отечески упрекнуть — это в недонесении.

Но изумляет другое. Прорекламированная Катеневым стихотворная чушь (все графоманы почему-то впадают в силлабику) вызывает к жизни круговорот деловых бумаг. В эту волнуемую эпистолярную втянуты городская полиция, корпус жандармов, Министерство внутренних дел, секретная Следственная комиссия... Ищут женщину, имя которой в точности неизвестно и которую никто никогда не видел в лицо. Весь этот *балаган* ничуть не смущает правительство. Власть тут вполне достойна своих балаганных врагов: бес ополчается против беса.

Сколько их, куда их гонят,
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж отдают?

Трактир на Васильевском

В отличие от Толстова, который сплетает для трех-четырех приятелей сказку о бунте в Москве, Катенев решает поставить дело на широкую ногу. Незадолго до ареста его посещает идея разбросать в маскараде аллегри лотерейные билеты — с извещением все о том же мифическом бунте, присовокупив, что во время оно в Москве якобы убит государь. (Который, как помним, в это время действительно пребывает в первопрестольной — по случаю освящения Большого Кремлевского дворца.) Уж не для этого ли зловещего карнавала заготовил П. Г. Шапошников такое количество маскарадных костюмов?¹⁰

¹⁰ В неопубликованном донесении министру внутренних дел от 8 апреля 1849 года Липранди пишет: «5 апреля <...> агент 3-й и Катенев поехали смотреть магазин, нанятый в доме Петрашевского, оттуда зашли в гостиницу “Париж” и, закусивши, пошли пешком мимо балаганов по Адмиралтейскому бульвару, вокруг Зимнего дворца. В это время Катенев выражал разные буйные мысли и между прочим воскликнул: “Знаешь ли, какая мне пришла в голову счастливая мысль!”». Далее Катенев излагает агенту (Наумову) свою идею насчет завтрашнего (то есть 6 апреля) маскарада (ОР РГБ, ф. 203, оп. 221, ед. хр. 1, л. 104—104 об.). Заметим, что беседа протекает между Зимним дворцом и *балаганами* — в пространстве, где как бы пересекаются их «силовые поля».

В своем донесении Перовскому от 10 апреля (оно никогда не приводилось в печати) Липранди рассказывает, как ловко ему удалось устроить все дело. Агенту были даны инструкции, чтоб тот, направляясь с Катеневым в маскарад, завез его к себе или в гостиницу и, «напоивши до степени беспамятства», похитил билеты, а самого Катенева, не выводя из указанного состояния, доставил бы домой. Там агент должен был ночевать вместе с хозяином, «как будто тоже пьяный», а утром сказать про билеты, что, испугавшись последствий, он их бросил в печку и истребил. При этом агенту было поручено как бы случайно оставить несколько билетов в кармане Катенева, дабы впоследствии почерк послужил против него неопровержимой уликой. «...Взять его на дороге или при входе в маскарад,— замечает многомудрый Липранди,— значило бы разгласить дело и дать повод единомышленникам принять свои меры» (ОР РГБ, ф. 203, ед. хр. 1, л. 123—123 об.). Автор донесения полагает, что у Катенева могут найтись сообщники.

То ли по лености, то ли поддавшись на уговоры приятелей, намерение свое Катенев так и не осуществил; естественно, не состоялась и операция, столь тонко задуманная Липранди.

Сам Катенев, как уже говорилось, лично не был знаком с Петрашевским. С такими повадками, как у него, он вряд ли мог рассчитывать на гостеприимство в Коломне, где его, что вполне вероятно, приняли бы за шпиона. Поэтому он вынужден обходиться обществом агента Наумова, демонстрируя ему план Петербурга с обозначением узких проездов — разумеется, «для построения баррикад». В тесных проулках, полагает Катенев, удобнее лить кипяток на головы нападающих: очевидно, он воображает восстание в виде средневековых батальных сцен. Такие места он находит, в частности, близ Владимирской церкви: в тех кварталах, где писались «Бедные люди» и где их автор несколько десятилетий спустя окончит свои земные дни.

На следствии Катенев не отрицал существования всех этих грандиозных проектов. Он, впрочем, уточнит, что оглашал их «из одного хвастовства, ожидая, что Наумов будет его за это угощать». За последним, надо полагать, дело не стало.

Вообще Катенев любит выпить и закусить — не только в отеле «Париж» или в «известном доме» г-жи Блюм, но и в заведениях попроще. Гоняя чай в скромном трактире с извозчиками Федотом и братом его Михайлой, он не забывает своих гражданских обязанностей: «Выдумывая на Императора разные клеветы и всячески его ругая, довел извозчиков до такого раздражения, что и они вместе с ним согласовались», — сообщает агент.

Строго говоря, это классический сюжет. Кто из российских интеллигентов, желая стать ближе к народу и в меру своих способностей просветить его косный ум, не обращал свои взоры на подвозившего его *мужика*? Извозчик — бесспорный и зримый представитель народа, всегда готовый к внушению, ибо всегда под рукой. Причем порой в буквальном смысле этого слова. Наблюдаемая Достоевским в отрочестве картина: фельдъегерь, избивающий ямщика, — становится для него символом отношений «верха» и «низа». Герой «Записок из подполья», спешающий в известное заведение, в нетерпении лупит по шее «земскую силу»: ему еще не приходит в голову затевать со случайным ванькой-ночником политические беседы. Момбелли, как помним, поражен поведением молодого возницы: он был о народе лучшего мнения. Для «оторванных от почвы» петербуржцев (особенно тех, кто не имеет деревенских корней) общение с извозчиком — едва ли не единственный способ народопознания, прямого контакта с загадочной народной душой.

Петрашевский помимо социальных экспериментов в своем родовом имении (вспомним про деревенский фаланстер) ищет справедливости и в нелегких условиях города. Собрав петербургских дворников, он уговаривает их не мести

улицы, «доказывая им равноправие их с господами». Но, как и в деревне, его постигает досадная неудача. «Один дворник слушал, слушал, да как замахнется на Петрашевского метлой»,— свидетельствует князь Д. А. Оболенский.

На исходе «замечательного десятилетия» (то есть в конце сороковых) будущие радикалы-шестидесятники ведут себя не менее прагматически. Фланируя на лоне природы, двадцатидвухлетний Николай Гаврилович Чернышевский теряет наконечник ножен от студенческой шпаги. Мимоидущий мужик возвращает пропажу: барская штучка вряд ли могла согдиться в его домашнем быту. Благодарный студент приглашает находчика следовать с ним до города, дабы, разменяв там целковый, вознаградить добродетель. «Пошли, стали говорить,— записывает в дневнике обладатель шпаги,— я стал вливать революционные понятия в него...» О реакции на эти «вливания», впрочем, ничего не сообщается. «...Весьма глупо вел себя, т. е. не по принципу или по намерению, а по исполнению, но что же делать?» — признается молодой пропагатор, завершая сентенцию почти дословным воспроизведением названия будущего романа.

Мужик, сопутствовавший Чернышевскому, по-видимому, остался доволен. Извозчикам, которые чаевничали с Катеневым, менее повезло. 9 августа, то есть спустя четыре (четыре!) месяца после означенного чаепития, их разыскали, доставили в III Отделение и поместили в «антресоль».

Отвечая на «предложенные вопросы» (ответы, разумеется, написаны писарской рукой), старший брат, сорокалетний Федот Махра, «за неумением грамоте» ставит три креста.

Кажется, это единственные документы в деле, где к допрашиваемым обращаются «на ты».

Братьев-извозчиков выпустят из-под ареста только 12 августа. Случайная трактирная дружба обернется трехдневным сидением на казенных харчах. Что ж, безумнейший из проходящих по делу угадает пути, по которым двнется телега русской свободы. История при этом едва скрывает усмешку. Все террористы становятся *ряжеными*: все они, как один, прикидываются возницами. (Вспомним соответствующие свидетельства Б. Савинкова.) Любители *маскарадов* (где вы, Катенев, Шапошников, а также Липранди со своими «извозчиками» из Костромы?) выслеживают и взрывают министров.

Братья-извозчики Федот и Михайла не подвели Катенева: они отговорились незнанием. Может быть, просто не поняли, о чем он им толковал. Но и без их показаний его дела обстояли неважно.

Конечно, по «сумме вины» (хотя вина эта, как и у многих других, носила преимущественно вербальный характер) Катеневу грозило то же наказание, что и остальным. Тем более что он единственный, чья пьяная околесица могла подпасть под статью о «замысле на цареубийство». Но, как сказано во всеподданнейшем докладе генерал-аудиториата, «во время производства следствия Катенев подвергся расстройству ума и был отправлен в больницу Всех Скорбящих». Неявные признаки помрачения, которые на свободе могли быть принимаемы за дерзостную отвагу, в условиях тюремного одиночества обнаружили себя во всей полноте. «На запрос военного суда, — заключает генерал-аудиториат, — управляющий больницей уведомил, что Катенев одержим явным помешательством ума, поэтому он судом опрошен не был и приговор о нем было решено не становлять».

Его казнь, пожалуй, была самой мучительной из всех.

«Не дай мне Бог сойти с ума...»

10 мая 1851 года (то есть через шестнадцать месяцев после окончания процесса) старший врач петербургской больницы Всех Скорбящих статский советник Герцог рапортует почетному опекуну и управляющему той же больницей, тайному советнику и кавалеру А. В. Кочубею:

«...Имею честь донести, что у вольнослушателя Катенева в первое время поступления его в больницу Всех Скорбящих оказались явные признаки маломумия, безчувствия при телесном расстройстве, в прошедшем же году обнаружались временные припадки бешенства с криком и бранными словами, которыя и по настоящее время продолжаютя, телесное здоровье его в настоящее время поправилось» (ГАРФ, ф. 109, эксп.1, оп. 1849, д. 214, ч.14, л.10).

Из этого краткого анамнеза можно заключить: тихое помешательство пациента, отягощенное общим физическим расстройством, перешло в помешательство буйное, сопровождаемое, однако, некоторым восстановлением телесных сил. Этот медицинский документ находится в бумагах III Отделения: больной Катенев числится за этим врачующим ведомством. Не интересуется ли начальство его здоровьем на тот предмет, чтобы в случае поправления вернуть избегнувшего законной кары безумца в руки военного суда? Но повторим еще раз: вряд ли военный (да и любой другой) суд мог бы наказать его строже.

Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума...

Для автора этих стихов безумие намертво соединено с несвободой: с глумлением, с насилием, с тюрьмой. Само описание «стационара» — не что иное, как описание застенка. Но если «нормальный» арестант еще может сохранить гордость, силу духа и человеческое достоинство, то лишившийся рассудка непременно свертается в «бездну унижений» (как выразится век спустя другой русский поэт).

О Катеневе вспоминает не только тайная полиция.

16 августа 1851 года (то есть через четыре месяца после отчета доктора Герцога) мать больного, Анисья Катенева, обращается к шефу жандармов:

«Ваше Сиятельство,
Сиятельнейший Граф!

В 1849 году семнадцатилетний сын мой Почетный Гражданин Василий Катенев имел несчастье быть привлеченным к делу о тайном обществе Буташевича-Петрашевского и, как из официального объявления мне известно, ныне, потеряв рассудок, содержится впредь до выздоровления с тем, чтобы быть преданным суду.

На старости лет пораженная этим страшным для материнского сердца бедствием, больная и слабая, я поддерживаю жалкое существование свое единою надеждою на милость Божию и милосердие Великаго государя. Не отриньте же, Сиятельнейший Граф, просьбы матери, со слезами молящей о спасении своего детища» (ГАРФ, ф. 109, эксп. 1, оп. 1849, д. 214, ч. 14, л. 13).

Анисья Катенева пытается уверить графа Орлова, что в 1849 году ее сыну было семнадцать лет. Но по всем следственным и судебным документам он проходит как девятнадцатилетний. Возможно, мать убавляет года намеренно, что для матери простительно, ибо вызвано причинами вполне понятными. Но если мать Катенева говорит правду, тогда остается признать, что сын ее, во-первых, завысил себе года, а во-вторых, что в тюрьму был брошен подросток, самый юный из всех проходивших по делу.

Матери «из официального объявления» (то есть из текста приговора) известно, что, излечившись, Катенев будет обязан вновь предстать перед военным судом. Удрученная помешательством сына, она с не меньшим ужасом должна ждать того часа, когда он избавится от недуга. Она заклинает графа (и его посредством — царя) отдать сына ей на поруки.

Была ли доложена эта *мольба* императору Николаю? Или же граф Орлов не нашел возможным беспокоить государя по таким пустякам? Во всяком случае, в деле есть резолюция: «Граф приказал распорядиться, чтобы мещанку Катеневу допустить к свиданию с ее сыном в больнице Всех Скорбящих».

Мать умоляла о милосердии: забвении, помиловании, прощении. Ей разрешили свидание.

Проходит еще полтора года. 21 января 1853-го управляющий больницей Всех Скорбящих сообщает Дубельту, что «помешательство Катенева перешло в совершенное малолурие, он постоянно молчит, и окружающие предметы не производят на него никакого влияния». Поэтому автор письма — со ссылкой на мнение лечащего врача — полагает, что одиночное («в уединении») содержание Катенева «отдельно от других больных может иметь <...> вредные последствия как в физическом, так и в нравственном отношении». Он просит Дубельта почтить его уведомлением, может ли быть Катенев содержим «вместе с другими больными и участвовать в их занятиях».

Достоевский после пребывания в омской каторге говорит, что самым тяжелым для него наказанием была невозможность в течение четырех лет остаться одному. (Хотя с *литературной* стороны это обернулось благом.) Мертвый дом, где пребывает Катенев, обладает прямо противоположными свойствами: он обеспечивает клиенту полное одиночество. Трудно придумать условия, более способствующие развитию душевной болезни.

Безумцы или по меньшей мере люди психически нездоровые, — постоянные и, можно сказать, излюбленные герои Достоевского. Мотив безумия возникает уже во второй, написанной сразу после «Бедных людей» повести. Господин Голядкин, сильно озабоченный появлением двойника, как бы предвосхищает «двоения» и «троения» будущих персонажей. Сходящий с ума Ефимов в «Нечотке Незвановой», несчастный Вася Шумаков в «Слабом сердце», слегка свихнувшаяся на эротической почве Татьяна Ивановна в «Селе Степанчикове», страдающий старческим маразмом и распадом личности князь К. в «Дядюшкином сне»... Ни у одного из русских (а может быть, и зарубежных) писателей мы не встретим такого количества психических аномалий, список которых будет только расти — вплоть до последнего романа.

Безответная, «странная», перманентно беременная Лизавета в «Преступлении и наказании», убиваемая Раскольниковым «за компанию» с ее сестрой, старухой процентщицей, сам Раскольников, едва не впавший в безумие, Свидригайлов, которому «являются» погубленные им души... И, наконец, князь Мышкин, главный герой романа, название которого как бы обобщает глобальную тему. В «Бесах» повреждается рассудком губернатор Лембке; мягко выражаясь, не вполне адекватен Кирилов; безумна Мария Лебядкина. Да и сам Николай Всеволодович Ставрогин не отличается душевным здоровьем. В «Братьях Карамазовых» «не в себе» Лизавета Смердящая; постоянно на грани нервного срыва Лиза Хохлакова; во временное помрачение впадает брат Иван Федорович. Особая статья — «эстетствующие» лакеи-неудачники Видоплясов («Село Степанчиково») и Смердяков: оба — с явными признаками душевной ущербности. Можно согласиться, что все романы Достоевского — это в известном смысле история болезни, с многочисленными экспериментальными наблюдениями и отсутствием окончательного диагноза. Впрочем, художественная диагностика вряд ли предполагает иной результат. При этом сам автор будет публично заподозрен в психической неполноценности («юродство», «старческий недужный бред» и т. д.).

Он запишет в последней тетради: «Болезненные произведения. Но самое здоровье ваше есть уже болезнь. И что можете знать вы в здоровье?»

Здоровье (если понимать его как высокомерное игнорирование глубокой ненормальности бытия) почитается признаком нравственного расстройства. В этом смысле Достоевский совершенно здоров. Сгущение красок в его романах — это не «художественный прием». Это попытка выжить в глубинах существования некий онтологический абсурд. Автор «Бесов» как бы улавливает шевеление того самого — родимого — хаоса, который проглядывает сквозь внешне устойчивые формы российской жизни.

Самые «уравновешенные» его герои не застрахованы от приступов социального безумия. Например, тот же Алеша Карамазов, который, согласно одной из версий продолжения романа, должен был сделаться цареубийцей. То есть тем, кем хотел бы стать — правда, только на словах — государственный узник больницы Всех Скорбящих.

Бедный Катенев, для которого вызов на убийство царя — всего лишь повод обратиться на себя внимание, заявить о себе как личности, самоутвердиться, не в состоянии выдержать царской — по полной программе — мести. К его ребяческим похвальбам власть отнеслась более чем серьезно. В нем наконец, как ему мечталось, признали опасного человека. И даже его безумие не в силах его спасти.

«...Что <...> касается находящегося в больнице Всех Скорбящих сына почетного гражданина Катенева, — ответит управляющему больницей Дубельт, — то он ни в каком случае не может содержаться иначе, как в отдельной камере». Он должен быть изолирован не только от внешнего мира, но и от таких же несчастных страдальцев, как он. Видимо, власть чрезвычайно страшится пагубного воздействия пациента на других душевнобольных.

Катенев протянет еще несколько лет. Он умрет в больнице 26 мая 1856 года: его поделщики уже выйдут на волю.

Он переживет императора Николая Павловича на год с небольшим.

Что ж, пора обратиться к одному из главных участников этого дела.

Глава 16. ЦАРЬ-ЛИЦЕДЕЙ

К проблеме семейного сходства

Он царствовал без малого уже четверть века.

К исходу 1849 года он должен был чувствовать некоторую усталость. Ему было за пятьдесят: после Петра Великого, которым он восхищался и на кого тщился походить, ни один из государей-мужчин не доживал до столь почтенного возраста.

Он не пал жертвой дворцового переворота, как его дед и отец, о чьей судьбе, которую не пожелал разделить уступивший ему престол старший брат Константин, он, разумеется, помнил и делал все, чтобы ее избежать. Правда, подобный финал (равно как и омрачивший начало его царствования военный мятеж) ныне не представлялся возможным да и, пожалуй, не имел шансов на успех. Гвардия была уже не та, что при императоре Павле Петровиче или даже при Александре Благословенном. (И сам он был, конечно, *не тот*.) Да и кто бы осмелился — после 14 декабря?

Он навсегда запомнил тот роковой день.

«...Хорошенькое начало царствования, — сказал Николай по-французски одному из находившихся рядом с ним генералов, — трон в крови!» Меж тем такие слова могли бы произнести, всходя на престол, его железная бабка или мучимый запоздалым раскаянием брат Александр.

Умудренный горьким семейным опытом, он, очевидно, не обольщался относительно своего ближайшего будущего и был готов ко всему. В ночь с 13 на 14 декабря он заглянул к супруге, которая, объятая страхом, молча плакала у себя в кабинете. Он встал на колени и начал молиться. «Неизвестно еще, что ожидает нас, — передает в дневнике его речь Александра Федоровна, — обещаю проявить мужество и, если придется, умереть с честью»¹¹.

¹¹ Их дочь, великая княжна Ольга Николаевна, будущая королева Вюртембергская (которой, правда, в ту пору было три года) так *вспоминает* эти события: «Папа на мгновение вошел к нам, заключил Маму в свои объятия, разговаривал с ней взволнованным и хриплым голосом. Он был необычайно бледен» (см.: «Записки дочери имп. Николая I, вел. кн. Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской». Париж, 1963, с.10).

Она обещала. Но с той поры у нее начала трястись голова: впрочем, недуг этот был почти незаметен и мало вредил ее общепризнанной красоте. Он обнаруживал себя лишь в минуты, когда государыня испытывала сильное душевное волнение.

29-летний государь проявил характер уже в самые первые часы. Свидетели отмечают, что, находясь на площади, в виду мятежных полков, он ни разу не пустил лошадь в галоп. Правда, после одного из ружейных залпов, раздавшихся от памятника Петру, лошадь запнулась и шарахнулась в сторону. При этом толпа простолюдинов, которую он минутой ранее не без успеха пытался вразумить, «стала надевать шапки и смотреть с какой-то наглостью». Но будущий усмиритель холерных бунтов уже догадывался, как следует обращаться с народом. «“Шапки долой!” — закричал государь с невольной строгостью, и в одно мгновение все головы обнажились, и толпа отхлынула от него».

Бывшие на площади отмечают, что государь был чрезвычайно бледен.

Когда все было кончено и он возвратился во дворец, его супруге показалось, что вернувшийся выглядел «особенно благородным». Мало того: «Лицо его как-то светилось». Императрица обняла победителя: «...Он вернулся ко мне совсем другим человеком».

Его деда умертвили во время дружеского застолья. Его отец был задушен в собственной спальне. Его сын будет сражен народовольческой бомбой. Его внук, император Александр III, всю жизнь будет страшиться подпольных убийц. Его правнука вместе с женой, детьми и домочадцами застрелят в екатеринбургском подвале. Императору Николаю Павловичу повезло.

Сам он как будто не опасался покушений. Хотя для этого и были известные основания. Но, выдержав ружейный огонь на Сенатской, он признавал за благо являться подданным без охраны.

В 1829 году, коронясь в Варшаве королем польским, он в свободный от балов и парадов час шествует по стогнам града рука об руку с императрицей — без конвоя и свиты. «Этот знак доверия и эта простота, — замечает историк царствования, — очаровали всех жителей; единодушные виваты долго сопровождали августейшую чету по улице».

После подавления польского мятежа подобные прогулки сделались невозможны. Однако государь не утратил свойственной ему безмятежности.

Один воспоминатель (казалось бы, достаточно осведомленный) приводит следующий, весьма выразительный эпизод.

«Когда император был у великого князя Михаила Павловича, в Михайловском дворце, то отправил свои сани к Мраморному дворцу, желая дойти до них пешком. После завтрака Николай Павлович отправился из Михайловского дворца по протоптанной по снегу дорожке, через Царицын луг. Пройдя почти уже полдороги, он встретил хорошо одетого человека, державшего руку за бортом пальто и свирепо смотревшего на императора. Догадавшись о его намерении, Николай Павлович быстро и прямо пошел на него и громким голосом закричал ему: “Брось!”, и тот выронил пистолет. Тогда государь сказал ему: “Беги, а я буду смотреть, чтобы тебя не задержали, так как никто не должен знать, что кто-либо осмелился посягнуть на жизнь императора Николая”».

Разумеется, это чистойшей воды анекдот, выдаваемый простодушным повествователем за сущую правду, дабы, по его словам, доказать «величие души и вместе с тем мужество императора Николая». Истории ничего не известно о «хорошо одетом» (то есть явно не принадлежащем к простонародью) герое, который на пустынном пространстве между двумя великокняжескими дворцами пытался перехватить пальму первенства у Дмитрия Каракозова. Государь Николай Павлович был не таков, чтобы отпускать преступника с миром. Он никогда бы не согласился с «формулой» Достоевского, отнесенной им к Вере Засулич: «Иди, ты свободна, но не делай этого в другой раз». (Автор «Бесов» присутство-

вал на процессе первой русской террористки и высказал собеседнику оптимальную, с его точки зрения, версию приговора.) «Державец полумира», громовым голосом повелевающий безумцу бросить «цареубийственный кинжал», — лицо, конечно, мифологическое. Легендарно и завершение этого поучительного рассказа: «Злодей убежал, а император, подняв пистолет, повернул назад и неожиданно зашел в кабинет Леонтия Васильевича, в III Отделении. Положив пистолет на стол, он рассказал ему о случившемся, отдав строгое приказание не разыскивать злодея».

В 1848 году Фаддей Венедиктович Булгарин письменно умоляет высшее начальство, чтобы оно покорнейше присоветовало государю не совершать одиноких прогулок вокруг Зимнего дворца, ибо счастье и спокойствие целой Европы зависят от жизни и здоровья одного человека.

Недаром на первых порах его сравнивали с титанами.

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

На автора этих стихов молодой, старше его всего тремя годами, царь произвел сильное впечатление. При всех (порой драматических) колебаниях их отношений Пушкин, пожалуй, до конца не терял уважения к государю: чувство, совершенно ему незнакомое, скажем, в случае с предшественником, властителем «слабым и лукавым».

Правда, его дневниковая запись (оформленная как передача чужих слов), что в государе немного от Петра Великого и много от прапорщика, тоже далеко не случайна. В «прапорщике» напрасно отыскивать то, что хотел бы видеть в новом монархе Пушкин.

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд
И памятью, как он, незлобен.

Высказанное в 1826 году в форме достаточно жесткого императива, это желание не возымело последствий. При всех прочих своих достоинствах император не обладал именно этим: незлобностью памяти.

Невольник чести

При том, что многих будущих декабристов их будущий сокрушитель знал по имени и в лицо, он вряд ли слыхивал что-либо о подсудимых 1849 года. (Может быть, за исключением лишь автора «Бедных людей», если верить насмешливому: «Тебя знает император...» и т. д.) Тем не менее формальный приговор «апрелистам» был еще более жесток, нежели тот, что был вынесен в 1826 году подвижникам декабря. Смерти — без различия в объеме и степени вины — подлежали практически все. В возрастном измерении это была кара как бы даже отеческая: большинство осужденных годились императору в сыновья. (В 1826-м он карал преимущественно ровесников.) И хотя, к счастью, ни один приговор не был приведен в исполнение (о некоторых скрытых доселе причинах такого великодушия нам доведется еще сказать), долг был исполнен. Тот самый, диктуемый жесткой государственной потребностью долг, который некогда заставил молодого царя не пощадить тех, кто, собственно, принадлежал к его поколению.

Первый поэт его царствования был назван «невольником чести». К императору Николаю тоже приложимы эти слова.

Он был убежден: все, что бы он ни совершал, он совершает для блага России. Он почитал себя бичом Провидения, орудием Божьей воли и не сомневался в том, что его собственные стремления всегда согласны с высшими интересами

вверенной его попечению страны. Он повесил пятерых и четверть века спустя чуть было не расстрелял еще два десятка не слишком опасных для отечества лиц не потому, что был злобен, мстителен или жестокосерд. Он, как выразился бы при случае один из проходивших по делу, «не старушонку зарезал»: надо было соблюсти принцип, в истинности которого он не мог сомневаться.

В деле петрашевцев он повел себя именно таким образом. Однако исключительно благодаря его личной воле они были преданы военному суду. Сам этот акт мог бы подсказать подсудимым характер грядущей кары. Две смертные казни — одна натуральная, другая бутафорская, но от этого не менее ужасная для казнимых, — открывают и завершают собой это царствование, на исходе которого он, как сказано, не мог не почувствовать скуки, одиночества и пустоты.

Что же стяжал он в конце?

Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые, и злые, —
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

Можно подумать, что эти стихи сочинил страдающий разливами гражданской желчи Некрасов или на худой конец мрачно веселящийся Добролюбов. Нет, они принадлежат всегда сдержанному и более чем благожелательному к монархии Федору Ивановичу Тютчеву.

Его дочь, Анна Федоровна¹², фрейлина цесаревны, а затем императрицы Марии Александровны (жены Александра II), пишет в своих воспоминаниях: «...надо признать, что в ту эпоху русский двор имел чрезвычайно блестящую внешность. Он еще сохранил весь свой престиж, и этим престижем он был всецело обязан личности императора Николая. Никто лучше, как он, не был создан для роли самодержца».

Он поднимался обычно в семь часов утра, выпивал стакан мариенбадской воды и выходил на прогулку с пуделем. В Петергофе он шел непременно смотреть на работы в парке. В десять часов начинались доклады министров. Если это случалось в Зимнем, он принимал их в большом кабинете с тремя столами и низкими шкафами вдоль стен. Он держал у себя под стеклянным колпаком каску и шпагу генерала Милорадовича — того, кто был сражен пулей Каховского 14 декабря на Сенатской. Он не любил балов и предпочитал танцевать только кадрили. Он работал по восемнадцать часов в сутки (на его старом мундире без эпюлет, в который он любил облачаться во время своих домашних трудов, были протерты локти — от долгих занятий за письменным столом), спал на тюфяке, набитом соломой, «ел с величайшим воздержанием, ничем не жертвовал ради удовольствия и всем — ради долга».

И все это оказалось напрасным.

«Когда он узнал, — говорит об отце великая княжна Ольга Николаевна, — что существуют границы даже для самодержавного монарха и что результаты тридцатилетних трудов и жертвенных усилий принесли только очень посредственные плоды, его восторг и рвение уступили место безграничной грусти. Но мужество устоять никогда не оставляло его, он был слишком верующим, чтобы предаваться унынию, но он понял, как ничтожен человек».

Несомненно, государь искренне любил страну, в которой родился и истинную пользу которой всеми силами желал наблюдать. Он не цеплялся за абсолютную власть: она принадлежала ему по праву. Самодержавие почиталось им естественной скрепой всего народного бытия.

¹² В день смерти императора она обедала у родителей «и застала их под очень сильным впечатлением». Первая реакция Ф. И. Тютчева несколько отличается от его поэтического резюме: «“Как будто нам объявили, что умер Бог”, — сказал отец со свойственной ему яркостью речи».

«В России еще существует деспотизм, — заявил он одному заезжему иностранцу, — ибо в нем самая суть моего правления; но он отвечает духу нации».

Он был откровенен с господином де Кюстином, чем немало удивил проницательного маркиза. Трактую о разных способах государственного устройства в их первой, казалось бы, сугубо протокольной беседе, император поразил французского путешественника рядом необычных суждений.

«Мне понятна республика, — молвил самодержавнейший из монархов, — это способ правления ясный и честный либо по крайней мере может быть таковым, мне понятна абсолютная монархия, ибо я сам возглавляю подобный порядок вещей; но мне непонятна монархия представительная. Это способ правления лживый, мошеннический, и я скорее отступлю до самого Китая, чем когда-либо соглашусь на него».

Его старший брат говорил, что он лучше отпустит бороду и уйдет, как простой крестьянин, в леса, нежели положит оружие перед Наполеоном. Император Николай Павлович также готов противоборствовать до конца — «отступить до Китая». В конституционном правлении он видит такую же угрозу для нации, как Александр I — в нашествии иноплеменных.

Та же великая княжна Ольга Николаевна («любимица всех русских», говорит иностранный наблюдатель, ибо «невозможно представить себе более милого лица, на котором выражались бы в такой степени кротость, доброта и снисхождение») так передает слова своего державного родителя: «По убеждению я республиканец. Монарх я только по призванию. Господь возложил на меня эту обязанность, и, покуда я ее исполняю, я должен нести за нее ответственность».

Тут уместно вспомнить Карамзина, который, будучи неколебимо привержен основам русской исторической власти, лелеял в душе совсем иной идеал. Как и Николай, в последний момент буквально выхвативший корону из рук неразумных прожектеров, автор «Истории государства Российского» полагал, что республиканские установления хороши для Первого, но отнюдь не Третьего Рима (даже в том случае, когда Третий Рим потеснен новой «европейской» столицей) и что небрежение монархическими началами поведет к гибели государства. Можно бы, конечно, именовать такое раздвоение национальной души русским ментальным парадоксом, если бы не трудности, проистекающие из необходимости объяснять, что тут имеется в виду.

Николай, действуя, как принято говорить, в качестве тормоза исторического прогресса, выступает одновременно охранителем *исконно народных начал*. Он исходит из национальной исторической практики. Его «теория» подкреплена суровым опытом предков. Он отнюдь не против республики: однако не здесь и не сейчас.

Итак, выбору подлежит отнюдь не хорошее или дурное: речь идет о другом. Выбирать приходится между должным, необходимым, действующим применительно к случаю — и всем остальным. Это «остальное» в *принципе*, может быть, и достойно восхищения, но, увы, не имеет шансов процветать на просторах возлюбленного отечества.

Ибо заявлено: «Умом Россию не понять».

Первыми на эту утешительную гипотезу посмели посягнуть декабристы. Попытка не удалась. (Как выразится тот же автор: «Зима железная дохнула — и не осталось и следов».) Достоевский полагал, что она и не могла удалась. Воображая ближайшие последствия якобы завершившегося в Петербурге успехом переворота, он записал однажды «для себя»: «Освободили бы декабристы народ? Без сомнения, нет. Они исчезли бы, не продержавшись и двух-трех дней. Михаилу, Константину стоило показаться в Москве, где угодно, и все бы повалило за ними. Удивительно, как этого не постигли декабристы». То есть даже безусловная победа восстания в северной столице не означала бы победу в стране: козыри все равно остаются в руках царствующей династии.

Но зачем тогда он поспешает в Коломну?

Его холодность к блестящим утопическим проектам очевидна: он слабо верит в осуществимость хрустального рая. У него не может не вызвать усмешки (скорее не язвительной, а печальной) картина фаланстера, населенного дружескими соотечественниками: он слишком хорошо знает людей. Нет также никаких указаний на то, что он желал бы изменить образ правления. Не только в позднейшие времена, когда столичные либералы станут потешаться над его «старческим недужным бредом», разумея под последним его ежемесячный «Дневник писателя», но и тогда, в туманной юности, у него не возникает никаких демократических обольщений. В отличие от своего императора он никогда не будет уверять, что считает республику правлением «ясным и честным». И в то же время он хочет совокупить абсолютную монархию с царством духовной свободы: ему не терпится подвинуть русского царя на этот рискованный путь. Дух утопизма не перебродит в нем никогда¹³.

Инженеры человеческих душ

Еще с послепушкинских времен в русском сознании укоренился образ холодного и казnelюбивога владыки, с неким механическим однообразием хватающего свои жертвы и оледеняющего вокруг себя все живое. Само собой, сей властелин ограничен в своих вкусах и привычках, не очень далек и, разумеется, чужд просвещению. Последнее особенно ставилось императору в вину. «Остановили науку при Николае», — запишет Достоевский в одну из своих записных тетрадей: он, конечно, имеет в виду 1848 год¹⁴.

Меж тем именно при Николае были отставлены Аракчеев, Рунич и Магницкий; процвела Румянцевская библиотека; открыты новые гимназии и училища; действовали Лобачевский и Пирогов. «Замечательное десятилетие» с его подземной, но мощной духовной работой приходится на николаевские годы. Однако ощущение неподвижности и застоя, бессобытийности жизни, того, что «ничего не происходит», не покидает современников и передается потомкам.

Кстати, в художественных текстах Достоевского практически нет упоминаний покойного государя. Пожалуй, единственное исключение — это «Подросток». Один из героев романа, Петр Ипполитович, не без патриотической гордости повествует о том, как взыскательный император заметил на улице непорядок — наличие громадного камня.

«Ездил государь много раз, и каждый раз этот камень. Наконец, государю не понравилось, и действительно: целая гора, стоит гора на улице, портит улицу: “Чтоб не было камня”. Ну, сказал, чтоб не было — понимаете, что значит “чтоб не было”? Покойника-то помните?»

Покойника нельзя было не помнить — именно с этой, внушающей уважение стороны. Герцен не зря именовал его Незабвенным.

Характер государя налагает неизгладимый отпечаток на все его царствование. «Каков правитель народа, таковы и служащие при нем; и каков начальствующий над городом, таковы и все, живущие в нем», — сказано в Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова.

Эти слова берет в качестве эпитафии к своей книге «Россия в 1839 году» уже упомянутый выше маркиз Астольф де Кюстин. Он посещает страну ровно за десятилетие до событий, которые кончатся Семеновским плацем. Впрочем, в 1849-м здесь мало что изменилось.

¹³ См. подробнее наши книги: «Последний год Достоевского». М., 1986, 1990, 1991; «Коллебясь над бездной. Достоевский и императорский дом». М., 1998.

¹⁴ К этому времени относится не только принятие экстраординарных мер по надзору за печатью — создание меншиковского, а затем бутурлинского («2-го апреля») комитетов, но и стеснительные нововведения в области университетского образования, академической жизни и т. д.

«Российская Империя, — заметит путешествующий маркиз, — это лагерная дисциплина (согласно другим переводам — “военный стан”. — **И. В.**) вместо государственного устройства, это осадное положение, возведенное в ранг нормального состояния общества».

Что ж, Достоевского и его друзей будут судить по военно-полевому уставу. Недаром говорено, что «Россия — государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозой света».

Будущий государь (которого в молодости, однако, вовсе не готовили для этой ответственной роли) взрастал в полном согласии с указанной препозицией. В еще большей мере, чем его старший, «воспитанный под барабаном» брат, он проявлял природную склонность к военным занятиям. «Лучшею наградою для него было, — сообщает биограф великого князя, — когда воспитатель его Ламсдорф мог ему обещать свозить его в день парада на место развода». Созерцание экзерциций приводило его в полнейший восторг. Позже он никогда не забывал о своем многочисленном войске: тем горше окажутся для него первые неудачи Крымской войны.

Особое рвение юный великий князь выказывал в строительном деле — может быть, тоже следуя примеру того, кто за успехи на этом поприще был удостоен эпитета «чудотворный». В детстве он обожал возводить фортификационные сооружения — даже при производстве работ, казалось бы, сугубо гражданских. «Когда Николай Павлович, — говорит М. А. Корф, — строил дачу для няни или гувернантки из стульев, земли или игрушек, то он никогда не забывал *укрепить* ее пушками “для защиты”». Эти ребяческие забавы были высочайше поощрены: в 1817 году двадцатилетний великий князь назначается генерал-инспектором по инженерной части.

«Мы, инженеры...» — любил говаривать государь. «Мы, Божьей милостью, инженеры...» — тоже звучало бы славно.

Император был неплохим рисовальщиком и любил собственноручно вычерчивать планы флешей, редутов и крепостей. Его гневное вопрошение («Какой дурак это чертил?») на проекте представленной Достоевским крепости, которая по причине непростительной рассеянности проектировщика была начисто лишена крепостных ворот, есть не только реакция попечительного монарха, но и техническая претензия сведущего в настоящем деле лица¹⁵. Так что высочайший инженер мог «узнать» Достоевского еще до появления «Бедных людей».

Дочь вице-президента Академии художеств графа Федора Петровича Толстого приводит в своих воспоминаниях замечательный эпизод.

Ее отец, знаменитый рисовальщик и медальер, однажды представил государю проект медали с изображением славянского воина — для коллекции в память 1812 года. Внимательно рассмотрев рисунок, государь заметил:

«— Послушай, Федор Петрович, воля твоя, а колено у твоего славянского воина повернуто неправильно!..»

— Нет, правильно, — с уверенностью отвечал папенька».

Однако император Николай Павлович продолжал настаивать на своем. Чтобы доказать собственную правоту в этом эстетическом споре, государь изволил даже встать перед зеркалом в позу славянского воина.

«— Вот видишь, от самого колена ты отвел ногу в сторону, а так она твердо стоять не может. Славянский воин манерничать, по-моему, не будет; он поставит ступню вот так...»

И, не отрывая взгляда от зеркала, император начал двигать нижней конечностью, наглядно демонстрируя, как, по его убеждению, должен был выглядеть

¹⁵ Этот случай, который, возможно, послужил причиной отставки Достоевского, не находит пока документального подтверждения. Подробнее см.: Игорь Волгин. «Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах». М., 1991, сс. 278, 355—359.

славянский воин. Засим Николай Павлович «присел к письменному столу и тут же на папенькином рисунке легонечко нарисовал карандашом ногу так, как ему казалось, что она будет стоять правильно».

Глубоко уязвленный, граф Федор Петрович, негодуя по причине того, что кто-то — пусть даже это будет сам государь! — вздумал учить его ремеслу («Да еще рисуют на моем рисунке. Как это вежливо!»), отправился домой и заперся в кабинете. Там, раздевшись донага, граф начал принимать различные позы перед трюмо. Спустя некоторое время он смиренно потребовал у домашних баночку с лаком.

Император, увы, оказался прав. И, безоговорочно признав его правоту, взыскательный художник вознамерился немедленно покрыть лаком царскую карандашную поправку — дабы в неприкосновенности донести ее до восхищенного потомства.

Лаком, впрочем, покрывались все царские резолюции и пометы. С ненайденной (и, возможно, до сих пор покоящейся в архивах) высочайшей сентенцией относительно «дурака» было поступлено точно так же.

К любимому им вице-президенту Академии художеств Николай Павлович отнесся куда снисходительнее, нежели к безвестному проектировщику крепостей. Роковое для Достоевского слово не было ни произнесено, ни обессмерчено. «Скверную кличку дал мне государь», — якобы сказал будущий автор «Идиота». Прося об отставке, он, возможно, желал сохранить честь своей инженерной *alma mater*.

В Петропавловской крепости все ворота будут на месте.

Взойдя на престол, император не оставит заботами бывшее некогда под его управлением ведомство. И особенно Михайловский замок, недолгое обиталище убитого в этих стенах отца. Там нынче воспитывались юные военные инженеры.

Молчит неверный часовой.

Опущен молча мост подъемный...

Операция, как видим, потребовала некоторых инженерных усилий.

В письмах к отцу, изъясняя причины, подвигшие его на покупку нового кивера, Достоевский устрашает родителя тем соображением, что старый казенный «мог бы броситься в глаза царю». Тем самым ненавязчиво дается понять, что владелец кивера постоянно пребывает в поле зрения государя. Действительно, участвуя в парадах и смотрах, которыми нередко командовал сам император, юный кондуктор имел шанс привлечь внимание самодержца. Надо ли говорить, что и Достоевский при случае не мог оторвать от него глаз?

Красивейший мужчина Европы

Он видит его чуть ли не ежедневно — когда император объезжает военные лагеря под Петергофом, где проходят летнюю практику воспитанники военно-учебных заведений. По знаку государя будущие офицеры штурмуют Самсона: тем, кто сквозь бьющие струи фонтана первым достигнет верхней площадки, императрица собственноручно вручает призы. Достоевский, правда, в этих спортивных подвигах не замечен. Не могущий похвастаться ни выправкой, ни особой сноровкой, вряд ли он мог привлечь внимание тех, кто пока не подозревает о его грядущих литературных заслугах.

Мало кому доводилось наблюдать государя с непарадной, можно даже сказать, демократической стороны. Облачившись в холщовую куртку кондуктора, Николай Павлович изволил возводить учебные укрепления вместе со своими несовершеннолетними подданными. (Опять как бы оживляя в себе дремлющий дух Петра.) И не был ли Достоевский свидетелем уже совершенно домашних царских забав? «Государь, — вспоминает один из счастливцев, — играл с нами; в расстегнутом сюртуке ложился он на горку, и мы тащили его вниз или садились на него, плотно друг около друга; и он встряхивал нас, как мух». Завидовал ли

автор «Подростка» в свои восемнадцать лет совсем юным кадетам, позволявшим себе эти *царские* фамильярности? «Любовь к себе он (государь.— **И. В.**) умел вселять в детях...» — заключает умиленный мемуарист.

С воспитанниками более зрелого возраста дело обстояло сложнее.

«Никогда не забуду того страха,— вспоминает другой очевидец,— который я испытал в минуту раздражения Государя после одного из учений, которое он делал в Петергофе отряду военно-учебных заведений». В поле за лагерем было грязно, стояло много обширнейших луж — и некоторые из воспитанников предпочитали не форсировать вброд эти водные преграды, а просто обойти лужу или перепрыгнуть через нее. Государю не понравились эти не предусмотренные уставом экзерсисы, и по окончании учения он, «подойдя к нашей роте, начал кричать на нас». И что же? «В свою очередь, мы были утомлены, голодны, а следовательно, и нетерпеливы; двое или трое из нас довольно громко, в ответ на его брань, посылали по его адресу очень резкие эпитеты. Я думал, что если только он услышит, то беда нам всем неминуемая; но, к счастью, он в пылу гнева не слышал, и дело окончилось благополучно».

Император умел внушать любовь, трепет и страх.

Сохранилось принадлежащее соотечественнику описание государя. Оно относится к 1828 году, то есть на десятилетие раньше, чем Николая впервые увидели Достоевский и маркиз де Кюстин.

«Император Николай Павлович,— говорит наблюдатель,— был тогда 32-х лет; высокого роста (он, что отмечено многими, всегда возвышался над толпой, в большинстве случаев — придворной.— **И. В.**), сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько скороговоркой». После этого перечисления, более напоминающего *описание примет*, является попытка портрета. «Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости, но видна была какая-то неподдельная строгость. Свежесть лица и все в нем выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность не была изнежена, и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностью. В физическом отношении он был превосходнее всех мужчин из генералитета и офицеров, каких только я видел в армии, и могу сказать поистине, что в нашу просвещенную эпоху величайшая редкость видеть подобного человека в кругу аристократии».

В свою очередь, граф Александр Христофорович Бенкендорф, ближайший сотрудник и наперсник государя, называет наружность Николая бесподобной. Он восхищается также его прекрасной посадкой и «серьезною степенностью», с какой император имел обыкновение командовать войсками. Шеф жандармов полагает, что русский царь — красивейший мужчина во всей Европе. Государь, внимательно читавший записки Бенкендорфа и придирчиво отметивший на полях многие ошибки и неточности, никак не изволил отозваться на эти уверения друга.

Молодой Достоевский, имевший в зрелые годы неосторожность заметить, что мир спасет красота, тоже должен был с жадностью вглядываться в черты этого человека, чья наружность заключала в себе сверхличный, метафизический смысл. Она символизировала могущество и обаяние власти. Скажутся ли эти впечатления в его романической прозе? Заметим пока, что образы его красавцев мужчин почти всегда имеют несколько отталкивающий характер.

Впрочем, в каждом портрете сказывается судьба портретиста. Можно поэтому понять и автора «Былого и дум»: «...в своих ботфортах, свирепый часовой со «свинцовыми пулями» вместо глаз, с назад бегущим малайским лбом и звериными челюстями, выдающимися вперед!» «Свирепый часовой», — клеймит императора Герцен. «Папа стоял как часовой на своем посту», — восхищается дочь.

Внешность императора Николая была для России серьезным политическим капиталом. Благородство черт как бы намекало на благородство поступков. О рыцарственности царя, имевшего все основания в 1829 году взять Стамбул, но остановившего свои армии в Адрианополе, не упоминал только ленивый.

Читая записки Бёнкендорфа, государь никак не отозвался и на игривый пассаж, касающийся его визита к якобы страстно добивавшейся этой встречи княгине Меттерних. Опасаясь, как выражается Бенкендорф, «остаться наедине с прелестнейшею женщиною, самым оборожительным образом предавшемуся увлечению своей радости», государь взял с собой автора записок. «Оказалось,— продолжает наблюдательный граф (который удачно совмещал роль конфиден-та царя с управлением тайной полицией),— что и она, движимая, вероятно, тем же страхом уединенной беседы с красивейшим мужчиною в Европе, вооружилась против него присутствием двух замужних своих падчериц». Вследствие принятия этих взаимных оборонительных мер чистота русско-австрийского союза не была подвергнута опасному испытанию.

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних...

«Свидание,— заключает Бенкендорф,— было чрезвычайно любезно с обеих сторон, но несколько принужденно».

Повествователь не может не отдать должное государственной деликатности императора Николая, который, являя собой поразительный контраст с австрийским императором Фердинандом («слабенькое существо, тщедушное телом и духом, какой-то призрак монарха»), ни разу не позволил себе обнаружить свое превосходство. Бенкендорф именует союзного монарха «высшей ничтожностью», который «как бы вообще не существовал»: даже принимая гостей, он «скорее походил на мебель, чем на хозяина». При этом в силу своей умственной ограниченности глава Австрийской (еще недавно — Священной Римской) империи не мог совладать с предметом простейшего разговора. Разумеется, он не чета своему российскому собрату — не только прирожденному властелину, но и любезному, хорошо воспитанному собеседнику, который способен по достоинству оценить тех, кто оказывается перед ним. (О чем, добавим, мог бы свидетельствовать и его отзыв о Пушкине после их первого свидания — как об умнейшем человеке в России.)

Правда, Бенкендорф дарит своим партнерам по Священному союзу один исторический комплимент. Он особенно знаменателен в устах российского министра, отвечающего за порядок и тишину в государстве.

«Но тем благороднее и величественнее,— пишет граф,— было зрелище, даваемое свету австрийскою нациею и управляющими ею министрами. Все благоговело перед троном, почти праздным, все соединилось вокруг власти, представлявшей один призрак монарха». Все части управления и все начальства строго следовали по предначертанному им пути; истинная власть была сосредоточена в руках нескольких министров; все про это знали, «и все, однако же, скрывали это от самих себя, давая вид, что повинуются только воле императора».

Это — торжество самого принципа легитимизма, который независимо от личных качеств монарха направляет весь ход государственной машины. Однако император Николай Павлович не нуждается в такого рода уловках. Он не только царствует, но и — в чем может не сомневаться никто — управляет. Он вмешивается буквально во все; он входит во все подробности и детали; ни одна мелочь не может ускользнуть от его царственного взора. Без его участия невозможна та драма, в которой заняты Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский. При этом сам он явно внесценический персонаж: грозный призрак, готовый явиться из-за кулис. Возникая, как бог из машины, он резко меняет мерное течение пьесы. Ему нравятся эти внезапные наезды: приехать, нагнать страху, наказать, а там — может быть, и помиловать. Он не забывает о миссии воспитателя и социального педагога. Возможно, он и разрешил «Ревизора» только потому, что ему пришлось по душе финальная сцена.

Он любит неожиданные развязки: казнь на Семеновском плацу относится к их числу.

Мальчишки позволяют себе в строю *послать* императора — очевидно, в выражениях непечатных. Ястржембский на вечерах в Коломне открыто имену-

ет его «богдыханом». Момбелли в дневнике называет государя зверем, извергом и антихристом. Частная жизнь обладает некоторыми степенями свободы.

Но в любой момент в нее может вторгнуться государство.

С неменьшим основанием, чем Людовик XIV, Николай мог бы утверждать: государство — это я.

Ревнивец-маркиз (или невинность по исторической части)

«...Нельзя быть более императором, чем он», — замечает о Николае маркиз де Кюстин.

Маркиз не скрывает, что русский царь произвел на него чрезвычайное впечатление. Он говорит о постоянном выражении «суровой озабоченности» на лице императора и указывает на отсутствие добродушия в его чертах, что, по мнению автора, «изъян не врожденный, но благоприобретенный». «Впрочем, — добавляет Кюстин, — порой во властном или самовластном взгляде императора вспыхивают искры доброты, и лицо его, преображенное этой приветливостью, предстает перед окружающими в своей античной красе».

Об *античной* красоте государя, классической правильности его черт говорят, как мы убедились, едва ли не все очевидцы. И если российских подданных, как сказано, еще можно заподозрить в патриотической лести, иностранцы отдают дань Николаю вполне бескорыстно.

«У императора греческий профиль, — продолжает Кюстин, — высокий лоб, слегка приплюснутый сзади, прямой нос безупречной формы, очень красивый рот, овальное, слегка удлинненное лицо, имеющее воинственное выражение, которое выдает в нем скорее немца, чем славянина».

Кюстин восхищается внешностью императора многократно, неустанно, подробно. Он замечает, какой наряд венценосу больше к лицу («В парадном мундире алого цвета император особенно красив»). Те, кто осведомлен об интимных предпочтениях маркиза — о его гнусной, как выражались в старину, страсти, готовы усмотреть в таковых описаниях сугубо прикладной смысл.

Тем паче что Кюстин невысокого мнения о русских женщинах, в особенности о простолюдинках, которые, как он полагает, «на удивление уродливы, до отвращения нечистоплотны». Он говорит, что ни разу не встречал на улице женщины, которая бы привлекла его взор. «Странно подумать, что именно они — жены и матери мужчин с такими тонкими и правильными чертами...» Впрочем, говоря о том, что привлекательные мужчины встречаются в России чаще, чем интересные женщины, Кюстин присовокупляет, что это «отнодью не мешает обнаружить и среди мужчин множество плоских, лишенных выражения физиономий». Как тут не вспомнить автора «Философического письма», горько сетующего на «немоту наших лиц».

И тут на сцену вновь выступает наш старый знакомец — Борис Парамонов. Разумеется, такой автор, как Кюстин, вызывает у него глубокий творческий интерес.

Б. Парамонов цитирует один французский источник, согласно которому в ночь на 28 октября 1824 года маркиз был найден без сознания, избитым, раздетым до пояса на дороге из Версаля в Сен-Дени. У него оказались сломаны пальцы, с которых исчезли кольца. «Это сделала с ним компания солдат, с одним из которых, предположительно, Кюстин пытался устроить свидание»¹⁶.

Отсюда, полагает Б. Парамонов, в душе несчастного маркиза навеки поселился смешанный с вожделением страх перед мундиром. Вот почему отважный путешественник трепещет вблизи императора Николая. И вообще, «Россия у Кюстина — это метафора *половой* несвободы», а его пресловутая книга — не более чем «фантазия гомосексуалиста». При этом маркиз попросту без ума от императора Николая, но невозможность обладания предметом возбуждает в нем политическую желчь. «Можно сказать, что недовольство Кюстина Россией — это обыкновеннейшая ревность влюбленного, которому предпочли другого (другую)».

¹⁶ Цит. по: Борис Парамонов. Маркиз де Кюстин: интродукция к сексуальной истории коммунизма. «Знамя», 1995, № 2, с. 183.

Итак, не принадлежи маркиз де Кюстин к сексуальным меньшинствам, его оценки страны посещения носили бы куда более теплый характер. В этой связи стоило бы повнимательнее приглядеться к тем иностранцам, которые опрометчиво позволяли себе нелестные суждения о России. Их, может быть, тоже страшила вовсе не императорская цензура как таковая, а «образ цензуры, налагаемый культурой на чувственную вседозволенность». Вот где собака зарыта. «Именно об этой цензуре,— заключает Б. Парамонов,— все время ведется речь у Кюстина, а не об отступствии в России 1839 года свободы слова и прочих гражданских прав».

Думается, такая гипотеза полностью бы устроила императора Николая.

Тем более что как бы в компенсацию за ущерб, нанесенный им женщинам из народа, Кюстин весьма благожелателен к дамам русского императорского семейства. В первую очередь к императрице (урожденной прусской принцессе), которая буквально покоряет его своим обаянием, любезностью и умом. Но одновременно внушает и некоторую его скорбь.

Описывая императрицу Александру Федоровну, Кюстин старается всячески подчеркнуть ее телесную немощь: хрупкость, прозрачность, угрожающую худобу, явно выраженную возможность чахотки. Преисполненный горестного сочувствия, автор записок не исключает — разумеется, он толкует об этом в деликатнейшей форме,— что жена императора имеет шанс отправиться в мир иной ранее своего августейшего супруга.

От внимания Б. Парамонова не может укрыться этот тонкий намек. Со свойственной ему пронизательностью он утверждает, что императрица абсолютно здорова. И что Кюстин упирает на ее болезненное состояние с единственной и вполне извинительной целью. Ведь сказано, что маркиз равнодушен к мужу псевдобольной. Он втайне сам жаждет обладать красивейшим мужчиной Европы. Поэтому в мрачных глубинах его подсознания бродит коварная, хотя по-своему и остроумная мысль. Он стремится устранить нежелательную, но могущественную соперницу. Маркиз мобилизует для этого все силы своего воображения: так в Александру Федоровну вселяется смертоносная болезнь.

«Только совершенной невинностью Б. Парамонова по исторической части можно объяснить его трактовку этого сюжета...» — меланхолически замечают современные комментаторы записок маркиза, попутно приводя бесспорные свидетельства серьезной болезни императрицы.

Надо отдать должное Б. Парамонову: в качестве *знатока* он совершенно неуязвим. В той области, где он с такой эффективностью подвизался и которую можно было бы условно назвать сексуальной культурологией, он действует — повторим это еще раз — как истый марксист. Он объясняет всё сущее, исходя из некоторого универсального подозрения. Или, как сказал бы Достоевский, из идеи, попавшей на улицу, которая (то есть идея) сделалась своего рода шпиргалкой для доверчивых школяров. «Невинность по исторической части» является здесь необходимым условием жанра. И если автор «Подростка» (чье отдающее педофилией название должно было бы крепко насторожить Парамонова) наделяется тайным влечением к роковому красавцу Спешневу, что мешает маркизу де Кюстину, легитимисту и преданному стороннику Бурбонов, усмотреть в русской законной монархии узурпаторшу его заветнейших прав?¹⁷

¹⁷ Осмелимся предложить еще несколько сюжетов для размышлений в избранном Б. Парамоновым направлении. Например: не убивает ли Петр Степанович Верховенский (в отличие от А. Кюстина — не мысленно, а буквально) своих потенциальных соперниц — Лизавету Тушину и Марью Лебядкину, чтобы безраздельно завладеть красавцем аристократом Ставрогинным, к которому малопривлекательный демократ Петруша явно равнодушен. И затем: не кажется ли нашим эротическим следопытам несколько подозрительной привязанность государя к А. Х. Бенкендорфу, который был не только чрезвычайно обласкан монархом (чьей красотой генерал так искренне восхищался), но и неизменно приглашаем в императорскую коляску во время долгих поездок и продолжительных «отрывов» императора от семьи. Полагаем, можно было бы с блеском развить эти скромные наблюдения.

«Папа́ после шести лет брака был влюблен в Мама́, — говорит императорская дочь, — любил видеть ее нарядно одетой и заботился о самых мелочах ее туалета. Мама́ тотчас же соглашалась с ним, и Папа́, немного смущенный и сконфуженный, усиливал свою нежность к ней».

Проходят годы. В 1837-м английская «Таймс» позволяет заметить, что русский царь, который «долгое время был образцом супружеской верности, ныне явно пренебрегает женой». Кюстин, в свою очередь, упоминает про «тайные любовные похождения», которые злые языки приписывают царствующему монарху. «Злые языки» особенно развяжутся после кончины государя.

Пушкин полухуотливо назидает жену, чтобы она не кокетничала с царем, который по причине ее жестокости «завел себе гарем из театральных воспитанниц». Эти слова есть в большей мере семейственный юмор, нежели свидетельство исторического порядка. Еще менее последнее относимо к рассуждениям иностранцев.

«Царь, — утверждает один из них, — самодержец в своих любовных историях: если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа, привлекающая внимание божества, попадает под наблюдение. Предупреждают супруга или родителей о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением благодарности. (Драматическая судьба актрисы Варвары Асенковой опровергает это безапелляционное утверждение. — И. В.) Равным образом нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекли прибыли из своего бесчестья». Далее автор приводит слова, якобы принадлежащие фрейлине императорского двора: «Мой муж (фрейлины, как известно, были неза мужем. — И. В.) никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом».

Все эти занимательные подробности сильно преувеличены. (Описанная методика скорее будет применяться через сто лет.) Достоевский был, в общем, осведомлен об этой стороне жизни императорского двора. Весьма убедительной представляется версия, согласно которой в образе князя Петра Валковского из «Униженных и оскорбленных» сказались черты князя Петра Волконского, министра императорского двора и уделов. Именно он был «признанным устройтелем романов государя». П. А. Вяземский называет его «Перекусихиной нашего времени».

Не припомним, мелькала ли в обширнейшей литературе о Достоевском мысль о том, что не только Спешнев, но и император Николай — один из прототипов Ставрогина. (Своего рода альянс *трех Николаев*.) Но если даже это нам померещилось, следует обсудить такую гипотезу. Она не так безумна, как кажется.

«Император пленил меня...»

Действительно: преувеличенная, невозмутимая, *неживая* красота Ставрогина как бы корреспондирует с выражением холодного величия, которое, по отзывам современников, наиболее характерно для лица государя. Это маска, личина, лярва: результат прилежных актерских усилий.

Кюстин говорит, что лицо императора Николая «становится холодным и застывает» из-за постоянной привычки сдерживать свои страсти. Но чем же, как не сдерживанием страстей (которых у него, заметим, хватает), занят денно и ночью Николай Всеволодович Ставрогин, не ответивший даже на оскорбление действием и принудивший себя после нанесенной ему пощечины убрать руки за спину? Эта самовоспитательная и не лишенная элементов мазохизма методика приносит плоды. Соединенная с демонической внешностью героя, она подчиняет ему людей и заставляет их взирать на него едва ли не с обожанием.

«...Признаюсь, император пленил меня! — восклицает Кюстин. — ...Красота доставляет ему лишний способ быть убедительным...» Тем более добавим, когда она сопряжена с тайной, каковой в случае с Николаем Павловичем является власть, а в случае с Николаем Всеволодовичем — вся биография героя. Последний, пожалуй, согласился бы с маркизом де Кюстином: «Заставить другого восхищаться собой — один из способов держать его в повиновении». И у царя, и у гражданина кантона Ури есть одна объединяющая их черта: театральность поведения.

«Император настолько вошел в свою роль, — замечает Кюстин, — что престол для него — то же, что сцена для великого актера».

Император вошел в свою роль; он, как замечено по другому поводу Достоевским, «самосочиняется». Но не обладает ли даром лицедейства и тот, кого Петр Верховенский воображает в образе Ивана-царевича?

«Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин», — восклицает Петруша.

Три основных выражения подмечает маркиз на лице русского царя. Это суровость, торжественность и — когда надо расположить собеседника — восхитительная любезность. Причем каждое из этих выражений исчезает внезапно, не оставляя после себя никаких следов. «На моих глазах без всякой подготовки происходит смена декораций; кажется, будто самодержец надевает маску, которую в любое мгновение может снять... император всегда играет роль, причем играет с великим мастерством».

Ты был не царь, а лицедей.

Пушкин, настойчиво рекомендовавший государю везде и во всем быть подобным великому пращуру, очевидно, полагал, что сам играемый «текст» окажется могущественное воздействие на характер и дух самодержца. И что «милость к падшим» будет наконец излита.

Нет! Он с подданными мирится;
 Виноватому вину
 Отпуская, веселится;
 Кружку пенит с ним одну;
 И в чело его целует,
 Светел сердцем и лицом;
 И прощенье торжествует,
 Как победу над врагом.

Николай тоже порой целует своих недоброжелателей. Однако это вовсе не означает, что он простил их.

В 1826 году, в Москве, к нему доставляют студента Московского университета Александра Полежаева. В присутствии министра народного просвещения А. С. Шишкова (дабы продемонстрировать адмиралу, чему научаются в подведомственных ему заведениях молодые люди) доставленному было велено прочитать вслух его поэму «Сашка».

«— Что скажете? — спросил Николай Павлович по окончании чтения. — Я положу предел этому разврату, это все еще следы... последние остатки... Я их искореню!»

Благо, что Пушкину не было велено при первом свидании с государем прочитать вслух еще не известную царю «Гавриилиаду»: судьба поэта могла бы сложиться по-иному. Полежаев был отдан в солдаты и погиб. Но перед тем ему было сказано: «Я тебе даю военной службой средство очиститься. От тебя зависит твоя судьба». После чего государь, «поцеловав его в лоб, отпустил».

Петр целует подданного в уста; Николай — в лоб: казалось бы, невелика разница. Но в первом случае царский поцелуй означает прощение и примирение; во втором — это холодный сценический жест, лишь подчеркивающий тяжесть царской немилости. (Заметим в скобках, что Христос в поэме Ивана Карамазова целует великого инквизитора в уста: поступок довольно загадочный. Алешу

Карамазова, повторившего это действие в отношении самого брата Ивана, тот обвиняет в литературном воровстве. Означает ли поцелуй Христа, что Он *прощает* великого инквизитора? Или по меньшей мере понимает его мотивы?)

Между тем император Николай помнит о зрителях. И как всякий знающий себе цену актер, он решается на рискованные импровизации.

«И хладно руку жмет чуме...»

В июне 1831 года в Петербурге открылась холера. Вскоре она приняла угрожающие размеры. Поползли слухи об отравлениях: обвиняли, как водится, иностранцев и лекарей. 22 июня на Сенной площади (противоположной по своему статусу Сенатской, что лишь подчеркивается созвучием первых слогов) чернь, «возбужденная толками и подозрениями», разгромила временную больницу, избивала до полусмерти больничную прислугу и умертвила нескольких врачей. Заодно были выброшены на улицу и холерные больные. Батальон Семеновского полка, пришед на площадь с барабанным боем, рассеял толпу. Были двинуты и преображенцы, которые, впрочем, не видя государя, стали роптать. Но, как пишет в дневнике князь Меншиков, «магическое для русских слово все переменяло». Солдатам было сказано, что «поляки подбивают народ, и мигом преображенцы зарядили ружья». (Таким образом, одни и те же аргументы оказались пригодны как в смысле возжигания страстей, так и для их утишения.) Русский бунт, «бессмысленный и беспощадный», захлебнулся, едва возникнув. Однако на следующий день толпа на Сенной (до пяти тысяч человек) собралась вновь.

26 июня 1831 года Пушкин, проводящий с юной женой медовое лето в Царском Селе, пишет в Москву — П. В. Нащокину: «На днях на Сенной был бунт... собралось православного народу тысяч шесть, отперли больницы, кой-кого (сказывают) убили, государь сам явился на месте бунта и усмирил его. Дело обошлось без пушек, дай бог, чтоб и без кнута. Тяжелые времена, Павел Воинович».

«Обошлось без пушек», — говорит автор «Полтавы». Он помнит о 14 декабря.

Некоторая отдаленность от Петербурга заставляет Пушкина довольствоваться слухами. Но он в общих чертах верно передает суть дела.

23 июня 1831 года государь в коляске прибыл на место событий. Встав во весь рост, он обратился к толпе:

«— Вчера учинены были злодейства, общий порядок был нарушен. Стыдно народу русскому, забыв веру отцов своих, подражать буйству французов и поляков (прямая отсылка к недавним мировым потрясениям — Французской революции 1830 года и польскому восстанию, о которых народ был в общих чертах, по-видимому, осведомлен. — **И. В.**), они вас подучают, ловите их, представляйте подозрительных начальству, но здесь учинено злодейство, здесь прогневили мы Бога, обратимся к церкви, на колени, и просите у Всемогущего прощения!»¹⁸.

При всей эмоциональности царской речи в ней сокрыт точный расчет. Во-первых, само появление государя, предваренное вчерашним движением войск, должно было произвести сильное впечатление на собравшихся. (К тому же государь только что потерял умершего от холеры брата — великого князя Константина Павловича.) Во-вторых, император тонко обыграл *международную ситуацию*

¹⁸ Согласно документам III Отделения, государь изъяснялся так: «Что вы вчера наделали? (Выражаясь с большим гневом.) Вы меня перед всем светом осрамили! Что вы — французы или поляки! (Все громче.) Вы лекаря убили; русский ли это делает? ...Чтоб мне этого более не было! Буду наказывать! Не боюсь никого, сошлю туда, туда!» Обращаясь к толпе, царь как бы подразумевает ее коллективную вину, влекущую коллективную же ответственность. Возможно, это отголоски древнего русского правосознания, согласно которому за мертвое тело, найденное на территории общины, отвечала вся вервь.

цию, воззвав к патриотическим чувствам и указав на тех, кого народ и без того был склонен винить во всех смертных грехах. И в-третьих, у оратора хватило такта призвать публику пасть на колени не перед ним лично, а перед самим Всевышним, кого и следует, собственно, в первую очередь молить о снисхождении¹⁹.

Эта сцена глубоко поразила современников: помимо присущего его сану величия, государь явил еще завидное бесстрашие. Правда, мало кто ведал о посещении Николаем Павловичем — перед тем, как он отправился на Сенную — батальона преображенцев, которые громкими криками «ура» изъявили готовность исполнить свой долг. Как далеко находились эти войска в момент произнесения императорской речи?

Император именуется собравшихся «дети»: он выбирает единственно верный тон. С одной стороны, это напоминание о своей царской (то есть отеческой!) роли. С другой — указание на неразумность толпы, на ее, так сказать, социальный инфантилизм.

Впрочем, через много лет герценовский «Колокол» придаст случившемуся несколько иную речевую окраску: «Тут высказался весь Николай, неподдельно, наивно, натурально... «Что вы это делаете, дураки? С чего вы взяли, что вас отравляют? Это кара Божия. На колени, глупцы! Молитесь Богу! Я вас!»

Действительно, то, что происходило на площади, не вполне соответствовало официальной идиллии. Князь Меншиков, ставший свидетелем происшествия, говорит: «В это время несколько человек возвысили голос. Государь воскликнул к народу:

— До кого вы добираетесь, кого вы хотите, меня ли? Я никого не боюсь, вот я (показывает на свою грудь)».

Словно Наполеон, покинувший Эльбу и распахивающий сюртук под дулами королевских солдат («стреляйте в своего императора!»), Николай подставляет грудь закипающей стихии народного мятежа. Что, в общем, производит вполне предсказуемый эффект.

«Народ в восторге и слезах кричал «ура». После сего государь поцеловал одного старика и воротился на Елагин и в Петергоф».

И снова поцелуй: надо полагать — в лоб. Это, по всей видимости, должно было означать, что, хотя государь и недоволен своим народом, он не лишает его шанса стать совершенной. Он обращается к нему попеременно — то грозным, то милостивым ликом.

Николай сам творит миф о всеильном и справедливом царе, чей суд непогрешим и бесспорен. Эту теорию он пытается утвердить личным примером. Он — последний русский самодержец, который осмеливается *являться*: не в том, разумеется, смысле, как чаемый Петром Верховенским царственный самозванец, но тоже, как сказочный персонаж, по слову которого прекращаются гражданские распри²⁰.

Достоевский был неплохо осведомлен о царских подвигах на Сенной.

В романе «Бесы» есть сцена: впавший в легкое умственное расстройство губернатор Лембеке пытается усмирить толпу «бунтовщиков».

«— Шапки долой! — проговорил он едва слышно и задыхаясь. — На колени! — взвизгнул он неожиданно, неожиданно для самого себя, и вот в этой неожиданности и заключалась, может быть, вся последовавшая развязка дела».

¹⁹ Согласно одному из источников, государь выразился так: «*За мною* (подчеркнуто нами.— **И. В.**) на колени, просите у Бога прощения». То есть первым на колени опустился сам Николай Павлович.

²⁰ Это именно мифологический (или, если угодно, фольклорный) образ действия, совершенно немислимый в новейшие времена. В начале XX века царская власть уже не воспринимается народным сознанием как безусловно сакральная. Невозможно представить, скажем, Николая II, появление которого умирительно подействовало бы на защитников баррикад 1905 года. С другой стороны, участники шествия 9 января в Петербурге внутренне были ориентированы именно на мифологическое разрешение ситуации.

В сбивчивой речи губернатора Лембке пародийно контаминированы два приключения с императором Николаем: 14 декабря 1825-го и 23 июня 1831-го. От более искушенных читателей «Бесов» вряд ли мог укрыться этот прозрачный намек.

«Бунт», равно как и его «подавление», все больше обретает характер непристойного фарса, который достигает кульминации в начальственном губернаторском крике «Розог!». Засим следует сообщение Хроникера (впрочем, тут же им и опровергаемое), что в суматохе была по ошибке высечена «проходившая мимо бедная, но благородная дама». (Вспомним: «Дело обошлось без пушек, дай бог, чтоб и без кнута».)

Губернатор Лембке — конечно, не государь Николай Павлович. Но от великого до смешного — один шаг. В романном пространстве Достоевского это расстояние еще короче.

Меж тем происшествие с императором на Сенной — не единственный случай мифопоэтического порядка.

29 сентября 1830 года Николай явится в пораженную холерой Москву. Пушкин, отрезанный карантинами от внешнего мира, сидит в Болдине: его снедает тревога по оставшейся в первопрестольной невесте. Позже в «Телескопе» будет напечатано его стихотворение «Герой». Автор поставит под ним не реальную дату написания, а число, когда император въехал в уstraшенный бедствием город.

В стихотворении (написанном в форме диалога «поэта» и «друга») речь идет о Наполеоне, в 1799 году посещающем чумной госпиталь в Яффе.

Не бранной смертью окружен,
Нахмуясь ходит меж одрами
И хладно руку жмет чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость...

Так говорит *поэт*. Друг возражает ему в том смысле, что, если верить историкам, генерал Бонапарт не прикасался к зачумленным. На это поэт отвечает:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...

Пушкин выражается аллегорически. Сопоставление двух героев — Наполеона и Николая, конечно, не может не льстить самолюбию самодержца. Но и последние строчки стихотворения тоже адресованы ему. Это все та же неизбывная для Пушкина тема: о милости к падшим.

«Я был в восхищении от героической решимости моего царя...» — говорит о визите в Москву Бенкендорф, как всегда, призванный для соуправления государю. «Мы знаем, что ты будешь; где беда, там и ты!» — такими криками (не лишенными, правда, оттенка двусмысленности) встретил народ своего царя, когда он у Иверских ворот изволил приложиться к иконе (чья святость как бы отвергала угрозу случайной заразы).

Меж тем холера усиливалась. Заболел и умер в несколько часов лакей, находившийся при собственной комнате государя; умерла одна из женщин, служивших во дворце. 5 октября за обедом царь вдруг почувствовал приступ дурноты «и принужден был выйти из-за стола». Обедавших посетил ужас. И хотя вернувшийся от императора доктор передал приказание продолжать трапезу, никто не притронулся к еде. «Вскоре затем,— говорит Бенкендорф,—показался в дверях сам государь, чтобы нас успокоить; однако его тошнило, трясла лихорадка, и открылись все первые симптомы болезни. К счастью, сильная испарина и данные вовремя лекарства скоро ему пособили, и не далее, как на другой день, все наше беспокойство миновало».

Его царствование продлится еще двадцать пять лет.

Преступный город

...В 1848 году, словно соперничая с западной революционной заразой, холера вновь посещает Россию. Хотя повальной эпидемии нет, смертность остается довольно высокой.

В это лето братья Федор и Михаил Достоевские нанимают дачу в Парголове и, как замечает их младший брат, Андрей Михайлович, проживают там «не в таком страхе от холеры, как мы в Петербурге». Старшие братья усиленно рекомендуют младшему бросить «зачумленный город» и явиться к ним в Парголово. Но, когда Андрей Михайлович решается наконец последовать их братскому призыву, он застаёт в Парголове первого заболевшего. «С больным случился припадок на улице, и брат Федор сейчас же кинулся к больному, чтобы дать ему лекарства, а потом и растирал, когда с ним сделались корчи».

Брат Федор выказывает мужество, пожалуй, не меньшее, чем в свое время император Николай. Или, скажем, Наполеон Бонапарт. Впрочем, никаких поэтических откликов на это событие не последовало.

В следующем, 1849-м, холера продолжает свое губительное дело. Достоевский и его товарищи ограждены от болезни стенами Петропавловской крепости. Очевидно, это не худшее место в городе, ибо никто из узников не заболевает и не умрет.

Нынешнее бедствие не подведет к таким катаклизмам, как в 1831 году. Тогда, помимо волнений на Сенной, грянет еще беда: восстанут старорусские военные поселения. (Сценарий известен: холера, слухи об отравлении, убийства офицеров и врачей — все то, что в недавние времена иные историки глубокомысленно трактовали как досадные, но неизбежные издержки *освободительной борьбы*.) Император Николай Павлович вновь оказывается на высоте. Он, говорит Бенкендорф, «хотел сам все лично видеть, и потушить в его начале бунт, угрожавший самыми опасными последствиями. Он отправился в поселения совершенно один, оставив императрицу в последнем периоде ее беременности и в смертельном беспокойстве по случаю этой отважной поездки. Постоянный раб своих царственных обязанностей, государь исполнял то, что считал своим долгом; ничто, лично до него относившееся, не в силах было остановить его».

Правда, отправиться в поселения было решено после того, как сами бунтовщики прислали в Петербург депутацию — с нижайшей просьбой разобраться в том, что ими содеяно. Царь отозвался немедля: «в грозе и буре» он предстал перед обогранными кровью батальонами. «Лиц ему не было видно, — говорит Бенкендорф, — все преступники лежали распростертыми на земле, ожидая безмолвно и трепетно его монаршего суда». Государь приказал вывести из рядов зачинщиков и немедленно предать их в руки военных властей. Что касается Старой Руссы, то на просьбу жителей о помиловании государь, «наиболее против них раздраженный», отозвался, что ноги его не будет в преступном городе и что ими займется военный суд.

Через четыре с лишним десятилетия в «преступном городе» поселится автор «Записок из Мертвого дома», сам некогда подсудимый военного суда. Здесь преимущественно будут написаны «Братья Карамазовы». Здесь также будет сочинена Пушкинская речь.

«Нам покамест не до смеха: ты верно слышал о возмущениях новгородских и Старой Руси, — пишет Пушкин П. А. Вяземскому 3 августа 1831 года. — Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезано в Новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасиловали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, да-

же дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт Старо-Русский еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четвертили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников.— Плохо, ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы».

Через пять лет будет написана «Капитанская дочка».

Незадолго до смерти Достоевский скажет А. С. Суворину: «...Вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи».

Скорее всего он имеет в виду убийство отца, хотя лично и не был свидетелем убийства. «Ужасы» сохранены его семейным сознанием — и трудно поверить, что на «пятнице» Петрашевского, где речь ведется об освобождении крестьян, он склоняется к крайнему варианту: «А хотя бы и через восстание!»

«Это бунт»,— молвит брат Алеша брату Ивану по поводу только что выслушанной поэмы. О великом инквизиторе и Христе братья беседуют в «карамазовском» городе Скотопригоньевске: известно, что Старая Русса — его «прототип».

Гений места тоже влияет на текст.

«Явилась условная честь»

Как было замечено, в романах Достоевского практически нет упоминаний императора Николая. Крайне редко встречается это имя и в его записных тетрадях. Правда, однажды ему представился случай высказаться публично.

25 мая 1880 года в Москве в ожидании пушкинских торжеств (открытие памятника поэту откладывалось из-за кончины императрицы) автора еще не законченных «Карамазовых» чествовали в ресторане «Эрмитаж». Это был первый (и, очевидно, последний) обед, нарочито устроенный в его честь. Присутствовала московская профессура — преимущественно либерального толка. Произносились лестные для гостя из Петербурга тосты. В ответном слове (которое, к сожалению, до нас не дошло) он, по некоторым сведениям, позволил себе процитировать слова императора Николая о Пушкине — как об умнейшем человеке России. «Сказано это было,— говорит современник,— очевидно, чтобы раздражить большинство присутствующих и насладиться их беспомощностью — невозможностью ответить на этот вызов».

Конечно, в 1880 году имя монарха, царствование которого не отличалось свободой духа, звучит несколько одиозно для «интеллигентской среды». (Портрет Николая — что многим не могло не броситься в глаза — отсутствует на пушкинских торжествах.) Однако вряд ли Достоевский сознательно совершил ту общественную бестактность, которую пытаются ему приписать. Он отдает кесарю кесарево. Его отношение к человеку, столь необычным образом почтившему в нем «молодость и талант», тоже весьма необычно.

— Какое, однако, несправедливое дело было эта ваша ссылка,— заметит Достоевскому один из его старых приятелей.

— Нет,— возразит бывший каторжанин,— нет, справедливое. Нас бы осудил русский народ.— И добавит: — Может быть, «Самому Высшему» нужно было провести его через эти испытания.

Однажды (пишет И. С. Аксаков), проезжая через Москву, Достоевский «зашел к нам и с увлечением разговорился о покойном государе Николае Павловиче». Во время беседы Аксакова посетил известный английский путешественник Уоллес Мэкензи, хорошо знающий русский язык и знакомый с русской литературой. Убедившись, что перед ним Достоевский, Мэкензи «загорелся любопытством и с жадностью стал слушать прерванную было и снова возобновившуюся речь Федора Михайловича о Николае Павловиче». Достоевский вскоре уехал. «Вы говорите, что это Достоевский? — спросил нас англичанин.— Да.— Автор

«Мертвого дома»? — Именно он. — Не может быть. Ведь он был сослан на каторгу? — Был. Ну, что же? — Да как же он может хвалить человека, сославшего его на каторгу? — Вам, иностранцам, это трудно понять, — отвечали мы, — а нам это понятно, как черта вполне национальная».

Нам уже приходилось комментировать этот текст: «И. С. Аксаков ответил заморскому гостю как истинный славянофил. Думается, однако, что в данном случае для Достоевского была важна не столько славянофильская трактовка взаимоотношений русского государя с его подданными, сколько то обстоятельство, что император выступил в качестве «орудия провидения»: исполнив, так сказать, волю рока, замысел самой судьбы».

Его занимает характер прошедшего царствования. И характер самого императора Николая. В набросках к «Дневнику писателя» за 1876 год замечено: «Меж тем с исчезновением декабрист<ов> исчез как бы чистый элемент дворянства. Остался цинизм: нет, дескать, честно-то, видно, не проживешь. Явилась условная честь (Ростовцев) — явились поэты. <...> И, однако же, личность Николая».

Достоевский толкует об изменении морального климата, о некоторой нравственной деградации дворянства после «исчезновения» декабристов. Что означает в этом контексте «условная честь», для иллюстрации коей вдруг вспомнят Ростовцев? Разумеется ли здесь «условный донос», с которым накануне 14 декабря будущий генерал-адъютант поспешил явиться к будущему царю? «Благородный предатель» надеялся подобным манером сохранить честь: вряд ли он согласился бы трактовать ее как условную²¹.

Но, возможно, Достоевский имеет в виду и другое. А именно — сделанное ему Ростовцевым предложение: об этом уже говорилось выше. Купить себе свободу ценой выдачи других — разумеется, в рассуждении высшей государственной пользы — все это соответствует формуле, которую употребил Достоевский. Но если предложение исходило от самого государя, распространяема ли «условная честь» также и на него?

«Явились поэты», — продолжает Достоевский. Сказано иронично. Не имеется ли в виду: поэту условной чести? Кстати, Яков Иванович Ростовцев в молодости был не чужд стихотворства. И даже едва не сподобился напечатать свою элегию с характерным названием «Тоска души» в так и не вышедшей «Звездочке» — «малой версии» рылеевской «Полярной звезды».

Итак, после «изъятия» декабристов возобладал цинизм: вот сухой остаток николаевского царствования.

Между тем сам Николай был весьма щепетилен в вопросах чести. Недаром после слов о цинизме у Достоевского следует фраза: «И, однако же, личность Николая...» То есть, по-видимому, надо понимать так: характер императора не вполне отвечает требованиям момента. Приуготовив почву для торжества бесчестья (или, если угодно, условной чести), сам Николай вовсе не является воплощением морального зла. Очевидно, Достоевский все же отличает государя от того мертвящего фона, который не в последнюю очередь возник благодаря его державным усилиям. И полагает, что, пестуя ту политическую систему, законными плодами которой стало отсутствие чести и всеобщий цинизм, сам император не был ни циником, ни человеком бесчестным.

Таков один из парадоксов николаевского царствования. Задавлены малейшие признаки вольномыслия; похерены упования на возможность введения в России хотя бы самых умеренных политических свобод; установлено завидное единообразие всех форм государственной жизни. Подчинив все и вся своей лич-

²¹ История с Ростовцевым напоминает воображаемый эпизод, который сконструировал Достоевский в разговоре с А. С. Сувориным в 1880 году: знаменитая «сцена у магазина Дациаро». К этому мы еще вернемся.

ной воле, Николай на первый взгляд сумел добиться *стабилизации*. Или, как сказал бы К. Леонтьев, «подморозить» Россию. Но чем неизбежнее казалось его скучное царство, чем глубже загонялись вовнутрь хронические недуги, тем интенсивнее шло разложение и накапливался тот самый «потенциал распада», который явит себя при Александре II. «Личность Николая» — с его рыцарственностью, прямоотой, культом закона и подчеркнутым благородством «античного профиля» была парадной ширмой для творившихся в стране беззаконий. В «империи фасадов» он сам был главным из них. Играя (и довольно успешно) роль всеведущего монарха, «замыкая» на себя все события жизни (от объявления войны до увольнения последнего прапорщика), император сам как бы оставался во вне: он был эмблемой, символом, знаком. Изъяв из общества «чистый элемент», он взял на себя функции единственного блюстителя чести, которая вдруг стала условной. И нужен был дуэльный выстрел на Черной речке или, положим, отказ автора «Двойника» *от сотрудничества*, чтобы отстоять ее безусловный смысл.

Глава 17. СИЛЬНЫЙ БАРИН

Благородный Сен-Мар

И еще одна черта поражает в императоре Николае. Восхищаясь его «великолепным челом», в котором «есть что-то от Аполлона и от Юпитера», французский путешественник без конца повторяет одно и то же определение: «неподвижное». Он говорит, что подобный облик приличен более статуе, нежели человеку.

Статуарность и, можно сказать, даже некоторая *механистичность* свойственна и Николаю Ставрогину. Ледяной автоматизм его образа действий («поступок с отроковицей»!), его *преувеличенное* спокойствие и т. д. и т. п. — все это выдает не только огромную силу воли (направленную преимущественно на самозащиту и самоконтроль), но и свидетельствует еще о чем-то — темном, потаенном, зловещем.

В Ставрогине есть что-то от автомата, механической куклы, гомункулуса. Его суть все время ускользает от внешнего наблюдателя.

Астольф де Кюстин убежден, что отсутствие в России свободы «отражается даже на лице ее повелителя; у него есть несколько масок, но нет лица». Иными словами, лицо императора есть функция и фикция одновременно. Оно не похоже на сокровенный человеческий лик. Но что есть собственное лицо Ставрогина, как не онтологическое зияние, которое в конце концов сливается с родственной ему инфернальной пустотой?

Дожди размочили дороги.
Друзья упустили момент.
Повесился Коля Ставрогин —
Чистейшей воды декадент.

Но, кстати. Именно потому, что в императоре Николае нет ничего «декадентского», трудно поверить в версию его добровольного ухода из жизни. Это означало бы кардинальную смену амплуа. И хотя идея «благородного самоубийства» (якобы вызванного неудачами Крымской кампании) хорошо вписывается в мифологему императора-рыцаря, лично отвечающего за все и вся, Николай не мог позволить себе этот мелодраматический жест. Будучи человеком долга и христианином, он умер скорее всего естественной смертью, перед концом пошутив с докторами: «Скоро ли вы дадите мне *отставку?*» (Шутка, надо признать, совершенно в императорском стиле.)

Естественным образом окончил свои дни и «физический прототип» Ставрогина — Николай Александрович Спешнев, поименованный в некрологе как «товарищ по ссылке Ф. М. Достоевского». Он пережил своего поделщика на один год.

Исполняя свою многотрудную роль, император Николай ориентируется отчасти на античные, отчасти на средневековые («царь-рыцарь»), отчасти на отечественные (Петр Великий) образцы. Что можно сказать в этом смысле о «другом» прототипе Ставрогина — о Николае Александровиче Спешневе? Не было ли, в свою очередь, у этого реального исторического лица каких-либо *литературных двойников*?

Это отнюдь не праздный вопрос.

22 октября 1838 года семнадцатилетний лицеист Николенька Спешнев пишет отцу письмо. Царскосельский корреспондент извещает родителя, что за пять лет разлуки ум его развился, появилось чувство, обнаружилась воля. И что, положив руку на сердце, он может сказать о себе: «Я хороший человек».

Он изъясняет отцу свое положение. Он ощущает свою непохожесть на сверстников и товарищей по Лицею. Он спрашивает, должен ли он винить себя, если природа, может быть, дала ему больше умственных способностей, чем другим, дала более характера и такие природные свойства, «что я невольно имею влияние на тех, с кем обхожусь». Поэтому у него достало сил прекратить внутришкольные раздоры; при этом он «заставил всех любить себя», после чего, естественно, сделался «главою класса». Одновременно он упирает на то, что он — меланхолик: «Мои чувства и страсти горят внутри и ничего не видно снаружи».

Тут важна не только высокая самооценка (или, если угодно, высокое самомнение, хотя и несколько наивного толка); замечательно то, что автор письма смотрит на себя как бы со стороны, холодно рассуждая о своих горячих страстях и о степени своего воздействия на других. Он чувствует себя *лидером* — и не отказывается от сопряженных с этим забот. Надо полагать, что через десять лет — к моменту встречи с Достоевским — указанные черты достигнут полного совершенства.

Но интересно другое. Толкуя о лицейском начальстве, Спешнев упоминает инспектора, «который у нас второй Ришелье». И ниже, говоря о потенциальной угрозе распечатывания своих писем к отцу, вновь касается «нашего Ришелье» («de notre Richelieu»).

Герцог Арман-Жан дю Плесси Ришелье — фигура в России достаточно популярная. В годы юности Достоевского и Спешнева одним из главных литературных источников сведений о «черном кардинале» был знаменитый роман Альфреда де Виньи «Сен-Мар, или Заговор во времена Людовика XIII». Впервые книга вышла во Франции в 1826 году.

Можно сказать, что роман А. де Виньи стал в известном смысле «учебником жизни» — в первую очередь для тех, кто имел смелость вообразить себя борцом с тиранией. Аристократ, «идуший в демократию» — вернее, отдающий себя на заклятие во имя справедливого дела, благородный заговорщик граф Сен-Мар должен был покорить многие молодые сердца. И это несмотря на то (а может быть, как раз потому), что литературные достоинства произведения были невелики. «...Перейдем к чопорному, манерному графу Виньи и его облизанному роману», — говорит Пушкин, приводя обширные цитаты из русского, 1835 года, издания в переводе г-на Очкина²².

Более чем вероятно, что Спешнев читал «облизанный» (то есть, надо понимать, расхваленный публикой) роман в переводе или оригинале. Во всяком случае, стиль его поведения очень схож с тем, как держит себя романтический герой А. де Виньи.

Вот Сен-Мар глазами постороннего наблюдателя: «...Незнакомый молодой человек, сидевший с *меланхолическим* видом, облокотившись на столик <...> он

²² Эта пушкинская статья О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая» была напечатана в первой книге «Современника» за 1837 год, уже после смерти поэта.

равнодушно смотрел на окружающих и, казалось, не видел их и никого не знал» (подчеркнуто нами. — И. В.).

Теперь обратимся к тому, кто был справедливо назван «роскошным букетом из мужской красоты». Спешнев, как известно, носил длинные волосы («темно-русые кудри падали волнами на его плечи»). Не имеет ли эта прическа такое же литературное происхождение, как и многое другое? «Сен-Мар взял в руки большой пистолет и сурово посмотрел на его чадающий фитиль. Длинные волосы падали на его лицо, подобно гриве молодого льва».

Впрочем, «кудри черные до плеч» — вообще знак принадлежности к известному духовному типу.

«Его наружность и постоянное безмолвие, — показывает о Спешневе Черносвитов, — поразили меня». То же говорит на следствии и Момбелли. Спешнев, по его наблюдениям, «держал себя как-то таинственно, никогда не высказывал своих мнений», преимущественно заставлял говорить других, сам же «только слушал». В своем доме он был неизменно внимателен к гостям, но, добавляет Момбелли, «всегда холоден, ненарушимо спокоен, наружность его никогда не изменяла выражения».

Помня письмо Спешнева-лицеиста к отцу, можно ли сомневаться в «выделанности» образа Спешнева-петрашевца, в «спроектированной», тщательно продуманной манере его поведения, которая вырабатывается долгим упражнением и привычкой. Другое дело, что маска уже приросла к лицу.

«Слизанный роман», — мог бы заметить по этому поводу Пушкин.

«Вошел довольно статный юноша, он был бледен, волосы у него были темные, глаза черные, он казался грустным и рассеянным». Это Сен-Мар: так сказать, типовой портрет романтического героя на все времена.

Говорит герой, как водится, с холодной, любезной улыбкой; выражение лица его, конечно, «холодное и непреклонное», и ничто в нем, разумеется, не свидетельствует «о малейшем усилии над собой».

Если бы Спешневу был необходим образец для подражания (*литературный* образец), то лучшего пособия, нежели роман де Виньи, он бы не нашел. В этой хрестоматии общеромантических штампов наличествуют рецепты на каждый день. У Спешнева была возможность *самосочиняться* при помощи готовых стереотипов: в этом он схож с императором Николаем.

Называя Спешнева своим Мефистофелем, Достоевский делает акцент именно на литературной составляющей образа петербургского Сен-Мара. Да сама формула «этот барин чересчур силен» довольно двусмысленна: в ней сквозит некоторая ирония — правда, не без оттенка почтительности. Этот оттенок сохранится у автора «Мертвого дома» и позже. В 1854 году, в первом же послекаторжном письме, Достоевский сообщает брату последние сведения о Спешневе, который, будучи в Иркутской губернии, приобрел там «всеобщую любовь и уважение»²³. «Чудная судьба этого человека, — продолжает автор письма. — Где и как он ни явится, люди самые непосредственные, самые непробиваемые окружают его тотчас же благоговением и уважением». Здесь, конечно, сказываются и собственные впечатления автора. Хотя вряд ли Достоевский относит себя к числу людей «самых непосредственных и непробиваемых».

М. А. Бакунин, знавший «Мефистофеля» по Сибири, пишет Герцену: «Спешнев очень эффектен — он особенно хорошо облекается мантией много-

²³ Не совсем ясно, откуда Достоевский почерпнул эти сведения. Ведь в момент написания письма (22 февраля 1854 года) Спешнев еще не вышел на поселение: он продолжает тянуть десятилетнюю каторгу на Александровском заводе Нерчинского округа. Можно предположить, что здесь сработал сыльно-каторжный «сибирский телеграф», поддерживающий связь между «мрачными пропастями земли». И то, о чем говорит Достоевский, имеет касательство к положению Спешнева именно на каторге.

думной, спокойной непроницаемости». То есть у Бакунина не вызывает сомнений театральное происхождение спешневской манеры «подавать себя».

Спешнев выдерживает свою роль с не меньшим искусством, чем император Николай Павлович — свою.

Если даже вы в это выгались,
Ваша правда, так надо играть.

Итак, на одном социальном полюсе — царь-лицедей; на другом — лицедей-заговорщик: пьеса меж тем идет своим чередом.

Снова к вопросу о содомитах

Спешнев не изменяет себе даже на эшафоте. Но поразительно, что знаменитая сцена между ним и Достоевским, случившаяся на Семеновском плацу, как бы уже предвосхищена в романе графа А. де Виньи.

«Смерть никогда меня не страшила,— спокойно молвил Сен-Мар». Схваченный врагами, он идет на казнь, «печально улыбаясь». Его друг, благородный де Ту, заявляет ему, что они сейчас ступят «на путь славы небесной». «Увы, я открыл вам путь к бездне,— отвечивал Сен-Мар».

«Мы будем вместе с Христом»,— «восторженно» говорит Достоевский. «Горстью праха»,— отзывается Спешнев.

Конечно, Сен-Мар — лишь один из плеяды подобных ему персонажей. (В позднейшие времена «Овод» Л. Войнич производил на читателей не меньшее впечатление.) Он — матрица, с которой романтическое сознание множит свои отпечатки.

Но тут «бог странных сближений» подбрасывает нам еще один — довольно пикантный — сюжет. Оказывается, юный маркиз де Сен-Мар (он погиб в 1642 году в возрасте двадцати двух лет) был не столько борцом с тиранией, каковым он и сохранился в пылкой читательской памяти, сколько истым служителем Содома. Как явствует из французских источников (см., в частности, историю Анри д'Эффия), Сен-Мар пользовался особым расположением Людовика XIII в качестве его избранного «миньона» (то есть фаворита, любовника). Увы, король изменял своей законной жене, Анне Австрийской, не с одними лишь дамами. Мушкетерский полк (о чем, щадя стыдливость читателей, умалчивает Александр Дюма) угождал своему королю не только на поле брани. Как выражается Вольтер:

Иным монархам служат гренадеры
И в деле Марса, и в делах Венеры.

За четыре года своего фавора красавец маркиз оттеснил от стареющего короля всех конкурентов и приобрел над ним неслыханную власть, сравнимую только с властью Ришелье. Поэтому заговор Сен-Мара был направлен вовсе не против тиранов. Это была схватка двух соперничающих временщиков.

«...Отзыв Людовика XIII о своем фаворите,— сказано в одном издании прошлого (уже позапрошлого!) века, — напоминает жалобы старого *panashi* на мотовство своей содержанки. И самый этот Сен-Марс (так! — **И. В.**) попал в герои романа Альфреда де Виньи, романа, над которым наши отцы проливали слезы!»

Жаль, конечно, что наши доморощенные «ученики Фрейда» (равно как и специалисты по одолению демонов) оставили без внимания этот исторический факт. Он существенным образом подкрепил бы их любопытные изыскания. Действительно, что может быть натуральнее вожделения Достоевского к Спешневу, если «прототипом» последнего является неотразимый Сен-Мар?

Но как в таком случае быть со Ставрогиним? Ведь то, что мы знаем о реальном историческом Спешневе, все более отдаляет его от его романного двойника.

Да: Спешнев далеко не Ставрогин. Отталкиваясь от внешнего сходства, автор «Бесов» придумывает героя, действующего совершенно самостоятельно по отношению к реальной биографии своего условного прототипа, а порою — с точностью до наоборот.

В частности, наивны попытки отождествить личную жизнь Спешнева и Ставрогина. В свете любовной истории будущего руководителя типографской «семерки» все скандальные приключения Ставрогина — это скорее антироманы, интрига которых имеет совсем иной нравственный механизм.

Но посмотрим внимательнее.

Обманутые мужья и чужие жены

Весной 1840 года девятнадцатилетний (и недавно отчисленный из Лицея) Спешнев увозит чужую жену — Анну Феликсовну Савельеву (урожденную Цехановецкую), вернее — бежит вместе с ней: по сомнительным документам любовники поселяются в Гельсингфорсе. Затем беглецы (муж Савельевой пока не дает развода, требуя больших отступных) едут за границу. В 1844 году Анна Феликсовна умирает, успев родить Спешневу двух сыновей. Спешнев возвращается в Россию, чтобы устроить детей, а затем вновь уезжает. С декабря 1844 года по июль 1846-го он живет в основном в Дрездене (где через двадцать с лишним лет поселится Достоевский)²⁴. Из всех посетителей кружка Петрашевского Спешнев, как было сказано, наиболее состоятелен, если не выразиться — богат. (Имения в Курской губернии и собственный дом в Петербурге.) Он мог позволить себе не брать обратно «деньгами» данные в долг Достоевскому пятьсот рублей.

У автора «Белых ночей» была, очевидно, возможность узнать кое-какие подробности о страстном романе Спешнева. Слухи подобного рода всегда привлекают внимание — не только чувствительных дам, но и холостяков-мужчин. Увоз жены помещика-соседа, скитания по чужим краям, преследование любовников мужем, смерть возлюбленной, заботы об осиротевших детях — все это выглядит весьма впечатляюще. Во всяком случае, история Спешнева не менее занимательна, нежели любовные похождения Ставрогина.

Но увы: с последними она не имеет ничего общего.

Чем *славен* Ставрогин? Растрением Матрешы (и «режиссурой» ее самоубийства); соблазнением жены Шатова (впоследствии им брошенной); соблазнением Лизы Тушиной (понимающей, что Ставрогин ее не любит) и ее смертью; соблазнением Даши — со вполне эгоистической целью: иметь *сестру* (а точнее, сестру-сиделку при потенциальном душевнобольном); браком с юродивой Марией Лебядкиной (впоследствии убитой при попустительстве и во исполнении тайного желания мужа). Мы не говорим уже о подвигах менее монументальных: например, об устройстве свидания на квартире, нанятой Ставрогиным для любовных утех, дамы из приличного общества и ее горничной.

Ни одно из этих романских событий даже отдаленно не напоминает историю Спешнева. Существует, правда, не вполне внятное указание М. А. Бакунина, что Анна Феликсовна отравилась из ревности. Однако, согласно семейному преданию,

²⁴ На докладе недавно назначенного (вместо скончавшегося А. Х. Бенкендорфа) шефа жандармов А. Ф. Орлова относительно выезда Спешнева и его приятеля В. А. Энгельсона за границу царь 1 ноября 1844 года наложил следующую резолюцию (орфография подлинника): «Можид и здесь в университете учиться, в их лета шататься по белому свету, вместо службы и стыдно, и недостойно благородного звания, за сим ехать могуд, ежели хотят». Любопытно, что здесь выражено, так сказать, только моральное осуждение предполагаемого отъезда. «Все дело было в том, — писал Спешнев матери, — что нам нету 25 лет и что мы не служим». Никакого положительного запрета в резолюции не содержится. Тем не менее, устранный императорским выговором (согласимся, более мягким, нежели памятное «Какой дурак это чертил?»), Энгельсон изъявил графу А. Ф. Орлову свое желание поступить на службу. Что касается Спешнева, ему удалось убедить начальника III Отделения, что поездка необходима ему для излечения глазной болезни.

все было как раз наоборот: у постели умирающей происходит обряд венчания. То есть похититель чужой жены благородно исполняет свой нравственный долг.

Тем интересней вопрос: как должен был относиться к поступкам Спешнева Достоевский, если, конечно, он был об этих поступках осведомлен?

С подобной ситуацией он сталкивался неоднократно. Например, он знал об увозе жены от нелюбимого мужа, совершенном Чоканом Валихановым. Или о романе с замужней женщиной другого его сибирского друга А. Е. Врангеля. Нет сведений, чтобы автор «Униженных и оскорбленных» осуждал эти адюльтеры.

Остановимся, однако, на самих «Униженных и оскорбленных». Ведь некоторые «архетипические» детали этого повествования отдаленно напоминают коллизию, которую пережил Спешнев.

Мать Нелли, жена князя Валковского, брошенная им, находит если не счастье, то хотя бы покой в любви юноши-немца («Феферкухена», как глумливо произносит его фамилию Маслобоев). Немец (судя по всему, «с душою прямо геттингенской») преданно заботится о своей возлюбленной. Однако он умирает раньше нее. Не Спешнев возвращается в Россию в лице своего возможного романного двойника, а мать Нелли, чужая жена. Она (как, по некоторым сведениям, и А. Ф. Савельева) умирает от чахотки.

Несмотря на всю разницу положений и лиц, спешневская история косвенно перекликается с сюжетом, изложенным в «Униженных и оскорбленных».

Если же иметь в виду ту версию продолжения «Братьев Карамазовых», которая предполагает внезапный роман Алеши с Грушенькой, тут, очевидно, тоже можно говорить об «увозе чужой жены» (независимо от того, будет ли Грушенька состоять в формальном браке с братом Дмитрием). Да и в треугольнике брат Дмитрий — Катерина Ивановна — брат Иван тоже присутствует «духовно» отдающаяся Ивану «чужая невеста».

Любовь к *чужой женщине* — мотив у Достоевского автобиографический. Вспомним его недолгое (и тайное!) увлечение А. Я. Панаевой, страсть к Марье Дмитриевне Исаевой, его первой жене, которая в момент их знакомства состояла в законном браке. Конечно, трудно вообразить Достоевского, «увозящим» ту же Авдотью Панаеву. (По сути, это сделал Некрасов — правда, без физического перемещения предмета в пространстве.) Но к такого рода порывам своих друзей автор «Униженных и оскорбленных» должен был относиться *с пониманием*.

Автор «Бесов» вряд ли мог почесть своего «Мефистофеля» чудовищем разврата. Напротив, поведение Спешнева (повторим: если, конечно, его интимная жизнь стала достоянием их кружка) могло казаться члену «семерки» образцом благородства.

Последнее, что он пишет перед арестом, как раз в период своего сближения со Спешневым, — «Неточка Незванова». Единственная вещь, сочиненная в крепости, — «Маленький герой». При всем различии этих текстов (где главными персонажами являются дети: девочка из бедной семьи, мальчик из богатой семьи) в них, по сути, варьируется один и тот же стереотип. А именно: главный герой (героиня) узнает, что обожаемое им существо (замужняя дама) неверна мужу. В обоих случаях дама и ее любовник добры, прекрасны, идеальны; муж — отвратителен, бездушен, жесток. Герой-ребенок (и там, и там) — восторженный обожатель героини, ее соперник, ярый ненавистник мужа-тирана.

Если бы мы имели честь принадлежать к числу «учеников Фрейда», мы непременно бы согласились, что помыслами Достоевского всецело владеет Спешнев: писатель прямо-таки одержим его лирическими проблемами. Он *бессознательно* вводит в свои литературные тексты мотивы, так или иначе перекликающиеся с душевными драмами его «демона».

И все же остережемся поддаваться этим невинным литературоведческим забавам. Иначе возникает опасность свести творческий процесс к той незатейливой процедуре, в которой, по словам одного литератора, и выражается ассо-

циативная связь: «Вижу — бутылка из-под кефира; думаю — бутылка из-под кефира». Полагаем все же, что указанный процесс протекал у автора «Бесов» в более усложненных формах.

И еще. Пытаясь объединить Спешнева и Ставрогина универсальным определением «демон», мы допускаем одну стилистическую погрешность.

Демоны, которых одолевают бесы

Для русского слуха 1840-х годов «демон» — это прежде всего литературная формула. Это пушкинский и лермонтовский герой — страдающий и отрицающий дух. («И ничего на целом свете благословить он не хотел.») Указанный «термин» не имеет у Достоевского сугубо отрицательной коннотации. «Нашими демонами» назовет он Лермонтова и Гоголя. «Были у нас и демоны, *настоящие* демоны (подчеркнуто нами.— **И. В.**); их было два, и как мы любили их, как до сих пор мы их любим и ценим!» Заметим, «настоящие демоны», а вовсе не их домашние подражатели — скажем, те же чиновники, которые «вдруг все начали корчить Мефистофелей, только что выйдут, бывало, из департамента». У «настоящих» демонов тоже могут иметься пародийные двойники.

Те, кто причисляет Ставрогина к весьма заслуженной в глазах Достоевского категории, поддаются аберрации, характерной для иноязычных переводчиков знаменитого романа. Практически на всех европейских языках «Бесы» звучит как «Демоны». Именно под таким названием роман известен на Западе да, пожалуй, и во всем мире. Однако все это не извиняет отечественных интерпретаторов, для которых язык Достоевского является родным. Ибо «демоны» и «бесы» имеют в русской литературной традиции неодинаковую семантическую окраску и неодинаковый эмоциональный подтекст. Одно дело «Печальный демон, дух изгнанья...», «Как демоны глухонемые...» и т. д., другое — «Закружились бесы разны, словно листья в ноябре...» или: «Бес под кобылу подлез...». Русский демон не идентичен русскому бесу: в них заключен разный иерархический (и, мы бы даже сказали, нравственный) смысл.

Названием «Бесы» обнимается в романе не только компания, предводительствуемая Петрушей Верховенским. Под эту формулу подпадает и состояние общей жизненной атмосферы, благоприятствующей наглому торжеству бесовства. С этой точки зрения Николай Ставрогин, при всем своем аристократизме и некотором отдалении от «основного состава», все же один из участников «мерзостной игры».

Едва ли не все его «странные» поступки носят скорее бесовский, нежели демонический характер. Даже сравнительно невинный случай с Гагановым, которого герой *буквально* проводит за нос, — это в чистом виде бесовский трюк, непристойная материализация метафоры. Так мелко демоны не шутят с людьми. Но зато так действуют бесы: это их почерк, их глумливый *стилек*²⁵.

При всем своем видимом демонизме сам Ставрогин нередко оказывается смешон. Недаром столь задевает его замечание Тихона, что он, Ставрогин, готовый предъявить людям свою, казалось бы, свертоткровенную исповедь, не выдержит «их смеху». Не выдерживает он, добавим, и авторской иронии. Ибо автор знает, чем изгоняются бесы.

Напротив, «природный» демон редко становится объектом насмешек. Скажем, в императоре Николае тоже можно усмотреть демонические черты. Хотя бы силу той мистической ауры, которой обладает верховная власть и которую император не без успеха поддерживает. (Для Пушкина, например, в его сложных отношениях со двором, Николай нередко был демоном искушающим.) Что же касается Спешнева, на его демонизме стоит остановиться особо.

²⁵ Другое дело, что породивший подобные образы художник сам обладает явным или тайным демоническим началом. В этом смысле к названным им Лермонтову и Гоголю автор «Бесов» мог бы добавить самого себя.

Достоевский не зря говорит, что у него с некоторых пор «есть свой Мефистофель».

Пятьсот рублей, даденные займы автору «Бедных людей», конечно, не равноценны вечной молодости, дарованной Мефистофелем Фаусту. Хотя и в том, и в другом случае *обратно* подарок не принимается. Но дело еще и в том, что взаимные отношения двух гетевских героев касаются вечности и несводимы к проблеме возвращения долга.

Во второй книжке «Отечественных записок» за 1845 год Иван Сергеевич Тургенев напечатал статью о новейшем русском переводе знаменитой трагедии. «Мы позволяем себе,— пишет будущий автор «Гамлета Щигровского уезда»,— заметить г. переводчику, что борьба демона с человеком годится только в оперы г. Скриба и комп.; что, допустив подобное толкование трагедии Гете, мы никогда не поймем, почему слова Мефистофеля возбуждают такое сочувствие в душе Фауста; изъяснять же это сочувствие одним магическим влиянием беса на человека (неслучайное в этом контексте вербальное понижение дьявола в чине.— **И. В.**) значит превращать великую трагедию в довольно пошлую мелодраму».

«Оперы г. Скриба...» Этой оперой — «Роберт Дьявол» Дж. Мейербера на либретто Скриба и Ж. Делароша — восхищается наивный мечтатель в «Белых ночах»: «шествие чертей», «серой пахнет». Трактую единоборство Достоевского с «демонами» исключительно как борьбу с *внешними искушениями*, мы склоняемся к мнению, которое вполне устроило бы поклонников оперного искусства, но вызвало резкое неприятие еще не знакомого с Достоевским молодого Тургенева.

«...Фауст,— продолжает автор статьи,— есть тот же Мефистофель, или, говоря точнее, Мефистофель есть отвлеченный, олицетворяющий элемент целого человека Фауста...» Тургенев настаивает на неразрывной связи двух персонажей вечной мировой драмы, на том, что оба они в трагедии Гете — проявление личности их творца, и что тоска Фауста так же близка Гете, «как и безжалостная насмешка, холодная ирония Мефистофеля».

Вспомним: Черт Ивана Карамазова — эманация собственного «подполья» Ивана. Мучитель уже заключен в том, кто мучается: «Это я (кричит Иван своему «черному человеку»), я сам говорю, а не ты!» Другая сторона тургеневской мысли — о демонической, мефистофельской подкладке творческого сознания — прямо перекликается с Достоевским: только на месте Гете у Достоевского — Лермонтов и Гоголь.

Пусть так: Спешнев — «Мефистофель» Достоевского; Достоевский «с ним и его». Но это не мелодраматическая борьба человека с чертом и еще меньше — с оперными (хотелось бы даже сказать — опереточными) искушениями. Спешнев в какой-то степени воплощение самого Достоевского, его тяги к тайне и риску²⁶, к справедливости и социальной утопии, его религиозных сомнений, его интеллектуального бунтарства. Единоборство со Спешневым — это единоборство с самим собой.

И еще одно тайное стремление властно толкает Достоевского к своему — теперь уже можно сказать — антиподу-двойнику. Это — «тоска самоубийства».

Литература как суицидный синдром

28 мая 1849 года Петрашевский пишет в своих показаниях: «Относительно г. Спешнева сказать имею, что на него имела, как кажется, большое влияние за несколько лет случившаяся смерть женщины, которую он любил страстно, по-

²⁶ Эта приверженность к таинственному в художественном плане выразится уже в «Двойнике» и «Хозяйке», да и в позднейших текстах момент онтологической неопределенности будет играть важную роль. Что касается риска, эта черта реализуется не только на «биографическом уровне» (участие в типографической затее, страсть к рулетке, история написания «Игрока» и т. д.), но и в момент принятия важнейших художественных решений. (Например, «безумная» версия продолжения «Братьев Карамазовых»: см. подробнее «Последний год Достоевского». С. 23—37.)

чему у него и остался некоторого рода *dépit de la vie*²⁷ и что самый проект, относящийся к составлению Русского тайного общества, есть одна из форм, придуманных им для самоубийства, — что весьма удовлетворяло его самолюбиею».

Отсюда можно вывести два заключения.

Во-первых, история Спешнева, как мы и предполагали, известна участникам кружка. И, во-вторых, самоубийство входит в их *жизненные расчеты*.

«Несчастный слепой самоубийца...» — так позднее назовет Достоевский Дмитрия Карамазова. Он мог бы приложить это определение к себе и своим друзьям.

Согласимся: «заговорщицкое поведение» автора «Белых ночей» в период его знакомства со Спешневым с логической точки зрения совершенно необъяснимо. Не желая сблизиться с «сильным барином» или зависеть от него, он занимает у Спешнева известную сумму. При этом как бы нарочито *документирует* их отношения, излагая просьбу письменно и формально. Он вступает в типографскую «семерку», хотя, как уже сказано, не может не понимать полную обреченность затеи. Ибо не существовало буквально ни одного шанса, что действующая в столице империи типография не будет раскрыта. (Это напоминает пушкинские вызовы на дуэль незадолго до смертельной развязки: отчаянная игра с опасностью, с Роком.) Не демоны искушают будущего автора «Бесов» — он сам искушает судьбу. Главное, что его мучит, — как жить, зачем жить и стоит ли жить вообще. Это не что иное, как подсознательное стремление к смерти²⁸. Или по меньшей мере — к перелому судьбы, к гибели и воскресению одновременно.

«Если зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».

Но зачем надобен ему такой катаклизм?

Жизнь его как бы остановилась. К исходу десятилетия им овладевает глубокое недовольство собой. Он по-прежнему беден, нелюбим женщинами, одинок. За исключением пригородов он никуда не выезжает из Петербурга. Он постоянно чувствует себя не очень здоровым и действительно страдает от различного рода душевных и телесных расстройств. Он не сделал служебной карьеры. Правда, к двадцати семи годам он составил себе некоторое литературное имя, однако не в тех размерах, о которых мечтал. Его положение в литературе остается двусмысленным и неопределенным. Он отторгнут от круга нового «Современника» и уже давно не считается «там» восходящей звездой («Надулись же мы, друг мой, с Достоевским гением», — в сердцах отпишет Белинский приятелю в феврале 1848-го: сказанное «у двери гроба» обретет статус завещания-приговора).

Пик его литературной славы был позади. Новые его произведения как бы подпитывались энергией первоначального успеха. По сравнению с первой повестью они проходили почти незамеченными и, уж во всяком случае, не почитались событием в литературе. Он не мог не ощущать некой инерционности своего существования и, главное, своего труда.

В кружке Белинского от него ждали бытописательства — с неизменным оттенком социальной иронии, «физиологических очерков», верности «натуральной школе» как таковой. Он, однако, уклонился в «психологическое развитие». «Двойник» не удовлетворил никого. Загадочная «Хозяйка» вызвала раз-

²⁷ Досада на жизнь (*фр.*).

²⁸ Возможно, слабый и искаженный отголосок этого стремления можно обнаружить в абсолютно недостоверных воспоминаниях некоего В. Л. Пинчука, опубликованных сразу после смерти писателя. Мемуарист, уверяя, что в 1849 году он был соседом Достоевского по дому, так изображает сцену ареста: «Оказалось, что дверь к Достоевскому была заперта. Когда жандармы выломали ее, то Достоевский стоял у разбитого окна, в которое намерен был броситься, но вовремя был остановлен жандармами. Он долго боролся, пока его не взяли и не вынесли из дома на руках совершенно обессиленного» («Киевский листок», 1881, № 12, 11 февраля). То, что Пинчук правильно указывает тогдашний адрес Достоевского, делает эту историю (и личность вспоминателя) еще более загадочной. Суицидные настроения характерны и для других участников кружка петрашевцев.

драженное недоумение того же Белинского, обозвавшего ее приватно «нервической»²⁹. Меж тем его влечет к трагедии сильных страстей. Он как бы желает вернуться к своим (не дошедшим до нас) историческим драмам — таким, как «Мария Стюарт». Те глубинные вопросы (в том числе социального и религиозного порядка), которые занимают его, не могут получить воплощения в послушных ему повествовательных формах. Его писательство не удовлетворяет его — не по малости отпущенного ему воображения или таланта и тем паче не по скудости души. Ему не хватает внутренних сил для решительного творческого рывка (и того, что может быть — не без существенных оговорок — названо духовным переворотом). Ему необходим внешний толчок. Ему потребен новый художественный опыт, который может быть привнесен только извне. Он ждет перемены всех жизненных обстоятельств, хотя, возможно, не смеет признаться в этом самому себе.

Если это и не суицидный синдром, тогда — некое шестое чувство, влекущее художника в единственно нужном ему направлении. И в этом смысле роль Мефистофеля (который, как известно, вечно хочет одного, а совершает другое) сыграл Спешневый в полном соответствии с тайными пожеланиями клиента³⁰. Втягивая его в «семерку» (куда, впрочем, Достоевский стремится и сам), Спешнев тоже действует как орудие Провидения. И в этом смысле он тоже схож с императором Николаем.

Глава 18. POST-SCRIPTUM КАК ЖАНР **(К судьбе генерала)**

Доходное место

Предчувствия не обманули Липранди.

Вспомним его уверения о нежелании ввязываться в политическое дело: перед лицом взыскательного потомства он хотел бы отклонить от себя эту честь. Итоги процесса не стяжали ему особенных лавров. Главный изобличитель злоумышленного сообщества, он не добился ни повышений по службе, ни каких-либо иных высочайших наград. У него имелись все основания почесть себя обойденным.

Как только дело было закончено, недоброжелатели генерала вновь ожились. Его — теперь уже открыто — обвинили в мздоимстве. При этом коварно указывалось на несоответствие его официальных доходов тем тратам, которые он якобы позволял себе в своем частном быту. Учитывая отсутствие у него недвижимости — земли, каких-либо промыслов, доходных домов и т. д., а также подвижности — в виде крепостных душ, это был довольно убедительный ход.

Приверженный письменным занятиям и всегда веровавший в силу искусно составленных деловых бумаг, Липранди и на сей раз прибегает к испытанному оружию. Итогом его усилий становится докладная записка, помеченная 12 января 1852 года и адресованная, судя по всему, министру внутренних дел, все тому же графу Л. А. Перовскому. Надо ли говорить, что записка имеет излюбленный автором гриф: «Конфиденциально».

Записка Липранди до сих пор не была известна в печати. Озаглавлена она весьма необычно: «Изложение средств моих к жизни, ее образ и повод к распространению клеветы». Уже в самом заголовке различимо негодование: слово «клевета» ясно дает понять, что автор намерен всячески противодействовать оной.

²⁹ При первой публикации это определение звучало как «нервическая чепуха», но, конечно, Белинский употребил более крепкое выражение.

³⁰ Кстати, гетевский Мефистофель избавляет Фауста от пут бесполезной схоластики и возвращает его к самому себе — в мир страстей.

Податель записки озабочен прежде всего тем, чтобы отвести от себя подозрение в непомерных доходах. Он догадывается, что именно такого рода инсинуации могут стоить ему карьеры. «Главное основание всем этим слухам, — пишет Липранди, — давали гадательные предположения о роскошном будто бы и *не по средствам* образе жизни моей!» (ОР РГБ, ф. 203, оп. 222, ед. хр. 4, л. 1. ОИДР.) От избытка чувств он ставит восклицательный знак, довольно редко употребляемый им в деловых оборотах.

Липранди жаждет отвергнуть наветы и восстановить справедливость. Поэтому со свойственной ему скрупулезностью он исчисляет свои доходы — начиная с памятного дня своего вступления в Министерство внутренних дел.

Он напоминает министру, что поначалу оклад жалованья был у него не столь велик: не более 1000 рублей серебром в год. Но уже вскоре на него были возложены такие важные поручения, исполнение которых потребовало 600 рублей серебром подъемных, «независимо от квартирных, столовых, разъездных и т. п.». Засим в 1841 году «я удостоился получить *Высочайшую* награду в 2000 р. сер. и бриллиантовый перстень с вензелевым изображением в 600 р. сер.» (Честнейший Липранди включает в свои доходы даже эти вещественные знаки монаршей милости, которыми, кстати, были отмечены не полицейские, а скорее историко-прикладные его заслуги: «составление Географическо-Топографического, Военного и Статистического Описания Театра Войны к сочинению Генерал-Лейтенанта *Михайловского-Данилевского* о Турецкой войне 1806—1812 годов».)

«С 1843 по 1848 год круг моих занятий постоянно увеличивался...» — со скромной гордостью повествует Липранди. В связи с чем жалованье было удвоено — до 2000 рублей серебром в год. Сумма не Бог весть какая, однако ж достаточная для ведения жизни приличной. При этом, добавляет автор записки, «ежегодно получал я пособие из сумм Министерства, а иногда и прямо из рук Вашего Сиятельства, по 1000, 1500 р. <серебром> в год, а иногда и более». (Не из этого ли славного бюрократического обычая проистекает человеколюбивая практика номенклатурных добавок? То есть введение спустя столетие «кремлевским горцем» так называемых «синих пакетов», чье название свидетельствует, в частности, о поэтическом расположении духа изобретателя этой затеи.)

1848 год принес Липранди еще более ощутимые блага. В начале года (подчеркивается, что именно в начале, то есть до возникновения известного дела) он получил «за Московскую командировку, для выписки из секретных Государственных архивов 2200 р. <серебром>» (к сожалению, не уточняется, какого рода были эти бумаги), а затем — 2200 рублей «за окончание скопческих дел». (Сами скопцы, разумеется, могли бы заплатить больше, но в настоящем случае Липранди уклоняется от обсуждения этой возможности.) Тогда же «за успешное окончание контроля Полицейским суммам» им было обретено еще 5000 рублей серебром.

Итак, Липранди не отрицает, что выдаваемо ему было в год до 10 000 рублей, а в памятных для него 1848 и 1849 годах он получил «несравненно более».

Исчислив свои доходы и намекнув, что у него не было необходимости прибегать для их умножения к каким-либо действиям, не одобряемым взыскательной властью, Липранди переходит к внешним, так сказать, формам своего домашнего бытия.

Прежде всего он говорит о своих еженедельных приемах. Он уверяет, что круг его посетителей ограничивался только старыми сослуживцами. Среди которых, добавим, Пушкин, останься он жив, был бы вполне уместен. Ибо Липранди — и это трудно оспорить — не совершил пока ничего такого, что, скажем, выглядело бы недостойно в глазах его бессарабского друга. Тем более что эти посещения приходились на день, «который я избрал еще с 1820 года».

День этот — пятница.

Спектакль с переодеваниями (К вариациям «Двойника»)

Странные все-таки шутки шутит судьба. Тот, чьей главной заботой на протяжении года было наблюдение за «пятницами» в Коломне, назначает для соблюдения светских обязанностей тот же день, какой выбран «известным лицом» для исполнения обязанностей не вполне светских. Конечно, Липранди устанавливает свои «пятницы» на четверть века раньше, да и вообще из семи дней недели выбирать особенно не приходится. И мы не стали бы задерживаться на этом, в сущности, пустом обстоятельстве, если бы не настораживающее число подобных переключек и совпадений, заставляющих внимательнее взглянуться в причудливые узоры, которые так любит плести неведомо кто.

...Однажды Антонелли небрежно сообщит своему поднадзорному, что бывает в доме генерала Липранди, сыну которого он, Антонелли, некогда давал уроки. Правда, с самим генералом ему не часто случается предаваться удовольствиям приятной беседы, потому что тот «всегда сидит в своем кабинете в занятиях» (Антонелли мог бы добавить, что одним из этих занятий — и едва ли не самым любимым — является чтение его донесений). Петрашевский выкажет к словам своего нового знакомца явный и несомненный интерес. Он, как выяснится, почитает «г. Липранди за очень умного человека». Он настоятельно рекомендует Антонелли держать с генералом ухо остро, однако ни под каким видом не прерывать знакомства.

Это, конечно, комедия ошибок, водевиль с переодеваниями, рассчитанный на грубую публику трагифарс. Лицу, внедряемому в среду злоумышленников, их главарь советует внедриться в дом того, кто его внедряет, с целями очень похожими. Агенту правительства предлагают стать агентом противоправительственного сообщества — с тем чтобы доносить на правительство. Липранди, наверно, очень смеялся, читая бодрые рапорты Антонелли.

«Как *Вашему сиятельству* известно, — продолжает Липранди свою записку 1852 года, — я должен был тщательно скрывать занятия мои этим делом, для того, что Петрашевский назначил одного из своих сообщников, Толля, познакомиться со мною, бывать у меня, и проникнуть предмет настоящих моих занятий».

Действительно, 25-летний преподаватель русской словесности Феликс Толль (он преподавал в Главном инженерном училище, где некогда получил образование Достоевский) за несколько дней до ареста посетил генерала — дабы предложить себя в качестве домашнего учителя для генеральских детей. То есть занять то место, на котором некогда подвизался Антонелли. Осведомленный хозяин дома сумел в деликатной форме отклонить этот педагогический порыв. В бумагах Петрашевского были найдены две записки к нему Феликса Толля, где последний, извещая о своем визите, находит в генерале «человека, соответствующего их образу мыслей и — свободно говорящего и пр.». Уж не надеялся ли Толль приобщить своего собеседника к славным собраниям в Коломне?

Обремененность делами, наиважнейшим из которых было то, что находилось в поле зрения двух министров и самого государя, вынуждала Липранди по своим пятницам нередко оставлять посетителей «и удалиться для занятий в особую комнату» (Антонелли, как видим, сообщал на сей счет Петрашевскому сущую правду). Автор с видимым удовлетворением отмечает, что никто «в продолжении 14 месяцев не мог постигнуть, чтобы я, независимо от официальных поручений, занимался еще столь важным делом, требовавшим обширного письма, известного *Вашему Сиятельству*». Все это заставило усерднейшего из генералов «не различать даже дня от ночи». Любительские попытки Петрашевского заслать в стан врага «собственного Антонелли» (или, если угодно, анти-Антонелли) были обречены на неуспех.

Вино за двадцать копеек серебром

Липранди говорит, что в 1848 и 1849 годах он был вынужден принимать посетителей не только по пятницам, но также по средам и воскресеньям: к этому его принуждали обстоятельства производимого им политического дела. Очевидно, приемы эти были связаны не только с поиском подходящего агента, но и с желанием самого Липранди почерпнуть кое-какую полезную информацию из городских толков и сплетен. Натурально, расходы его увеличились. Однако, как можно понять, жертвы эти были связаны с истинным рачением о государственной пользе.

«Что же касается до образа моей жизни будто бы не по состоянию <...> то здесь мне остается объяснить с полною отчетливостью лишь то хлебосольство, в котором недоброжелатели предполагают видеть роскошь». И Липранди добавляет: «Хлебосольство это было моим постоянным свойством с самого начала первого времени, как я начал располагать собою».

Вот так — по прошествии тридцати лет! — аукнутся предназначенные Пушкину (но вызвавшие любопытство историков) строки из письма Н. С. Алексеева о том, что Липранди «живет по-прежнему здесь открыто и, как другой Калиостро, Бог знает откуда берет деньги». Как бы предвидя будущие ретроспективные подозрения и одновременно возражая своим нынешним гонителям, Липранди пишет:

«Открытая жизнь моя проистекает из моего характера <...> я всегда был одинаково тароват, где бы и в каком обществе не жил; сначала во Франции (с 1815—1819), потом в Бессарабии и Одессе (с 1820 по 1828) <...> Переменить себя я не могу: скорее лишу себя самой необходимости, чем запру дверь знакомым, следуя в сем случае русской пословице: чем богат, тем всегда и всем был рад».

Еще с молодых лет — со времен заграничных походов и знакомства своего с Пушкиным — он привык жить на широкую ногу. (В чем автор «Цыган», доживи он до лучших времен, мог бы уверить министра лично.) Но Липранди не ограничивается этой достаточно общей и, может быть, не вполне убедительной для начальства констатацией. Он решается раскрыть скобки.

«Стол мой никогда не был гастрономическим и всегда состоял из четырех, а в назначенные дни из пяти блюд, приготовленных просто, без всякой тени прихотливой роскоши; лучшим доказательством сему может служить то, что я никогда не имел и теперь не имею повара дороже 10 р. с. в месяц». («Редко случалось, что жалованье это доходило до 12 р. серебром», — честно уточняется в сноске.) Автор готов обнажить перед министром внутренних дел не только душу, но даже содержимое своих буфетов и сундуков.

«Весь столовый сервиз состоит у меня из 36 серебряных приборов, из коих здесь в Петербурге сделано лишь 12; столовое стекло обыкновенное, а не хрусталь; фарфору вовсе нет, и самый чай подается в стаканах».

То есть Липранди хочет сказать, что у него — как-никак действительного статского советника — нет в обиходе фарфоровых чашек! (Почему герой Достоевского, прокламировавший «я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить», не оставил указаний относительно употребляемой посуды?) Но даже это доказательство не представляется генералу достаточно сильным. Поэтому он исчисляет и другие расходы, призванные удостоверить его спартанство.

«Вино подается лишь столовое: красное в 20, а белое 30 к. сереб. за бутылку; сам я уже несколько лет решительно никакого вина не пью; иногда подавалось сверх столового и другое вино, но никогда из высших сортов». Что, впрочем, «не трудно проверить по документам, которые я могу представить».

Все это говорит бывший авантюрист, жуир и гуляка, знающий толк во французских, молдавских и прочих винах, не раз «за чашей медленной» внимавший своему веселому другу. Ныне он предлагает подтвердить собственную умеренность документально. Зная всегдашнее попечение Липранди о сохранении

деловых бумаг (хотя бы в копиях), не приходится сомневаться, что счета были бы представлены в лучшем виде.

Не умножай чужую ложь
Позором объяснений.

Поэт, который напишет эти стихи, тогда еще не родился.

Единственный предмет, который, по мнению генерала, «может почесться несколько роскошным» — это его письменный стол: он обошелся владельцу в 200 рублей серебром. Но стол — принадлежность, необходимая не для частных удовольствий, а для занятий служебных. И если это все же невольничья для него, получающего немалый оклад жалованья, роскошь, «то еще менее позволительна она для некоторых *Начальников Отделений*, имеющих такие же столы.— **И. В.**), тогда как от Правительства получают они содержание в десять раз меньше моего, а притом имеют лучше квартиры, мебель и экипажи, что, по-видимому,— в сердцах добавляет Липранди,— не так удивляет *Г<оспо-дина> Муравьева*, как мой быт, которого, впрочем, он никогда не видел».

Здесь, очевидно, названо имя одного из главных гонителей Липранди — не министра государственных имуществ и будущего усмирителя Польши, Муравьева-вешателя, а скорее его сына, статского советника Муравьева, который, временно замещая Липранди по службе, как раз и являлся распространителем слухов о его якобы слишком привольной жизни. Разумеется, генералу припомнили весь существующий на него *компромат*.

«...Законное преследование скопцов,— продолжает Липранди,— прославило меня неумолимым гонителем и притеснителем их <...> придумали еще для меня название “*безмилосердного грабителя скопцов*”»³¹.

Он понимает, что упреки в излишествах (столь ж лицемерные, как, скажем, борьба с роскошью в Древнем Риме) — всего лишь иносказание, примененное из-за отсутствия против него прямых улик. Его недоброжелатели намекают: он *брал*. (Не с петрашевцев, разумеется, хотя такая возможность, как мы убедились выше, не была полностью исключена.) Но это столь обыкновенное в общем быту прегрешение вспоминают лишь потому, полагает Липранди, что нельзя обозначить публично истинную причину воздвигнутых на него клевет.

Эта причина — роль его в знаменитом деле.

«Я не был агентом...»

«Совоспитанники лиц, замешанных в это дело,— пишет Липранди,— их родственники, друзья и самые ведомства, в которых они служили, соделались явными моими врагами».

Он как бы открывает министру глаза на политическую подоплеку своих несчастий. Он намекает, что вся эта недостойная травля затеяна с единственной целью — избавиться от того, кто честно и в известной степени бескорыстно, под неусыпным призором властей (и прежде всего самого Перовского) выполнял свой гражданский долг³². Он говорит, что ненависть против него так велика, что

³¹ В своих показаниях Петрашевский, явно имея в виду Липранди, говорит: «Отчего я не обвиняю еще в чем-нибудь, напр., в брани больших денег с богатыми скопцов и т. п.». Для усиления намека эта фраза подчеркнута самим автором показаний.

³² В других неопубликованных записках Липранди отмечает, что назначение в состав Следственной комиссии Ростовцева и Дубельта «было загадочным для многих». Первого — потому что по делу проходили преподаватели военно-учебных заведений (начальником штаба которых был, как уже говорилось, Я. П. Ростовцев); второго — поскольку он, «как ближайшее лицо, стоящее на страже государства, не знал, что в Петербурге <...> есть организованное злоумышленное общество». Следовательно, по мнению Липранди, при всем желании быть беспристрастным («в чем я и не сомневался»), они не могли не «ослаблять значение рассматриваемого ими общества и оставлять многие указания без дальнейших исследований». (Уж не бесследное ли исчезновение из квартиры Спешнева типографических принадлежностей имеется здесь в виду?) Такие упущения и повели к самым печальным последствиям, «что и доказано событиями 1859—1861 годов в Петербурге и 4 апреля 1866 г. (т. е. покушением Каракозова.— **И. В.**)» (ОР РГБ, ф. 223, оп. 221, ед. хр. 3, л. 21—22).

она распространяется даже на тех чиновников, которые были назначены ему в помощь, и что поэтому по окончании дела никто из них не был награжден. «Одних называли *обрызганными кровью* (разумея здесь дело Петрашевского), других *шпионами* и т. п.». Он пишет о своей глубокой обиде, о том, что еще летом 1849 года (то есть в самый разгар следствия по раскрытому им делу) он хотел отправиться на театр военных действий против Венгрии и только быстрая победа русского оружия помешала ему осуществить этот патриотический шаг. В нем просыпается вдруг старый дуэлянт — и он позволяет себе объяснить министру, почему он не употребил до сих пор для защищения своей чести самые крайние средства: «Будучи частным человеком, я умел бы обуздать необдуманную дерзость людей, вынудивших меня к официальному объяснению, в котором и обязанности службы, и личность моя так нагло оскорблены». Иными словами, не исправляй он столь ответственных государственных комиссий, он бы нашел способ заставить своих обидчиков замолчать.

Он еще не знает о том, что в этом качестве оставаться ему недолго. В том же 1852 году Перовский оставит свой пост: при новом министре Бибикове Липранди, несмотря на всю свою многоопытность и бесчисленные заслуги, будет выведен за штат.

Он убежден, что виною всему — дело Петрашевского: «для меня оно было неудобно, оно положило предел всей моей службе и было причиной совершенного разорения». Позже он скажет: «Казнь Липранди совершена не на основании закона, а закулисно».

В неопубликованном «Введении по делу Петрашевского...» (к которому мы обращались уже не раз) Липранди вновь вспоминает мучительные подробности постигших его невзгод. «По окончании дела, — пишет он, — я был представлен министром внутренних дел, получившим за оное графский титул³³, к ордену св. Анны 1-й степени. Кабинет министров отказал (и понятно, потому что в каждом ведомстве обнаружались соучастники) — высказав, что такого рода поручения вознаграждаются деньгами! Не приняв в соображение, что я не был агентом, а служил по министерству полиции, которой прямая обязанность охранять государство».

Для Липранди это принципиальный момент. Еще в ходе самого дела он крайне щекотливо относился к игнорированию подобных различий. Излагая в секретном отчете Перовскому свой разговор с членом Следственной комиссии князем Гагариным, Липранди не без сдержанного негодования замечает, что тот «дал мне понять, как будто бы я был доносителем, что за такое открытие Государь наградит меня и пр., хотя я тут же возразил, что *не я открыл и не я донес* о существовании общества, а что мне указано на оное Вашим Сиятельством, как министром полиции, и что Вы вместе с шефом жандармов по Высочайшему повелению поручили оное моему наблюдению».

«Государь наградит...» — полагает Гагарин. В душе Липранди тоже так полагал. Однако он жаждал *достойного* воздаяния. Отказывая ему в ордене, его как бы приравнивали к Антонелли, награждать коего Анной (даже третьей степени!) никому бы не взбрело в голову. Вместо заслуженного государственного почета ему предлагали тридцать сребреников. Его старались унижить как могли: «Вследствие этого отказа мне Комитетом определено выдавать безгласной пенсии по тысяче рублей в год». Это секретное пособие ставило его на одну доску с платными энтузиастами сыска. У него хотели украсть его ослепительный успех: «Все дальнейшие ходатайства графа Перовского были тщетными; оскорбленное самолюбие III Отделения не осталось без влияния на то» (ОР РГБ, ф. 223, оп. 221, ед. хр. 3, л. 35 об.).

³³ Перовский был возведен в графское достоинство за несколько дней до апрельских арестов. Поэтому вряд ли можно напрямую связывать оба эти события. Заслуги, конечно, учитывались, но ни объем дела, ни его характер еще не были тогда ясны.

Граф Перовский вскоре умрет — больше не найдется сильной руки, которая еще могла бы поддержать отставленного от всех военных и штатских должностей генерала. И даже слава родного брата Липранди, тоже генерала, ставшего героем Севастопольской обороны, не сможет облегчить участь бывшего военного разведчика и резидента. Наступят дни нужды и позора, когда многосемейный Иван Петрович вынужден будет, как уже говорилось, не только продать Главному штабу свою уникальную, посвященную Востоку библиотеку в несколько тысяч томов (покупатель, удовлетворив стратегическое любопытство, на годы растянет оплату), но, кто знает, может даже избавиться и от тех столовых серебряных приборов, которые фигурировали некогда в его оправдательной записке. Сдержанный обычно в своих деловых объяснениях, он вдруг решается высказаться до конца.

«...Я должен был,— заявляет Липранди,— письменно высказать им, что III Отделение, с самого начала своего учреждения, никогда ничего не открыло и пр., и вычислил все случаи». Он ставит под сомнение практическую полезность русской тайной полиции: в ее архивах вряд ли удастся обнаружить этот *обличительный* документ.

Так заканчивает Липранди свое «Введение...», будучи глубоко убежден, что ведомство, проморгавшее открытый им заговор, играет в его отечестве совершенно жалкую роль.

Странная вещь. Государство, которому Липранди служит верой и правдой, не только не ценит его талант, но даже стремится избавиться от чиновника, проявившего такое усердие. Оно, государство, как бы стесняется входить с ним в слишком большую близость. Награждая его деньгами, а отнюдь не знаками государственного отличия, оно не желает быть с ним на равной ноге.

Это — нечто новое в уморасположении властей, пожалуй, впервые вынужденных считаться с общественным мнением.

Те, кто четверть века назад поддержал императора Николая в его противоборстве с мятежниками (например, А. Ф. Орлов, тогда еще вовсе не граф) или хотя бы указал правительству на опасность заговора (Я. И. Ростовцев, тоже в то время еще нетитулованный дворянин), были возвеличены и обласканы. Во всяком случае, государь о них не забывал никогда. Что же касается доносчиков-маргиналов — таких, как Майборода, Шервуд, Бошняк,— они отнюдь не стали изгоями и не были извергнуты из общества. Хотя их потенциальными гонителями могли бы стать очень влиятельные семейства.

Но времена изменились: очевидно, и в смысле разумения добра и зла. Дело даже не в том, что вооруженный мятеж выглядел гораздо серьезнее любых отвлеченных умствований — пусть даже самого либерального толка. Деятели 1849 года не обнажали оружия, и правительство для их усмирения не употребляло картечь. Тем ужаснее и немотивированнее был приговор. Общество смутно догадывалось, что удар, нанесенный по участникам посиделок в Коломне, не вполне адекватен. За два с половиной десятилетия царствования императора Николая градус умственной жизни в России отнюдь не замер на разрешенной отметке. Образование давало плоды — и число образованных умножалось. Выросло поколение, для которого *воздух мысли* стал столь же необходимым, как просто воздух. (Об этом, собственно, и толкует Достоевский на допросах.) Процесс 1849 года явился покушением на свободу духа — пусть относительную, существующую в малых и сугубо частных пределах. Правительство переставало быть, как некогда выразился о нем автор «Медного всадника», «единственным европейцем в России»: образованное общество впервые почувствовало себя «культурнее» власти.

Вскоре после смерти Незабвенного (как любил именовать государя Николая Павловича злопамятный Герцен) над политическими узниками минувшего царствования просиял мученический венец. Эпоха устремилась в сторону *их* желаний. Само правительство, публично констатировав необходимость «улучше-

ния крестьянского быта», с помощью этого эвфемизма вступило на путь коренных реформ. То, о чем когда-то глухо толковали в Коломне, стало «притчей на устах у всех».

Липранди, наверное, прав: интриги против него III Отделения и других «обиженных» ведомств действительно могли иметь место. Но увы: направленность этих интриг совпала с общей, нелестной для генерала молвой. Это оказалось для него роковым.

Тем более что власть с некоторых пор вынуждена оглядываться на Лондон.

Еще раз о сожигании еретиков

В первом же номере первой русской бесцензурной газеты Герцен выразится так: «...Липранди, доносящий по особым поручениям...» Подобные аттестации будут повторяться регулярно — и в «Колоколе», и в «Полярной звезде». Имя Липранди становится нарицательным.

В 1876 году Достоевский мельком заметит в «Дневнике писателя», что о всяком интеллектуальном движении в Европе тотчас становится известно в России — «несмотря ни на каких Магницких и Липранди». Имя Липранди употреблено автором «Дневника» один-единственный раз и к тому же, как можно понять, во множественном числе. Так он бы мог сказать — *Булгарины, Гречи*.

Разумеется, он знал все, что писалось в русской бесцензурной печати об их уже ставшем историческим деле.

«“Колокол” — это власть», — говорили Герцену те, кто приезжал из России. В этом была своя правда. Как с горестью замечает Липранди, начальствующие лица находили опасным определять его в свои учреждения еще и потому, «что это вызовет против них Герцена и Огарева». Редкий случай, когда антипатии политической эмиграции и русской тайной полиции странным образом совместились.

Глубоко уязвленный происходящим, Липранди решается вступить с лондонскими изгнанниками в прямой диалог.

В третьей книжке «Полярной звезды» (1857) Огарев — как водится, анонимно, — разбирая коронационный манифест Александра II, вскользь упоминает Липранди. Последний аттестован в качестве «клеветра» Перовского и бывшего «члена тайного общества 1825 г. и впоследствии шпиона!». 17 июня 1857 года в Петербурге потерявший терпение генерал садится за письмо.

В отличие от большинства написанных Иваном Петровичем документов этот не имеет грифа «секретно». Хотя и оглашению в пределах империи не подлежит. Липранди адресуется в Лондон.

Не зная имени автора оскорбительной для него статьи, он пишет к издателю.

Письмо Липранди довольно обширно. Он говорит, что в ответ на «клевету и шпиона» он мог бы присвоить издателю «Полярной звезды» «соответственные ему эпитеты сумасброда, перебежчика, клеветника, лжеумствователя и т. п.». Но он считает это для себя недостойным. Он берется судить только о фактах.

«...Виновность Петрашевского и его сообщников не подлежит сомнению», — твердо заявляет Липранди. Эта виновность полностью доказана действиями двух комиссий и беспристрастного суда, в которых состояли лица добросовестные и истинно просвещенные. Автор письма настаивает, что он вовсе не принадлежит к числу ретроградов, которые осуждают свободу мысли. Однако он не может не признать, что даже благая, в сущности, цель, достигаемая, однако, путем незаконным, рано или поздно приводит к беде. Тем паче если эта высокая цель соединяется с планом насильственного переворота, который весьма редко обходится без пролития крови. А это «в государственном смысле есть уже преступление». Конечно, если исходить из привычек обыденной жизни, «каж-

дый частный благодушный человек пожалеет о Петрашевском...». Но — «но кто же может навязывать взгляд частного человека правительству, забываясь о общем благе?».

«Что правда для человека как лица,— скажет Достоевский в 1877 году,— то пусть останется правдой для всей нации». Нравственный закон един. Интересно, что мог бы возразить автор письма на эту суровую максиму.

Адресуясь в Лондон, Липранди адресуется во вражеский стан. Однако надо признать: его стилистика, тон, характер аргументов мало отличаются от того, чему он привержен в своей министерской прозе. (Правда, Герцен — в некотором роде тоже *министр*.) Во всех писаниях отставного генерал-майора ощутима личность исключительно цельная. Соображения государственного порядка он излагает с не меньшим тщанием, нежели сведения о наличии в своем обиходе столовой посуды или о стоимости подаваемых к домашним трапезам вин.

«...Названия шпиона, клеветы не могут относиться к чиновнику, точно и добросовестно исполняющему предписание своего непосредственного начальства»,— педантично втолковывает он издателю «Полярной звезды». Другое дело, не без иронии добавляет Липранди, если бы подобное поручение было возложено на Герцена: тогда бы в силу его, Герцена, правил последний мог бы уклониться от его исполнения или исполнить его ненадлежащим образом. «...Но я,— с чувством завершает автор письма,— действовал не по Вашему убеждению».

Этот аргумент представляется ему неопровержимым.

...В конце 1880 года, за несколько недель до смерти, Достоевский прочтет статью К. Д. Кавелина в «Вестнике Европы». Автор статьи утверждал, что понятие нравственности измеряется одним критерием — верностью собственным убеждениям.

«Сжигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком,— записывает Достоевский в своей последней тетради,— ибо не признаю Ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями. Это лишь *честность* (русский язык богат), но не нравственность. Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос. Спрашиваю: сжег ли бы он еретиков,— нет. Ну так значит, сжигание еретиков есть поступок безнравственный».

Достоевский недаром поставил против этой записи на полях «NB» три плюса и два восклицательных знака.

Несколько ранее, в феврале 1880 года, он обсуждал с издателем «Нового времени» А. С. Сувориным недавний взрыв в Зимнем дворце. Государь тогда, к счастью, уцелел, но погибли или были покалечены десятки солдат. Достоевский предлагает своему собеседнику следующий воображаемый эксперимент. Они с Сувориным стоят на Невском у витрины кондитерской Дациаро, а рядом некие подозрительные лица, забыв осторожность, громко толкуют о том, что через несколько минут жилище царей взлетит на воздух: адская машина уже заведена.

«Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве,— вопрошает Достоевский озадаченного Суворина,— или обратились к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?»

— Нет, не пошел бы...

— И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это — преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить...»³⁴

Вообще-то ситуация в малой мере сопоставима с той, в какой очутился Липранди. Ибо он-то и есть в данном случае «полиция», «городовой» и т. д. «...Кто действует в подобном представившемся случае по убеждению,— наставляет Герцена автор письма,— тот далек от названия шпиона».

³⁴Подробнее об этой нравственной коллизии см.: Игорь Волгин. «Последний год Достоевского». М., 1991, с. 135—138 и др.

Ведай об этих аргументах Достоевский, он, пожалуй бы, согласился с автором письма. Он, очевидно, не стал бы спорить, что генерал заслуживает звания честного человека («русский язык богат»). Возможно, с этой трактовкой согласился бы и Пушкин. У них с Достоевским не нашлось бы оснований обвинить Липранди ни в подлости, ни в ренегатстве. (Вспомним: «Государство только защищалось, осудив нас».) Почему бы не допустить, что отличавшийся нелюбовью к правительству бывший подполковник Генерального штаба проделал естественную эволюцию — схожую (пусть в самых общих чертах) с той, какую претерпели в своем духовном развитии те же Пушкин и Достоевский? Хотя, быть может, его собственный радикализм был в молодости не менее резок, нежели у названных выше лиц.

Ведь, даже понеся на склоне лет горькие и незаслуженные обиды от власти, Липранди не перешел в оппозицию (хотя бы тайную) и не переменял убеждений. Он остается с правительством — «единственным европейцем в России».

И он не жалеет о том, что — «сжег еретиков».

«Сожигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком...»

Липранди никогда не прочтет этих строк Достоевского. Впрочем, его вполне бы устроило звание человека порядочного.

Искренне желая быть таковым, он возвращает Герцену его обвинения. Он именуется создателя вольной русской печати европейским шпионом, который «в компании с русскими шпионами» выдает иностранцам «мать свою — Россию». Он просит лондонского изгнанника принять его уверения «в желании поправления расстроенного Вашего нравственного здоровья и в том уважении, которое Вы мне внушаете».

При этом автор письма рассчитывает на публикацию своего послания в «Полярной звезде».

Он замедлит с отправлением корреспонденции на несколько месяцев — очевидно, в раздумье, как поступить. За это время Герцен отнюдь не ослабит своих инвектив. И Липранди, убедившись «в истине моего заключения и совершенно жалкой роли, Вами разыгрываемой», отсылает письмо, выказывая желчную надежду, «что и этот P. S. Вы поместите вместе с письмом в одно из Ваших образцовых творений».

В своем постскриптуме Липранди вновь уличает апостола свободного слова в неточностях и передержках³⁵. Он говорит о своей пятидесятилетней службе, в которой «странно было бы давать Вам отчет письменно; лично объяснить Вам оную — другое дело». Любопытно: каким образом Липранди мог бы осуществить это намерение? Не собирался же он с этой целью отправиться в Лондон! Правда, такое случалось: сыновья Я. И. Ростовцева, офицеры-гвардейцы, для защищения чести покойного отца рискнули нанести Герцену тайный визит, вследствие чего уладили дело, но зато лишились карьеры. Уж не содержится ли в словах Липранди тонкий *дуэльный намек* — тем более неприятный для адресата, что он не так давно уже предпочел одну угрожавшую ему дуэль «суду европейской демократии»?

Герцен не напечатает это письмо и не сочтет необходимым отвечать своему оппоненту. Зато через несколько лет он опубликует секретное «Мнение...» Липранди от 17 августа 1849-го — то самое, о котором уже шла речь. Издатель «Полярной звезды» предпочитал официальные документы.

³⁵ Так, «Колокол» утверждал, что Липранди был душой тайной комиссии для надзора «за литературой и журналами», учрежденной в Петербурге в 1848 году. Между тем ни к меншиковскому, ни к бутурлинскому комитетам, которые действительно были органами цензурного террора, Липранди ни малейшего отношения не имел. Не подтверждается пока документально и версия (см., например, «Записки С. Г. Волконского», СПб, 1901, с. 318), согласно которой уже при Александре II Липранди «имел дерзость» подать проект об учреждении при университетах особых школ, дабы сами студенты доносили на своих товарищей и «чтобы этих мерзавцев назначать и употреблять как сыщиков и шпионов в обществе, и давать им по службе ход».

Глава 19. СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

«Темен жребий русского поэта...»

«Достоевский на эшафоте» — одна из базовых мифологем русской культуры. При этом автора «Бедных людей» невозможно, как это бывает в иных *архетипических случаях*, заменить другим историческим персонажем, а место казни — деревенской глушью или дуэльным барьером. Ибо здесь «задействован» мировой сюжет — о смерти и воскрешении героя.

По мере нашего удаления от события оно обретает все больший масштаб. Его символические смыслы, закрепленные в культурном сознании, особенно обостряются на переломе эпох.

Максимилиан Волошин посвятил одно из своих стихотворений Леониду Петровичу Гроссману — тогда сравнительно молодому, но уже известному исследователю «жизни и творчества» Достоевского:

Душой бродя у вод столицы Невской,
Где Пушкин жил, где бредил Достоевский,
А ныне лишь стреляют и галдят...

Стихотворение помечено: 19 сентября 1919, Коктебель. Поэту видится Петербург — элизиум великих теней, оскверненный братоубийственной смутой. По сравнению с «жизнью» Пушкина и даже «бредом» Достоевского нынешняя картина представляется в высшей степени деструктивной. Слово «стрелять» между тем поставлено во множественном числе — и оно имеет касательство не только к печальной современности.

Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.

Это написано 12 января 1922 года в том же Коктебеле. Называется стихотворение «На дне преисподней» и посвящено памяти недавно погибших Блока и Гумилева.

В поэме «Россия» (1924) Волошин выстраивает целый поэтический мартиролог: он состоит исключительно из культовых фигур.

Пять виселиц на Кронверкской куртине
Рифмуют на Семеновском плацу;
Волы в Тифлис волочат «Грибоеда»,
Отправленного на смерть в Тегеран;
Гроб Пушкина ссылают под конвоем
На развалнях в опальный монастырь;
Над трупом Лермонтова царь: «Собаке —
Собачья смерть» — придворным говорит;
Промозглым утром бледный Достоевский
Горит свечой, всходя на эшафот...
И все тесней, все гуще этот список...

Автору «Братьев Карамазовых», как уже говорилось, не повезло с его изображениями в прозе. Мы разумеем не только сочинения славного Пауля Гримма, но и усилия, предпринятые не менее даровитыми авторами, пишущими на русском языке³⁶.

Впрочем, казнь Достоевского воспета и знаменитыми иностранцами.

В своих «Роковых мгновениях» наряду с Ватерлоо, достижением Южного полюса, гетевской «Мариенбадской элегией» и т. д. Стефан Цвейг выделяет также 22 декабря 1849 года. Для него это драма всечеловеческого масштаба. Автор полагает, что наиболее адекватно она может быть выражена стихами.

³⁶ В нашей книге «Родиться в России» мы взяли на себя смелость процитировать некоторые из их беллетристических наблюдений, объединив сочинителей собирательным именем Ч. Б. (Чувствительный Биограф).

Цвейг уделяет исключительное внимание вещественной стороне вопроса. Добросовестно описываются предметы тюремного обихода и вообще российский *этнографический* реквизит:

Сонного подняли ночью, поздно,
Хрипом команды, лязгом стали,
И по стене каземата грозно
Призраки-тени заплясали.
Длинный и темный ход.
Темным длинным ходом — вперед.
Дверь завизжала, ветра гул,
Небо вверху, мороз, озноб,
И карета ждет — на колесах гроб,
И в гроб его кто-то втолкнул.

Не важно, что Достоевского подняли не столько «поздно», сколько рано: декабрьские ночи в Петербурге воистину длинны и могут представляться с поэтической точки зрения вовсе не имеющими конца. («И ночь идет, которая не ведает рассвета»,— сказано А. Ахматовой по сходному поводу.) Но, может быть, это заслуга переводчика — искушенного в символистских иносказаниях В. А. Зоргенфрея.

Постепенно освещение сцены меняется.

Эшафот в тумане густом,
Солнца нет,
Лишь на дальнем куполе золотом —
Ледяной, кровавый рассвет.
Молча становятся на места;
Офицер читает приговор:
Государственным преступникам — расстрел,
Смерть!

Нельзя сказать, чтобы немецкие стихи усиливали впечатление, которое читатель может получить, знакомясь с *аналогичной* сценой в «Идиоте».

Игры с небытием

Когда в час своей «настоящей» смерти, утром 28 января 1881 года, он попросил Анну Григорьевну дать ему Евангелие и по давней привычке вопрошать таким образом судьбу открыл его наугад, там стояли слова: «Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». Это говорит Иоанну Крестителю Иисус.

«— Ты слышишь,— “не удерживай” — значит, я умру»,— сказал он жене.

Он сказал это спокойно, без пафоса, не ожидая опровержений и как бы итога то, что внутренне уже знал. Ему шел шестидесятый год. Жизнь была прожита, дело совершено, и у него достало времени, чтобы подготовиться к смерти. Он умирал на руках семьи, от давнего, но внезапно ставшего смертельным недуга — умирал самым обычным «неромантическим» образом. Мог ли бы он так же безропотно произнести «не удерживай» там, на Семеновском плацу?

Тогда ему только пошел двадцать девятый год. Он был автором нескольких журнальных повестей и одной, отдельно изданной книги. Он не совершил и той доли того, о чем втайне мечтал. Он был недоволен собой; он был душевно смятен; он был в высшей степени одинок.

Тяга к самоубийству дала результат — правда, без наступления его физической смерти. Тот, прежний, он уже уничтожился навсегда. Но его воскресение стало делом посторонним. Он сам уподобился зерну, которое, павши в землю, не осталось одно: умирая, оно принесло «много плода». В этом смысле казнь на Семеновском плацу — испытание мистического толка. Опыт смерти даруется без неизбежного финала. Испытуемый не может предугадать истинного хода вещей. Для него реальна лишь «полная гибель всерьез». Смерть неотвратима — и сознание этой неотвратимости имеет абсолютную силу. У жертвы нет оснований надеяться на иной исход.

Но, с другой стороны, подобная смерть — это еще и магический «заклинательный» обряд. Лицо, подлежащее казни, проходит весь ритуал. Метафизически смерть совершилась: явившаяся в карнавальных одеждах, она стала принадлежностью души.

Дочь Достоевского, Любовь Федоровна, в своих изобилующих ошибками и неточностями воспоминаниях (которые лишь сравнительно недавно в полном виде изданы на русском языке) уверяет, что царь колебался, прежде чем подписать смертный приговор.

«Император, — говорит Любовь Федоровна, — не хотел лишать жизни заговорщиков, но он хотел дать молодежи хороший урок. Его советники предложили ему разыграть зловещую комедию».

Дочь верно подметила дидактический характер эшафотного публичного действия. Оно отвечает требованиям не столько «зловещей комедии», сколько классической драмы. Обозреваемая со всех четырех сторон сцена-эшафот, фельдъегерь в качестве *deus ex machina*, войска в роли немого хора (заявляющего о себе лишь барабанным боем) и, наконец, смена трагических и комических масок — все это элементы античного театра. Вряд ли, однако, это входило в замысел грозного драматурга.

«Император Николай не был злым человеком, — замечает Любовь Федоровна, — он был ограниченным человеком и ничего не понимал в психологии». Дочь Достоевского заблуждается: как раз в психологии царь кое-что понимал. Особенно если тут была примешана политика. Он имел основания рассматривать Семеновский плац как государственный профилакторий.

Но вернемся к Стефану Цвейгу, который длит свой бесхитростный репортаж.

Белый саван — смертный покров.
Спутникам слово прощанья,
Легкий вскрик,
И с горящим взглядом
Устами он к распятию приник,
Что священник подносит в немом молчаньи,
Потом прикручивают крепко их,
Десятерых,
К столбам, поставленным в ряд.
Вот
Торопливо казак идет
Глаза прикрыть повязкой тугою.

У Волошина Достоевский «горит свечой»; Цвейг ограничивается «горящим взглядом». Это бы еще ничего, как и то, что к столбам прикручивают «десятерых», хотя на самом деле привязаны были только трое. Не смущает нас и то обстоятельство, что при наличии белого савана, капюшон которого вообще-то должны были опустить смертнику на лицо, появляется еще «тугая повязка», несомая экзотическим *казаком*.

Все эти милые лиро-эпические вольности ничуть не умаляют добрых намерений автора. И даже то, что герой вспоминает на эшафоте не только мать, отца, любимого брата, но и несуществующую жену (в отличие от простодушного Пауля Гримма образованнейший Стефан Цвейг должен бы ведать об отсутствии таковой), не могут поколебать нашего уважения к тексту.

В довершение Цвейг наносит читателю еще один художественный удар. Он живописует приступ эпилепсии, внезапно поражающий героя прямо на месте казни. В российской поэтической традиции мы не припомним подобных изображений. За исключением, может быть, сдержанного пастернаковского:

В искатели благополучия
Писатель в старину не метил.
Его герой болел падучею,
Горел и был страданьем светел.

Пастернак с несколько старомодным целомудрием старается отделить автора от героя. Цвейг показывает автора вживе.

И он
 Падает, словно мечом сражен.
 Вся правда мира и вся боль земли
 Перед ним мгновенно прошли.
 Тело дрожит,
 На губах выступает пена,
 Судорогою лицо свело,
 Но стекают на саван слезы блаженно,
 Светло...

Что с того, что «священная болезнь» разовьется у Достоевского только на каторге. Эшафот — весьма подходящее место для провоцирования такого рода расстройств. «Может быть,— замечает Любовь Федоровна,— эпилепсия отца никогда бы не приняла столь тяжелую форму, не будь этой жуткой комедии». Подобную версию нельзя ни оспорить, ни подтвердить.

В карету толкают, везут назад.
 Взгляд
 Странно туп, недвижность в чертах,
 И лишь на дергающихся устах
 Карамазовский желтый смех.

Так завершает Стефан Цвейг свое душераздирающее повествование, намекая последней строкой, что он не остался чужд модернистским веяньям века³⁷.

Что ж, Семеновский плац можно, пожалуй, принять за точку отсчета. В онтологическом измерении смертный миг Достоевского — это миг рождения нового, катастрофического, «порогового» сознания, которое станет отличительным признаком следующего столетия. Тема «порога» вообще характерна для поэтики Достоевского. Не пора ли, кстати, пословицу «Вот тебе Бог, а вот — порог» истолковать в глубоком философическом смысле?

«Бытие,— записывает Достоевский в одной из последних тетрадей,— только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие».

Рассуждение в «Братьях Карамазовых» о том, что жизнь — это и есть рай, восходит, помимо прочего, конечно, и к эшафоту.

Сколько, однако, времени протекло от момента оглашения приговора до того, когда им объявили, что они не умрут? Достоевский говорит о десяти «ужасных, безмерно страшных минутах ожидания смерти». Учитывая время, взятое чтением двадцати одного резюме, обрядом в смертные одежды, исповедью — пусть краткой — П. Г. Шапошникова, целованием креста, привязыванием к столбам и т. д., можно смело увеличить этот срок до получаса и более. Все приговоры заканчивались одним, и по мере их оглашения надежда у тех, кто ждал своей очереди, должна была таять. Сама процедура была задумана так, чтобы продлить состояние ужаса.

Если на плацу действительно громко прозвучали все *предварительные* команды, это было явным отступлением от закона. Ибо военно-уголовный устав, которым, судя по всему, руководствовались организаторы казни, человеколюбиво рассудил, что солдаты должны подходить к казнимому таким манером, чтобы тот не слышал их приближения, а заключительную команду унтер-офицер обязан подавать не голосом, а рукой. Таким в идеале рисовался законодате-

³⁷ В этом плане «карамазовский желтый смех» ничем не хуже «Красного смеха» Леонида Андреева. Не исключено, что здесь имеет место и прямая перекличка.

лю расстрельный миманс. Подлежащему смерти не полагалось видеть или слышать ее. Правда, ни в каком уставе не было сказано, что со смертью можно шутить.

Они не знали, что казнь будет отменена. Догадывался ли об этом собравшийся на площади народ? И вообще: откуда петербуржцы проведали о том, что казнь состоится? Кто сообщил им о дне и часе? Проще всего предположить, что сведения эти были почерпнуты из газет. Вернее, только из одной из них. А именно — из «Русского инвалида», где 22 декабря 1849 года (то есть в самый день исполнения) был напечатан текст приговора и высочайшая конфирмация. Поэтому можно теоретически допустить, что ранним утром 22 декабря собравшаяся на площади толпа (или по меньшей мере отдельные зрители) уже знала о том, чем закончится зрелище. И что это утешительное известие могло каким-то нечаянным образом достигнуть тех, кого оно непосредственно касалось.

Но увы. Ни в одном источнике нет и намёка на то, что осужденным (за исключением Кашкина, который, как говорилось, узнал о помиловании минутой-другой ранее остальных) являлся хотя бы проблеск надежды. Напротив, не помышлявшие о близкой, а тем более насильственной смерти и верившие, что в худшем случае им угрожает ссылка в Вятку или Заволжск, они были жестоко ошеломлены *непоправимостью* приговора. Такие же чувства испытывали оставшиеся на свободе сограждане, тоже не могущие поверить в подобный исход. Среди них, например, — двадцатилетний Чернышевский, отметивший в дневнике, что на Семеновский плац повезли осужденных: «*говорят*, на смертную казнь». Денщик, «в слезах» сообщающий господам, что штабс-капитана Львова везут расстреливать на Семеновский плац, тоже, наверное, добыл эти сведения не из секретных источников. Не исключено, что слухи были распущены загодя — дабы партер не пустовал. С другой стороны, поспешное воздвижение на Семеновском плацу странного вида платформы, равно как и другие приготовления, также не могли не привлечь внимание публики. Двинувшиеся утром на площадь войска еще более усилили догадки и толки.

Знавшая публичные казни (которые, кстати, не возобновлялись со времен Пугачева: декабристов, например, вешали неприлюдно) и не удивившаяся бы таким знакомым предметам, как петля и топор, Россия никогда еще не наблюдала *общедоступного* (тем паче массового) расстрела. Это был исторически новый жанр.

Объявил ли им помилование лично генерал-адъютант Сумароков? Возможно, он и произнес несколько *вступительных слов*. Но саму конфирмацию — с исчислением наказаний для каждого персонально — читал некий «слабоголосый» чиновник: его было худо слышно (что с профессиональным сожалением и отмечено в жандармском отчете). Все они по-разному восприняли эту благовесть. «Никакого волнения на лицах осужденных замечено не было», — говорит очевидец. Петрашевский, как о том сообщает полицейский агент, «принимал позы, несвойственные его положению». (Интересно, какую позу можно было бы счесть в настоящем случае уместной?) По окончании конфирмации помилованный дерзнул подытожить: «И только!» Ипполит Дебу заметил в сердцах: «Лучше бы уж расстреляли!» «Кто просил?» — в тон ему молвил Дуров. И лишь одинокое восклицание Пальма (вчистую прощенного и переводимого тем же чином из гвардии в армию): «Да здравствует император Николай!» — стало бледным отголоском того впечатления, на которое могла бы рассчитывать власть.

Между тем вряд ли можно сомневаться в том, что они, избавленные от смерти в самый последний миг, пережили глубочайшее потрясение. В число его «составляющих» входило также ощущение счастья. (О чем, в частности, можно судить и по написанному в этот день Достоевским письму.) Сила этого потрясения увеличивалась двумя обстоятельствами: неожиданностью приговора и еще больше — неожиданностью развязки. Смертный ужас обрушился на них безжа-

лостно и внезапно — столь же внезапно стало избавление от него. Но недаром в их первой реакции ощутима *обида*: то, чего не предусмотрел сценарист.

«... Что сделали с вами!..» — молвит, весь в слезах, встретивший их по возвращении с площади дежурный офицер. Он мог бы поздравить их с дарованием жизни. Но ему, постороннему, было внятно то, о чем пока еще смутно догадывались они: что нельзя так измываться над человеком. И в реплике «Уж лучше бы расстреляли!» различима не только демонстрируемая постфактум бравада. С ними сыграли недобрую шутку: их унизили, в них оскорбили религиозное чувство, их использовали для какой-то не вполне ясной им цели; над ними, наконец, надругались... Все это не могло не омрачить им радость возвращения к жизни.

«Милость к падшим» была явлена в виде высочайшего каприза: в России следует благодарить и за это.

Непроворный инвалид

Итак, мог ли стать *источником знания* «Русский инвалид»? Это было бы возможно только в том случае, если бы газета поступила к подписчикам или книгопродавцам еще на рассвете — во всяком случае, до девяти часов утра.

«Выходит ежедневно, — стоит в каждом номере “Русского инвалида”, — кроме понедельников и дней, следующих за некоторыми праздниками».

22 декабря был «четверток».

Трудно сказать, когда газета достигала читателей в *обыкновенные* дни. Скорее всего часов в девять-десять утра — как и другие издания. Если бы она вышла в «четверток» — как обычно, тогда сообщение об истинном приговоре и экзекуция на Семеновском плацу практически бы совпали. Но уместно предположить, что 22 декабря тираж был задержан на пару часов.

Правительственное сообщение в № 276 «Русского инвалида» не имело заголовка и занимало целиком две первые полосы (с. 1101—1102, нумерация сквозная, годовая). Есть все основания полагать, что официальная публикация приговора была полной неожиданностью для самой редакции.

В среду в № 275 в разделе «Фельетон» газета начинает печатать «Дон Жуан» Э. Т. А. Гофмана, автора, кстати, Достоевскому небезразличного (стоит вспомнить гофмановские мотивы в «Двойнике»). Под фельетоном (с. 1097—1099) стояло: «Окончание завтра». Но завтра, в «четверток», окончания не последовало: вместо него был напечатан известный вердикт. Окончание появится только послезавтра — в пятницу 23 декабря, в № 277. В том же номере опубликован высочайший приказ об увольнении от службы «по приговору Полевого Уголовного Суда» Момбелли, Григорьева, Львова и о переводе Пальма тем же чином из гвардии в армию.

Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид...

«Русский инвалид» — газета официальная, с выраженным военным уклоном. Может быть, поэтому именно ей было доверено обнародовать сентенцию военного суда. («Северная пчела» перепечатает этот текст только на следующий день, 23 декабря.) Кроме того, у военной газеты имелись большие возможности для сохранения тайны. Конечно, и редакция, и типография «Русского инвалида», куда официальные материалы были доставлены скорее всего к исходу дня 21 декабря, могли быть потенциальными источниками слухов о помиловании. Но такая вероятность ничтожно мала, тем более что времени для «утечки информации» уже практически не было.

Ибо все совершалось в чрезвычайной поспешности. Из переписки начальствующих лиц — тех, кто отвечал за благополучное устройство дела, — можно заключить, что еще во вторник, 20 декабря, существовала некоторая неясность относительно даты исполнения приговора. Предпочтительно это должно было

быть 22 или 23 декабря. Но 21-го являет себя монаршья воля — завершить все в четверг, то есть на следующий день, «безоговорочно». Среди тех, кого военный министр А. И. Чернышев срочно извещает о предстоящей экзекуции, значится лицо, именуемое «его императорское высочество». Хотя имя адресата в копиях, которыми мы располагаем, опущено, догадаться, кто он, не составляет особого труда.

Это наследник престола, великий князь Александр Николаевич.

«Многие плакали...»

После смерти своего дяди, великого князя Михаила Павловича (похороны которого имели удовольствие наблюдать узники петропавловской цитадели), цесаревич унаследовал ряд его должностей. В том числе — командующего гвардейским и гренадерским корпусами. Поэтому военный министр принужден беспокоить именно его.

Итак, будущий император Александр II, тот, кто возвратит Достоевского из Сибири, вернет ему дворянство и разрешит поселиться в Петербурге, должен был озаботиться присутствием на Семеновском плацу вверенных его попечению войск, а также объявлением высочайшей воли. Очевидно, 21 декабря (этим числом помечено отношение военного министра) цесаревич уже знаком с окончательной редакцией приговора.

Великому князю Александру Николаевичу шел тридцать второй год. Он восемь лет состоял в браке и был хорошим сыном, мужем и отцом. Он усердно занимался порученными ему государственными делами, но при таком родителе, как император Николай Павлович, конечно, не мог и помыслить о какой-либо самостоятельной политической роли.

«...Он высокого роста, — пишет о цесаревиче наблюдавший его в 1839 году маркиз де Кюстин, — но, на мой вкус, полноват для своего возраста (Кюстин полагает, что великому князю двадцать семь лет, на самом деле ему в это время чуть больше двадцати. — **И. В.**), лицо его было бы красиво, если бы не некоторая одутловатость, размывающая его черты и придающая ему сходство с немцем...» По мнению маркиза, лицу великого князя предстоит претерпеть еще немало изменений, «прежде чем оно обретет свой окончательный вид. Ныне же это лицо, как правило, выражает доброту и благожелательность, однако контраст между смеющимися молодыми глазами и постоянно поджатыми губами выдает недостаток искренности, а может быть, и какую-то тщательно скрываемую боль». Автор добавляет, что цесаревич держится, как человек, который прекрасно воспитан и который, вступив на престол, «будет повелевать не с помощью страха, но с помощью обаяния, если, конечно, титул российского императора не изменит его характер».

Анна Федоровна Тютчева, фрейлина цесаревны, познакомилась с цесаревичем в 1853 году (то есть почти через пятнадцать лет после Кюстина). Долгие годы наблюдавшая его вблизи, она оставила свое описание великого князя: «Он был красивый мужчина, но страдал некоторой полнотой, которую впоследствии потерял. Черты лица его были правильны, но вялы и недостаточно четки; глаза большие, голубые, но взгляд малоодухотворенный; словом, его лицо было маловыразительно и в нем было даже что-то неприятное в тех случаях, когда он при публике считал себя обязанным принимать торжественный и величественный вид. Это выражение он перенял от отца, у которого оно было природное, но на его лице оно производило впечатление неудачной маски».

А. Ф. Тютчева говорит, что будущий Александр II обладал умом, который трудно назвать широким и просвещенным; зато «его сердце обладало инстинктом прогресса». Именно сердце, а не ум государя сделалось, по мнению Тютчевой, двигателем великих реформ.

О будущем Царе-Освободителе упоминает и автор «Вольности».

В 1834 году Пушкин присутствует на празднике совершеннолетия государя наследника. Он записывает в дневнике: «Это было вместе торжество государственное и семейственное. Великий князь был чрезвычайно тронут. Присягу произнес твердым и веселым голосом, но, начав молитву, принужден был остановиться и залился слезами. Государь и государыня плакали также. Наследник, прочитав молитву, кинулся обнимать отца, который расцеловал его в лоб и очи, и в щеки и потом подвел сына к императрице. Все трое обнялись в слезах».

Описывая сцену чувствительную, Пушкин старается сохранить видимую беспристрастность. Хотя, если рассматривать эту запись *как прозу*, в ней можно обнаружить почти нескрываемую усмешку, связанную главным образом с обилием проливаемых слез. Тем более что за месяц до этого, сообщая о грядущих по случаю совершеннолетия балах, Пушкин позволяет себе выразиться энергически: «Праздников будет на полмиллиона. Что скажет народ, умирающий с голода?»

Дальнейшее описание Пушкиным праздника способно лишь укрепить наши стилистические подозрения: «Присяга в Георгиевском зале под знаменами была повторением первой — и охолодила действие. Все были в восхищении от необыкновенного зрелища. Многие плакали, а кто не плакал, тот отирал сухие глаза, силясь выжать несколько слез». Сцена как будто прямо заимствована из «Бориса Годунова».

Штабс-капитан Львов говорит, что во время следствия князь Павел Петрович Гагарин будто бы пытался склонить его к сообщению «компромата» на великого князя. Это свидетельство звучит интригующе, но не вполне убеждает. Князь мог разуместь какое-то иное, пусть даже и очень высокопоставленное лицо. Вряд ли бы он отважился на династические намеки. Тем более что наследника престола менее всего можно было бы заподозрить в нелояльности к государю. Сын не давал ни малейших поводов для родительских подозрений. Но, с другой стороны, личное знакомство цесаревича с некоторыми из арестованных офицеров могло пробудить государственную бдительность князя. Через семнадцать лет, в 1866-м, Гагарин закончит свою карьеру в качестве председателя Верховного уголовного суда по делу Д. В. Каракозова. Не будет ли он пытаться «расколоть» подсудимого с помощью сходных приемов?

В свое время император Николай Павлович «задействовал» Сперанского и адмирала Мордвинова — тех, кого декабристы хотели бы видеть в составе будущего правительства, — в процессе по делу 14 декабря. Им была назначена роль следователей и судей. Но одновременно шла «разработка» и их самих. Нет сведений, что нечто подобное совершалось и в 1849 году. И вряд ли император Николай Павлович назначил любимого сына распоряжаться подготовкою казни из каких-то особо тонких политических видов. Командующий гвардейским и гренадерским корпусами должен был озаботиться этим по должности.

Великий князь, а затем государь Александр Николаевич на протяжении всей своей жизни вел дневник. Он до сих пор не опубликован. Высочайший автор, как правило, сдержан и лаконичен: он лишь фиксирует события, но при этом почти не комментирует их. Только иногда проглянет эмоция: «очень мило», «удивительный вечер», «славная ночь» и т. д. Довольно подробно означен круг чтения. В январе 1846-го, накануне выхода «Бедных людей», часто встречается: Михаил Виельгорский. В этом семействе вскоре появится сам автор *бестселлера*. Правда, его светский дебют будет не очень удачным: застенчивый повествователь упадет в обморок перед «русой красотой», что и отмечено в сочиненном по этому случаю пашквиле³⁸. «Тебя знает император», — сказано в том же послании. Возможно, это не только поэтическая метафора. Но в таком случае

³⁸ Подробнее о посещении Достоевским семейства Виельгорских-Сологубов см. в нашей книге «Родиться в России».

вполне вероятно, что о Достоевском слышал и наследник престола — хотя бы от того же графа М. Виельгорского.

Разумеется, нас больше всего интересуют записи за 1849 год. Поскольку автор дневника имел обыкновение сокращать едва ли не каждое слово, мы приводим эти тексты с возможными конъектурами.

23 апреля цесаревич записывает: «Утром не гулял читал бумаги <...> заговорщики в числе 30 все арестованы нынешней ночью. (Московского полка Момбели — и Егерского Львов и Пальм.) У Мама <нрзб.> в недоумении» (ГАРФ, ф. 678, оп. 1, д. 303, с. 38).

Судя по тону записи, арест «заговорщиков» не явился для великого князя большой неожиданностью. Он, очевидно, был осведомлен о готовящейся акции. Он называет имена арестованных офицеров: все они — из подчиненных ему гвардейских полков. Не совсем понятно, кто пребывал в недоумении «у Мама», но вряд ли это недоумение как-то связано с ночными событиями.

Как уже говорилось, весной и летом 1849 года, во время отсутствия императора в Петербурге, наследник престола «курирует» следствие. Он регулярно получает исчерпывающие отчеты о ходе допросов и показаниях арестованных. Но и позже, по возвращении государя, он не утрачивает интереса к процессу. О чем, в частности, свидетельствует запись от 23 сентября (помеченная Царским Селом): «...чай — читал (показания Болосогло) лег в 2 ч.».

Великий князь читает показания надворного советника, старшего архивариса Министерства иностранных дел, 35-летнего Александра Пантелеймоновича Баласогло: это удивительный документ.

Неудачник Баласогло

Четыре дня и четыре ночи в одиночной камере Петропавловской крепости он пишет историю своих злоключений. Он не ведет со следователями, как иные из его товарищей по несчастью, сложных стратегических игр. Он старается тронуть потенциальных читателей искренностью и простотой своего бесхитростного рассказа. Его собственная, описанная им не без таланта судьба обретает почти художественный интерес.

Баласогло простирает свое чистосердечие до того, что — за семь лет до рождения Зигмунда Фрейда — делится со следователями (мало подходящими на роль психоаналитиков) своими детскими страхами. Он вспоминает, как трех или четырех лет от роду, будучи поднесен к причастию, испугался бороды священника и никакими силами и угрозами его не могли заставить принять таинство³⁹. Его высекли и продержали без еды, на коленях, весь день. Не здесь ли следует искать истоки его либеральных идей в зрелые годы?

Сын вывезенного из Константинополя грека, дослужившегося до чина генерал-майора (но разоренного возвращением в казну растроченных не по его вине сумм), Баласогло-младший повествует о своей службе на Черноморском флоте в 1828 году, во время русско-турецкой войны, об отставке и долгих мытарствах в поисках места, когда он едва не поступил на службу в III Отделение, о своих стихотворных опытах и т. д. Особенно впечатляет картина, изображающая его титанические усилия по приведению в порядок архива Азиатского департамента Министерства иностранных дел, этих авгиевых конюшен российской дипломатии, где скопились дела «о Кавказе, татарах, калмыках, всей Средней Азии, Персии, Китае, Индии, Сибири, Русской Америке, Японии и вообще Восточного океана».

Баласогло женился по глубокому чувству, перед тем долго и безуспешно добиваясь руки своей избранницы, которая вопреки воле родителей тоже меч-

³⁹ Отважный рассказчик не страшится, что всё это члены Комиссии могут истолковать в мистическом духе: как свидетельство ранней одержимости автора бесом.

тала соединиться с ним. (Он один из немногих обремененных семейством участников дела.) Однако на «пятницах» в Коломне он горячо восстанет против браков, заключаемых по любви, полагая, что таковые обрекают страстных, но легкомысленных супругов на голод и нищету.

С немалым вниманием члены августейшей фамилии знакомились с теми местами двадцатичетырехстраничного сочинения Баласогло, где автор высказывает свои *рекомендации* царствующему монарху.

«И истину царям...»

«Я дерзал обсуждать,— говорит Баласогло,— и беспредельное добродушие самого государя императора, изумляясь, как он не видит, что под ним и вокруг него делается, и почему он никогда не удостоил спросить лично управляемых, каково им жить и существовать под своими управляющими, и не в публике, а наедине, каждое любое человеческое существо порознь, на что его величество имеет тысячи возможностей». Это заявление не могло не взволновать членов Следственной комиссии, и они приступят к автору исповеди с уточняющими вопросами: «Объясните, что такое, по вашему мнению, ускользало от внимания его величества и могло побудить вас к дерзновенному суждению о священной особе его величества».

«...Я изумлялся тому,— честно признается Баласогло,— как его величество, столь чадолюбивый отец своих подданных, не слышит тех ужасных раздирающих душу стонов, которыми преисполнен весь город, и в особенности в сословии бедных, притесняемых отовсюду чиновников, к которым я сам принадлежу». Но, мечтательно добавляет автор, «удостойся я же столь необыкновенной милости и счастья, чтоб его величество соизволил меня выслушать один на один, так чтоб никто кроме меня и его не знал о предмете разговора, конечно, я бы излил всю свою душу пред его священной особой точно так же доверчиво, как делаю это теперь, впрочем, вынужденный всей крайностью своего положения»,— с одушевлением завершает сын генерал-майора. Возможно, он питает тайную надежду, что описанное им randevu в конце концов может действительно состояться. (Разумеется, по инициативе царя.) И тогда уж, доставленный из своего каменного узилища в расположенные напротив, через Неву, царские покои, он сумеет тронуть сердце монарха чистотой помыслов и служением истине.

У него есть основания так полагать. Ибо его удивительные записки не в последнюю очередь вызваны одним обстоятельством, прямо относящимся до государя.

В упоминавшейся выше реляции Антонелли (той самой, на которой император оставил автограф «Переговорим») среди прочих персональных оценок содержится характеристика Баласогло. Антонелли весьма благосклонен к клиенту. Он не отрицает ни ума, ни образованности, ни даже учености того, на кого он сочиняет свой дружественный донос. Однако не считает возможным скрыть от начальства и то обстоятельство, что, преследуемый неудачами по службе и удрученный нуждой, Баласогло «ожесточился, подобно Буташевичу-Петрашевскому, против своей судьбы». Под гнетом своих неудач и начитавшись новейших западных бредней, «он потерял веру в Бога (вот как аукнулась детская боязнь священнойской бороды! — **И. В.**) и вообразил, что причиной всех его несчастий есть ныне существующий в России порядок вещей». Мало того: «Безумно упрекая в бесчувствии к положению подобно ему несчастных Государя Императора, он начал питать к Высочайшей Особе его какую-то задушевную вражду и не называл Его иначе как Богдыханом или Моголом, заботящимся единственно о самом себе». Так, походя, благожелательный автор навешивает на аттестуемое лицо обвинение тяжелого уголовного свойства. Ибо оскорбление величества вряд ли могло бы сойти Баласогло с рук.

При этом добросовестный Антонелли как бы желает подсказать власти некоторые смягчающие обстоятельства. «Имея жену и детей,— продолжает он свой бюллетень,— и не имея столько, чтобы прилично содержать их, упрекае-

мый каждую минуту женою за свою беспечность и не пользование своими способностями, к тому же человек здоровья чрезвычайно слабого, он до того сделался желчным, что бросил всякое попечение о всем, его окружающем и думал только о приведении в исполнение своих идей и убеждений». Именно против этой фразы (которая следует непосредственно после «могола» и «богдыхана») император изволил карандашом написать на полях: «Помочь им», — и генерал-лейтенант Дубельт, как положено, заверил эту августейшую маргиналию (ЦГВИА, ф. 801, ч. 1, св. 84/28, № 55, л. 11 об.).

Царь не зря озаботился участью семьи Баласогло. Во-первых, был повторен старый прием, оправдавший себя еще во время процесса декабристов⁴⁰, а во-вторых, как бы давалось понять, что император — выше личных обид. Арестованного главу семейства не замедлят известить о неожиданной милости. И он, подвижимый чувством признательности, сядит за свой искупительный труд.

Судьи в конце концов снизились к Баласогло. Была испрошена высочайшая воля, дабы освободить узника из-под стражи, вменив ему в наказание долговременное содержание в крепости. Государь, однако, рассудит иначе. 4 ноября он повелит определить Баласогло на службу в Олонецкую губернию, поскольку «за дерзость против своих начальников он, во всяком случае, подлежит ответственности и здесь оставаться не может». Под «дерзостью против начальников» могли подразумеваться также и «могол» с «богдыханом». Вместо торжественного привоза в Зимний дворец Баласогло отправили в ссылку.

Все это, однако, произойдет в ноябре. А пока, 23 сентября, наследник престола до двух ночи читает показания раскаявшегося недоброжелателя их семьи. Воспитанник Жуковского, цесаревич должен был по достоинству оценить чувствительный пафос этой автобиографической прозы. Любопытные тексты на сон грядущий рекомендует ему Папа.

«Утро по обыкновению...»

21 декабря цесаревич записывает в дневник: «Сумароков распоряжение об исполнении приговора над злоумышленником Петрашевским — читал <нрзб.> — я у Мари — в 1/2 5 обедал у Принца Ольденбургского — читал — отдыхал — <...> в 8 в цирке — в 10 — чай дома — катался <нрзб.> — читал — лег в 1».

Отсюда, помимо прочего, можно заключить, что наследник имел разговор или какое-то письменное сношение с генерал-адъютантом Сумароковым, который назавтра должен был огласить конфирмацию.

Будет ли автор дневника присутствовать утром следующего дня на другом впечатляющем зрелище? Человеку, заснувшему после полуночи, трудно подняться в столь ранний час. Да и по своему положению государю наследнику цесаревичу вряд ли надлежало там быть.

Наконец 22 декабря, в роковой для Достоевского день, заносится в августейший дневник: «Утро по обыкновению. В 9 на Семеновском плацу было исполнение приговора над обществом Петрашевского — в присутствии Сумарокова батальон Егерского полка — Московского и Дивизион Конно-Гренадерского: — избавление от смертной казни — У министра Чернышева — у Мама — <...> до 1/2 3 читал и отдыхал читал газеты — я у Мари — обед у Мама и Кати — <...> поехал в оперу, Don Juan — очень хорошо <...> читал газеты — до 3».

«Утро по обыкновению» — то есть утренний распорядок не был нарушен ничем. Оставался ли великий князь в Зимнем дворце? Или то, о чем он толкует, — свидетельство очевидца? Как бы то ни было, поименованы выведенные на площадь войска и указан замысленный результат («избавление от смертной казни»).

⁴⁰Так, помощь была оказана нуждавшейся семье К. Ф. Рылеева, что произвело на будущего смертника сильное впечатление.

Вечером великий князь с удовольствием («очень хорошо») слушает «Дон Жуана». А ночью до трех (что, может быть, косвенным образом свидетельствует о некотором беспокойстве духа) читает газеты, среди которых наверняка наличествует тот же «Русский инвалид», где истолковано дело.

В следующую ночь цесаревич закончит чтение газет много раньше — без четверти час.

К вопросу о виселице

31 января 1881 года, через три дня после смерти Достоевского, газета «Петербургский листок» с завидной оперативностью публикует первые воспоминания о покойном. Их автор, скрывший свое подлинное имя под криптонимом И. Ар-ев, утверждает, что познакомился с Достоевским в Петербурге в 1848 году и что «Федор Михайлович чуть ли не ежедневно ходил ко мне обедать». Тайственный воспоминатель (личность его до сих пор не установлена: среди близких знакомых Достоевского той поры не просматривается подобного персонажа⁴¹) утверждает, что он жил тогда в Коломне. «Однажды, — говорит И. Ар-ев, — приезжает ко мне Иван Петрович Липранди, производивший следствие по делу Петрашевского, и советует мне оставить квартиру в сказанном доме, потому что в нем живут, как он выразился, разные *революционеры*, и, следовательно, я могу тоже быть привлечен к следствию. Я отвечал ему на это, что не понимаю, за что привлекать меня по делу, которого я вовсе не знаю, а следовательно, в нем участвовать не могу. — “Все-таки советую выехать — спокойнее”».

Этот текст не может не вызвать некоторого недоумения. Во-первых, непонятно, в каких отношениях находились Ар-ев и Липранди и почему генерал почтил первого своим визитом. Во-вторых, Липранди никогда не вел *следствие* по делу Петрашевского, а занимался исключительно тайным полицейским сыском. И в-третьих, именно поэтому у него не было никакого резона уведомлять мемуариста как о своих секретных занятиях, так и о грозящих тому неприятностях. Трудно представить крайне осмотрительного Липранди в этой несвойственной для него роли.

В одно из своих «обычных посещений» Достоевский заметил у Ар-ева французское издание Евангелия (переданное тому, по его словам, в Москве знаменитым доктором Гаазом) и попросил на несколько дней одолжить ему эту книгу. Затем автора «Бедных людей» арестовали, судили и отправили в Сибирь. Ар-ева же через несколько месяцев после сего неожиданно пригласили к Дубельту, который осведомился у него, в каких он отношениях был с Петрашевским. Ар-ев воспроизводит следующий диалог:

«— Я Петрашевского не только не знал, но в жизни никогда не видел.

— Вы нагло лжете!

— Позвольте Вашему превосходительству доложить, что Вы не имеете никакого права меня оскорблять.

— Вы *никаких прав не имеете*; одно у Вас право — говорить правду!

— Я сказал правду.

— А это что?!!

И при этих словах Дубельт выдвигает ящик своего письменного стола и показывает мне французское Евангелие, которое взял у меня на несколько дней Достоевский в 1848 году, Евангелие, о котором я вовсе забыл.

⁴¹ Некоторой зацепкой для опознания являются заверения автора, что он москвич и был близок к семье П. А. Карепина, женатого на сестре Достоевского Варваре Михайловне. После смерти их отца, Андрея Михайловича Достоевского, Карепин является опекуном осиротевших детей. (Подробнее см. нашу книгу «Родиться в России».) Сам Ар-ев (или лицо, которое можно было бы с ним отождествить) не упоминается ни в одном известном источнике, и, уж во всяком случае, степень его близости с писателем — если только такая близость действительно имела место — сильно преувеличена.

Увидев Евангелие (с пометками на полях⁴²), Ар-ев, как мог, разъяснил дело, и они с Дубельтом расстались почти друзьями. После каторги автор «Мертвого дома» встретил будущего мемуариста и сообщил ему, что книга была взята у него Петрашевским без ведома временного ее хозяина.

Воспоминания эти, глубокомысленно замечает их нынешний комментатор, «важны для нас прежде всего тем фактом, что, посещая кружок петрашевцев и став революционером и атеистом, Достоевский продолжал читать Евангелие». Не говоря уже о том, что по меньшей мере наивно квалифицировать автора «Неточки Незвановой» в качестве «революционера и атеиста», никем еще не доказано, что, даже будучи таковым, нельзя интересоваться Священным писанием. (Кстати, находясь в крепости, Достоевский, как помним, просит брата прислать ему Библию — «оба завета», — что еще больше должно бы порадовать наших «новейших христиан».)

Но интересно другое. И. Ар-ев пишет: «Следствие о Петрашевском было кончено, и я узнал, что Достоевский приговорен к **повешению**». «Петербургский листок» не счел нужным поправить воспоминателя — современника Достоевского.

Странное дело: уверенность в том, что автору «Белых ночей» угрожала именно виселица все более укрепляется в общественной памяти.

5 марта 1879 года великий князь Константин Константинович (будущий поэт К. Р.) помещает в своем дневнике описание обеда, имевшего место быть у его двоюродного брата, великого князя Сергея Александровича (пятого сына Александра II, будущего «царя ходынского» — генерал-губернатора Москвы, растерзанного в 1905 году бомбой Каляева): «Я обедал у Сергея с Победоносцевым и Достоевским. Федор Михайлович мне очень нравится, не только по своим сочинениям, но и сам по себе. Я его расспрашивал про одно место в “Идиоте”, где описаны чувства приговоренного на казнь; я не мог понять, каким образом можно, не испытав, — так живо и ясно изобразить эти страшные ощущения. Достоевский сам был приговорен, его подвели к виселице...»

Прочитывая эти слова в нашей предыдущей книге, мы добавляем: «Следует подивиться малой осведомленности юного великого князя! Конечно, воспоминания о деле петрашевцев не принадлежат к числу “их” семейных преданий. Однако знать биографию почитаемого тобой писателя (особенно род перенесенной им казни) совсем не лишне. Тем более, если в его судьбе сыграли далеко не последнюю роль твои ближайшие родственники»⁴³.

Правда, «виселица» могла быть навеяна великому князю текущими политическими событиями. 1879-й — год смертного противоборства «Народной воли» с правительством, пик обоюдного террора, отмеченного чередой покушений и казней: главным орудием последних являлась петля.

Но вот свидетельство более позднего происхождения. Михаил Павлович Чехов, актер, вспоминает, как летом 1888 года он гостил у брата Антона на даче (на Украине, около Сум), где обретался также А. Н. Плещеев. (Он оказался одним из немногих, кто тепло встретил дебют будущего автора «Дамы с собачкой».) Все обитатели дачи, говорит М. П. Чехов, носились с пребывающим уже в «совсем преклонных годах» литератором (Плещееву, кстати, было тогда шестьдесят три года), «как с чудотворной иконой».

«Громадное впечатление на слушателей, — замечает М. П. Чехов, — производил рассказ Плещеева о его прикосновенности к делу Петрашевского. В 1849 году он был схвачен, посажен в Петропавловскую крепость, судим и приговорен к смертной казни через повешение. Уж его вывезли на позорной колеснице на Семеновский плац, ввели на эшафот, надели на него саван, палач уже стал при-

⁴² Не вполне ясно, кому принадлежали эти пометки — Гаазу, Достоевскому, Петрашевскому или самому Ар-еву. Сам он был найден по его имени, которое значилось на Евангелии.

⁴³ Игорь Волгин. «Колеблясь над бездной. Достоевский и русский императорский дом». М., 1998, с. 314—315.

лаживать к его шее петлю, когда руководивший казнью офицер вдруг крикнул ему: “Вы помилованы”. И действительно, прискакавший курьер объявил, что Николай I, в своей “безграничной” милости, “соизволил” заменить ему смертную казнь ссылкой в Туркестан и разжалованием в рядовые».

Как всякому мемуаристу, М. П. Чехову можно простить мелкие неточности. Например, Плещеев никак не мог быть «разжалован» в рядовые, ибо не служил ни по военной, ни по гражданской части. По высочайшей конфирмации его, как помним, сослали в Оренбургские линейные батальоны. Но вот картина того, как на шею несчастного Плещеева прилаживали петлю, могла бы вызвать у слушателей некоторые вопросы к поэту. Впрочем, возможно, сам он не погрешил против истины, а висельные подробности следует оставить на совести мемуариста. Плещеев скорее всего говорил об имевших место столбах: актерское воображение М. П. Чехова смогло дорисовать остальное.

«Достоевский пошел на виселицу...» — много позже запишет в своих дневниках Вацлав Нижинский.

Виртуальная виселица вот уже полтора века маячит над Семеновским плацем. Явление объяснимо: в России, как сказано, никогда не производилось публичных расстрелов. (Если исключить недавние шариатские — в мятежной Чечне.) Практически более не было и публичных расстрельных инсценировок. Были повешены декабристы; виселицы удостоился в 1866-м Дмитрий Каракозов; петля была надета на помилованного в последний момент Николая Ишутина⁴⁴. На виселицу взошли первомайцы в 1881-м и их последователи (участники «второго первого марта») — в 1887-м. К большинству политических преступников в России применялся именно такой способ лишения живота. Немудрено, что в этот ряд вписываются и жертвы 1849 года. По законам мифа частное заменяется общим: так побеждает фантом Достоевского — в рамках того же мифа — секут на каторге. (Как, например, и «ушедшего в народ» старца Федора Кузьмича.) Но можно сказать, что будущий автор «Бесов» и тут как в воду глядел: в XX веке расстрел «политических» станет *рутиной*.

«И за дверями хохотал Нерон...»

Русская словесность отзовется на событие многозначительно и глухо.

В 1851 году «несостоявшийся типограф» Аполлон Николаевич Майков (всё еще по своей прикосновенности к делу находящийся под секретным надзором) пишет лирическую драму «Три смерти». Ее герои — поэт Лукан, философ Сенека и эпикуреец Луций, замешанные в своего рода «интеллектуальном заговоре», приговорены императором Нероном к смерти.

«Входит *центурион* со свитком в руке. <...>

Лукан <...> вырывает свиток и читает декрет, в котором между прочим сказано, что Цезарь, в неизреченной милости своей, избавляет их от позорной казни, дарует им право выбрать род смерти и самим лишиться себя жизни; сроку до полуночи. *Центурион* обязан наблюдать за исполнением декрета и о последующем донести.

Люций. Недурен слог. Писать умеют.
Лукан. Злодей! Изверги!
Люций. Притом
Приличье тонко разумеют —
Что одолжаться палачом
Неблагодарно человеку...»

Аналогия, конечно, весьма условна. Император Николай не будет утруждать своих жертв поиском смертных альтернатив. Им не придется вскрывать се-

⁴⁴ Подробнее см. нашу книгу «Последний год Достоевского», гл. «Свидетель казни» и др.

бе вены — дабы без лишних хлопот перейти в мир иной. Российский император сам соизволит выбрать для них род казни — к счастью, не самый мучительный. Но он тоже пошлет своих центурионов — «наблюсти» за поведением казнимых.

Нерона можно было ругать в подцензурной печати: он был гонителем христиан.

В 1854 (или 1855) году поэт Лев Александрович Мей пишет небольшую поэму — тоже «из римской жизни» — под названием «Цветы». В поэме есть знаменательный эпизод. Тот же император Нерон читает на пиру стихи собственного сочинения. Один из гостей (по происхождению германец), убаюканный мерным звучанием чуждого ему латинского метра, неосмотрительно засыпает. Император как будто бы не в обиде: он весело смеется и приглашает присутствующих на очередной пир. Во время застолья кесарь в сопровождении свиты неожиданно выходит из зала. Над пирующими разверзается потолок — и сверху «дождем неудержимым» начинают сыпаться цветы.

Их сотня рук с потухших хор кидает
Корзинами, копнами; аромат
Вливает в воздух смертоносный яд;
Клокочет кровь, и сердце замирает
От жара и несносной духоты...
И падают, и падают цветы...
Напрасен крик пирующих: «Пощады!
Мы умираем!» Падают цветы —
Пощады нет: все двери заперты;
Потухли всюду пирные лампы...
В ответ на вопль предсмертный и на стон
В железных клетках завывали звери,
И за дверями хохотал Нерон.

Способ, избранный августейшим песнопевцем для умерщвления неблагодарных сограждан, свидетельствуют как о воображении автора, так и о его утонченном эстетизме. (В свете чего строчка другого — позднейшего — поэта: «Ранить может даже лепесток», — представляется еще более убедительной.) Но Нерон, как всякий настоящий артист, любит неожиданные развязки.

Еще мгновенье...
Растворились двери —
Великодушный кесарь забывал
Обиду, нанесенную поэту...

Император — это всегда *deus ex machina*: и в Риме, и в Петербурге.

Мей, сам бывший лицеист, если верить П. П. Семенову-Тянь-Шанскому, пощещал Петрашевского. Он не попал в поле зрения властей, не привлекался к следствию и суду и соответственно не стоял на эшафоте. Но все это он мог с легкостью вообразить. Конечно, его «Цветы» не есть непосредственный отклик на происшествие: побудительные причины могут быть совершенно иными. Однако не может не обратить внимание приверженность теме.

Незадолго до смерти, в 1861 году, Мей пишет еще одно стихотворение «антологического» рода — «Обман». Римский торговец Кай обманывает покупательницу Фаустину, которая оказывается супругой кесаря Галлиена. Венценосный супруг велит отдать незадачливого продавца на растерзание львам.

Вот на сглаженном песке
В предчувствии последних мук, в тоске,
Стоит преступник сам на трепетных коленях.
Последней бледностью оделось чело,
Последняя слеза повисла на реснице...

Несчастный ожидает неминуемой смерти: вот-вот на арену будут выпущены голодные хищники.

...римский произвол,
Казня, не миловал... Еще одно мгновенье —
И дрогнул цирк, и, заскрипев, снялась
С заржавленных петель железная решетка,
И на арену вылетел — каплун...

«...Римский произвол, казня, не миловал...» О петербургском произволе вряд ли можно сообщить что-то другое. Однако бывают исключения: в тех случаях, когда кесарь изволит шутить.

«Все в жизни прах и тлен,
Отцы-сенаторы! — промовил Галлиен,
Зевнув и выходя с супругою из ложи.—
Он обманул — ну вот и сам обманут тоже».

«И только-то!» — мог бы сказать главный злоумышленник 1849 года, оказавшись он на месте несчастного Кая.

Глава 20. АНГЛИЙСКИЙ СЛЕД

Тайная сделка

И еще одна, казалось бы, весьма далекая от петербургских событий, история сопутствует делу петрашевцев, в особенности — его развязке. О ней, сколь это ни покажется странным, вообще нет упоминаний в литературе: во всяком случае, в данной связи. Ее никогда не сопрягали с исходом судебного разбирательства. Речь между тем идет о скрытых мотивах, благодаря которым смертная казнь не смогла совершиться.

Ибо, помимо чисто политических причин, подвигнувших императора помиловать злоумышленников, существовали резоны сугубо экономического свойства.

Это станет вполне очевидным, если мы обратимся к английским газетам за январь 1850 года.

Славно, однако, что рачительные библиотекари Румянцевского музея выписывали британскую прессу! Еще славнее, что, несмотря на пережитые нами катаклизмы, которые, как можно догадаться, не способствовали сохранению старых газет (а тем более британских), полуторавековой давности подшивки все же наличествуют в главном газетном хранилище страны. Правда, вынесено хранилище едва не за пределы Москвы — надо полагать, для того, чтобы отделить глубину времени величиною пространства. И любознательный москвитянин может при желании скромно полистать их в своем читательском далеке.

Было бы не вполне справедливо утверждать, что газеты эти требуют слишком часто: утешительно уже то, что они есть.

Итак, 14 января (2 января по ст. стилю) 1850 года в ежедневной газете «Глоб» появляется следующее сообщение⁴⁵:

«Русский займ в 5 500 000 фунтов стерлингов для завершения строительства железной дороги из Санкт-Петербурга в Москву был официально заявлен вчера господами братьями Беринг и К^о. Проценты по акциям должны составить 4 1/2%, цена акции 93 ф. ст., очередные взносы должны производиться в течение шести месяцев».

Из этой газетной информации можно, помимо прочего, извлечь одну любопытную подробность. Сообщение о займе было официально обнародовано «вчера», то есть 13 января (1 января по ст. стилю). От дня «условного расстреливания» на Семеновском плацу протекло чуть больше недели.

Разумеется, «Глоб» ни единым намеком не связывает получение Россией крупного английского займа (факт сам по себе достаточно сенсационный) с недавним происшествием в Северной Пальмире. Газета лишь напоминает читателям, что единственный займ, доселе полученный Российской империей у владычицы морей, имел место в 1822 году и составлял 6 629 166 фунтов стерлингов.

Все долгое лето 1849 года, когда Достоевский и его товарищи по несчастью томятся в крепостных казематах, русское правительство с необыкновенным тщанием занимается поиском свободных капиталов на Западе. Император Николай Павлович лично курирует «переговорный процесс».

⁴⁵ Все цитируемые ниже выдержки из английской периодики приводятся впервые.

Незадолго до обнародования сообщений о займе, в декабре 1849-го, обретающийся в Париже Александр Иванович Герцен получает пренеприятнейшее известие. Он узнает, что император Николай, дабы чувствительнее покарать ослушника-невозвращенца, распорядился наложить запрет на имущество и капиталы его матери, Луизы Ивановны Гааг, которой отец Герцена, И. А. Яковлев, умирая (и, видимо, желая искупить *грех*), оставил приличное состояние. Между тем предусмотрительный изгнанник уже успел обратиться в Париже к барону Ротшильду, дабы тот разменял принадлежащие Луизе Ивановне билеты московской сохранной казны. Барон без лишних сомнений принимает билеты и платит Герцену звонкой французской монетой — по курсу. Затем, в свою очередь, начинает требовать оплаты билетов у своего русского контрагента — одного петербургского банкира. Тот в смятении отвечает, что произошла некоторая заминка: «...Государь велел остановить капитал по причинам политическим и секретным».

«Я помню, — говорит Герцен, — удивление в Ротшильдовом бюро при получении этого ответа. Глаз невольно искал под таким актом тавро Алариха или печать Чингисхана. Такой шутки Ротшильд не ждал даже и от такого известного деспотических дел мастера, как Николай».

Барон Джемс действительно не любил подобных сюрпризов. Он был взбешен. Он пригрозил дать огласку этому делу и таким образом остеречь наивных европейских банкиров, которые по свойственному им простодушию доверяют русским ценным бумагам. («Казацкий коммунизм чуть ли не опаснее луи-блановского», — подначивал меж тем «царя иудейского» умница Герцен.) Ротшильд велел, чтобы его контрагент в Петербурге незамедлительно потребовал аудиенции у министра иностранных дел и министра финансов и заявил им, что он, Джемс Ротшильд, «советует очень подумать о последствиях отказа, особенно странного в то время, когда русское правительство хлопочет заключить через него новый заем».

Это была откровенная и, главное, очень действенная угроза. Но хотелось бы сказать и о сцеплении мировых обстоятельств.

Ибо выясняется, что к закулисной игре вокруг столь необходимых России субсидий прикосновенны не только узники Петропавловской крепости. В игру вовлечен также один из крупнейших финансовых королей. С его субъективными пожеланиями русскому правительству приходится считаться не в меньшей степени, чем с общественным мнением «всей Европы».

Капитал, как водится, победил. «Через месяц или полтора, — сардонически пишет Герцен, — тугой на уплату петербургской 1-й гильдии купец Николай Романов, уstraшенный конкурсом и опубликованием в “Ведомостях”, уплатил, по высочайшему повелению Ротшильда, незаконно задержанные деньги с процентами и процентами на проценты, оправдываясь неведением законов, которых он действительно не мог знать по своему общественному положению».

Надо полагать, аккуратный барон тоже выполнил взятые на себя посреднические обязательства.

Долгие конфиденции русского правительства с лондонскими банкирами завершились — очевидно, не без прямого содействия Ротшильда (и косвенного участия Герцена) — полным успехом.

No quollet⁴⁶! (Сенсация в британской прессе)

«Никакая тема, которую мы могли бы затронуть, — восклицает 15 января газета “Сан”, — не представляет столь срочного и всеобщего интереса, как предстоящий русский займ, который Император в своем крайнем снисхождении сделал понятным “для самых посредственных умственных способностей”».

⁴⁶ <Деньги> не пахнут (*лат.*).

Впрочем, вряд ли подобная сделка могла бы состояться без явного или тайного одобрения правительства ее величества. И персонально — британского министра иностранных дел лорда Пальмерстона.

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.

Эти бессмертные строки (которые в целях отражения действительных или мнимых внешних угроз очень любят приводить отечественные публицисты) облетят Россию лишь с началом Крымской войны.

«Так кончайте же скорее!» — бросит Пальмерстон русскому послу в Лондоне Бруннову, узнав о намерении России вмешаться в австрийские дела. Когда 15 сентября 1849 года венгерские повстанцы сложат оружие (о чем, как уже говорилось, жители русской столицы будут оповещены громом крепостных пушек), главный английский дипломат поздравит русского императора с победой, заметив при этом: «Должен признаться, я рад, что все завершилось, хотя все наши симпатии на стороне венгров...»

Правительство Изумрудного острова всегда умело подчинять приватные чувства соображениям высшей государственной пользы. В отличие, скажем, от правительства российского, которое отнюдь не корысти ради, а исключительно из врожденного благородства ринется спасти одну из участниц Священного союза. Вена ответит на эту *братскую помощь* черной неблагодарностью в дни Крымской войны.

В 1849 (и 1850) году у Сен-Джемского кабинета нет ни малейшей охоты ввязываться в русские дела. Ни один голос не раздастся с берегов Темзы в защиту только что осужденных в Петербурге политических диссидентов. (Правда, об их судьбе Европа узнает из русских официальных уст: все остальные сведения окажутся, как мы убедились, сбивчивы и недостоверны.) Британскую прессу мало волнуют внутренние проблемы России. Ее занимает другое.

«...Сомнительно, — пишет 30 января 1850 года “Дейли ньюс”, — позволяют ли противоречивые обстоятельства Императору Николаю... в дальнейшем воздержаться в отношении соседей от открытых агрессивных действий, от которых его страну заставляют воздерживаться как национальные интересы, так и верность договорам». За несколько лет до открытого вооруженного столкновения с Россией газета догадливо указывает на одно из главных направлений русской экспансии — то самое, которое поведет вскоре к севастопольской катастрофе.

«Существуют, — продолжает “Дейли ньюс”, — серьезные свидетельства агрессивных намерений Императора Николая в отношении Турции на эту весну. Наши последние корреспонденции упоминают о повсеместных военных приготовлениях в империи в самом широком масштабе и об армии в 200 000 человек в Молдавии, Валахии и Бессарабии на турецкой границе. Деньги, которых не хватало, чтобы привести в действие эти войска, — заключает газета, — предоставила наша Биржа».

Либеральная «Дейли ньюс» категорически против займа. Но почему правительство ее величества потворствует сомнительной сделке? Тем более что молодая королева, которая процарствует более полувека и чье имя сделается символом целой эпохи, не отличается особой любовью к России.

У Англии, как известно, нет друзей и врагов: у нее есть национальные интересы⁴⁷. Еще весной 1848 года, то есть в самый разгар европейских смут, Пальмерстон писал британскому послу в Петербурге — дабы тот довел его слова до

⁴⁷ Аналогичное по смыслу высказывание Пальмерстона осудительно процитировал в новейшие времена братолюбивый творец перестройки: извечной буржуазной корысти должен был победительно противостоять новейший коммунистический сентиментализм.

сведения русского министра иностранных дел: «...В настоящее время Россия и Англия — две единственные европейские державы, за исключением одной Бельгии, устоявшие на ногах и <...> им следует с доверием относиться друг к другу».

Опасаящаяся державных поползновений России, но не в меньшей степени уstraшенная событиями на континенте, Англия не желает вступать в конфронтацию с империей Николая. Теперь, когда европейская революция была уже позади, британское правительство опасается рецидивов — включая распространение этого пожара на просторы России. Открытие заговора в Петербурге свидетельствовало о том, что русское правительство ситуацией владеет. И при этом рассчитывает на корпоративную солидарность. Россию следовало поощрить — хотя бы в экономическом смысле.

Император Николай умело разыграл *петрашевскую* карту.

Однако, сколь это ни покажется странным, «английский след» в петербургских событиях можно обнаружить и раньше. Тут необходимо одно отступление.

Подданная королевы

Как помним, за восемнадцать лет перед тем, 23 июня 1831 года, император Николай Павлович указал толпе, собравшейся на Сенной, на возможных виновников случившихся в Петербурге бесчинств. Оказывается, это поляки и французы мутят воду и *подучают* народ, который вследствие этого впадает в буйство и совершает множество непотребств. Другие нации, могущие смутить народную нравственность, поименованы не были.

В деле 1849 года практически отсутствуют какие-либо намеки на явные или скрытые иностранные происки. (За исключением, разумеется, общих официальных сентенций о пагубном влиянии Запада.)

В одном из своих докладов Перовскому Иван Петрович Липранди говорит, что, будучи служащим Департамента внутренних сношений Министерства иностранных дел и пользуясь большой доверенностью начальства, Петрашевский «имеет у себя в квартире множество дел для обработки, которые относятся к Французским, Германским и Царства Польского подданным, а это самое ставит их в некоторую от него зависимость и доставляет ему благовидный случай сообщаться с ними и искать связей и содействия к достижению цели, к которой он постоянно стремится». Начальство, однако, не оценило этот намек. У следователей хватило ума *не шить* главному фигуранту процесса еще шпионаж или на худой конец обвинять его в предосудительных связях с иностранными подданными: разительный контраст со следственной практикой более памятных нам времен.

И все же в ходе процесса 1849 года возникает один эпизод, который, получи он развитие, мог бы направить правительство на поиск тайной заграничной руки. Причем рука эта оказалась бы сугубо английского происхождения.

15 июля заключенный Толстов (тот самый, который выкажет сверхискреннее раскаянье, так тронувшее государя) пишет записку другому заключенному — семнадцатилетнему Борису Исааковичу Утину.

«Утин! Еще за это голову с вас не снимут. Скажите откровенно, откуда пошла молва о бунте в Москве. Пожертвуйте вашими сердечными обстоятельствами — это и мне и вам послужит в пользу».

Обратим внимание. Записка Толстова — это не конспиративная весть: из камеры в камеру. Это вполне легальный документ, врученный Толстовым членам Следственной комиссии и аккуратно доставленный ими по назначению — удивленному, надо полагать, адресату.

Толстов призывает Утина не записываться и мужественно открыть следователям свои «сердечные обстоятельства». Очевидно, тут замешана женщина.

В тот же день, 15 июля, Комиссия приступает к Утину, дабы узнать от него сокрытые им подробности:

«<Вопрос.> Против предъявленной вам при сем записки от студента Толстова о том, чтобы вы сказали откровенно, откуда пошла молва о бунте в Москве, имеете ли вы дать полное и откровенное показание».

Спрашиваемый с готовностью отвечает, что он «слышал о бунте от одной девчонки англичанки Марии Бернс, которая жила на Галерной улице в доме Пушкина в 4-м этаже, вход с улицы». Указав эти важные топографические подробности, подследственный добавляет, что англичанка сказывала ему, будто она была у некоего знатного лица, когда к тому кто-то пришел и сообщил о начавшемся бунте — правда, не в самой Москве, а во внутренних губерниях. Сама же она была в это время «спрятана» (в другой комнате? за портьерой? в шкафу?) и таким образом слышала весь разговор.

«Я ждал этого вопроса, — признается следователям Утин, — но предварительно не делал показаний об этом, чтобы не замешать сюда молодую девушку, которая в этом деле несколько не причастна...» Сообщил же он об этом только Толстову — «и то сказал ему об этом как об неосновательном слухе, именно потому, что слышал его от девчонки».

Господа следователи отнеслись к сообщению Утина с полной серьезностью. Тем более что в их руках теперь оказались сведения положительные: имя и точный адрес. 23 июля «для разъяснения сего обстоятельства» генерал Набоков обращается к генералу Дубельту с просьбой, «немедленно *арестовать* девицу Бернс» и допросить ее — «когда, в каком доме и у какого именно знатного лица говорено было о бунте во внутренних губерниях и, отобравши от нее показание, доставить в Комиссию». Ввиду иностранного происхождения арестуемой для ее задержания избран опытный офицер. Неясно, правда, знает ли он английский язык.

Но подполковнику Брячкину на сей раз не повезет. 25 июля он не без грусти уведомляет начальство, что данное ему предписание осталось неисполненным, поелику в отысканной им квартире под номером тридцать пять «живет около пяти лет англичанка не Бернс, а Бунн, женщина за 50 лет, занимающая три чистых комнаты и принимающая к себе постояльцев обоюбого пола». Разумеется, это почтенная дама, которая, по словам подполковника, «средства к содержанию себя имеет будто бы от капитала, находящегося в кредитных установлениях», мало напоминает «девчонку», способную подслушивать частные разговоры, будучи с визитом у знатных особ.

Однако встретившиеся оперативные трудности лишь подвигли *компетентные органы* на дальнейшие поиски, ход которых до нас, к сожалению, не дошел. Очевидно, вновь был допрошен Утин, которому пришлось кое-что уточнить. Во всяком случае, следует новое распоряжение — арестовать уже не госпожу Бунн, а ее племянницу, «живущую с нею вместе Марию Бернс или похожую на это фамилию».

Фамилия действительно оказалась «похожей». 29 июля Дубельт с удовлетворением сообщает Набокову, что подлежащее аресту лицо наконец-то отыскано и им «оказалась девица Мария Варн».

Впрочем, в III Отделении Мэри Варн долго не задержалась.

Ниже мы публикуем весьма выразительный документ, озаглавленный так: «Вопросы, предложенные Великобританской подданной девице Марии Варн, и ее ответы. 27 июля 1849». Это, пожалуй, самый лапидарный из всех мыслимых протоколов — большего немногословия со стороны *потерпевшей* трудно вообразить.

«Известен ли вам студент, купеческий сын Борис Утин?» — осведомляются следователи. «Yes», — твердо отвечает девица Мария Варн.

«Говорили ли вы ему, что в Москве бунт начался из внутренних губерний и что вы это слышали от одного знакомого лица?» — продолжает интересоваться Комиссия. «No», — следует не менее твердый ответ. После чего англичанка ставит автограф: Marie Warne.

Этим, собственно, и завершается дело. Вероятно, его неосновательность была настолько очевидна для следователей, что они даже не сочли нужным дать Утину и его подруге очную ставку.

Среди фантазмагорических бредней толстовско-катеневского кружка эта одна из самых бредовых. Помимо прочего, здесь обнаруживается немалая толика чисто мальчишеского бахвальства. Утин дает понять Толстову, что он находится в тесной, дружеской, если не интимной связи с молодой иностранкой, которая доверяет ему большие секреты. Это не какая-нибудь Веревкина, романом с которой может похвастаться вздорный Катенев, а натуральная англичанка, принятая к тому же в самых хороших домах (у «знатных лиц»). То, что «девчонка» (этим небрежным обозначением Утин, возможно, желает усыпить бдительность следователей) всего лишь племянница хозяйки меблированных комнат, от Толстова скорее всего скрывается. Тайственная, возможно, и аристократического происхождения иностранка, благоволящая юному Утину, — сильный козырь в его руках. Она потребна ему как для личного самоутверждения, так и для придания авторитетности тем сведениям, которые «транслируются» Толстову. Ибо очень похоже, что всю информацию о «бунте в Москве» Утин взял из собственной головы⁴⁸.

Хороши, однако, и сами арестованные приятели. Зная о «сердечных обстоятельствах» (истинных или мнимых) своего друга, Толстов фактически *закладывает* его Комиссии. Со своей стороны Утин, судя по всему действительно расположенный к Варн, с легкостью необыкновенной сообщает о ней сведения, которые в случае, если бы они подтвердились, могли причинить британской подданной много существенных неудобств.

Трудно вообразить, например, декабриста Анненкова, «подставляющего» Полину Гебль. Или, скажем, Андрея Желябова, компрометирующего своими чистосердечными показаниями даже не Софью Перовскую, а просто каких-то оставшихся на свободе лиц. Напротив, в той среде, где обретаются Утин, Катенев, Толстов, предательство не почитается чем-то постыдным. Дух «бесовства» уже поселился в этом кругу. Ради собственного спасения допускается жертвовать репутацией, а может, и свободой других.

...Достоевский никогда не узнает о деле Марии Варн. Наверное, оно бы заинтересовало автора «Бесов»: в первую очередь нравственная подоплека сюжета. Да и сама «английская тема» была безразлична ему. Англичане и англичанки — одна из его немногих, но стойких европейских симпатий. (Стоит вспомнить «Зимние заметки о летних впечатлениях» или образ мистера Астлея в «Игроке».)

⁴⁸ С другой стороны, не послужили ли причиной обращения Толстова к Утину с просьбой открыть источник его информации следующие *увещевания* Петрашевского уже самому Толстову, сделанные при посредстве все той же Следственной комиссии: «Прошу вас, г. Толстов, объявить, не скрывая истины, от кого вы именно слышали о бунте, *“идушем откуда-то из глубины России”*». «...Будьте спокойны, — продолжает Петрашевский, — за сие ничего не будет, говорите истину и, если кого можете, предупредите (то есть укажите источник, что Толстов и сделал, обратившись к Утину? — **И. В.**), как я вас предупреждаю — и этим и мне, быть может, сделаете весьма большое одолжение». (Показания 5 июля 1849.) Следует добавить, что в этот момент Петрашевский был фактически сломлен и находился в очень тяжелом психологическом состоянии.

Но Россия не лучшее место для свободолюбивых британцев. В «Униженных и оскорбленных» появится несчастная Нелли Смит, которая, как и ее дед-англичанин, гибнет в ледяном Петербурге. Остается надеяться, что Марию Варн не постигла эта судьба.

Надо сказать, что ей вообще повезло. Бумаги, отобранные у нее при аресте, оказались совершенно невинного свойства: выкройки, письма от матери, любовные записки и т. д. Среди последних вполне могла обнаружиться и утинская, но, даже если это и так, ее, видимо, не сочли нужным приобщить к делу.

На этом обрывается «английский след». Иностранная карта осталась неразыгранной: век шпиономании был еще впереди. Не последовало также дипломатических осложнений, которые могли бы быть вызваны вовлечением в дело подданных иностранных держав. Британское присутствие явило себя иначе: Россия получила столь желаемый ею английский кредит.

«Что там? Толпа мертвецов!»

Известно, что указ о займе был подписан императором Николаем 9 декабря 1849 года (21 декабря н. ст.). Кому и зачем потребовалась задержка с его публикацией — более трех недель?

Ответ на этот вопрос не покажется странным, если попытаться синхронизировать события — в Лондоне и в Петербурге.

В день подписания указа, 9 декабря, генерал-аудиториат еще продолжает свои труды. Император Николай Павлович еще не конформировал приговор. Никто ни в России, ни в Европе официально не извещен не только об итогах расследования, но и о самом существовании дела.

Если бы займ был «официально заявлен» до оглашения приговора, это могло бы вызвать на бирже нежелательную для России реакцию. Слухи о «русском заговоре», которые, как мы убедились, все же проникали на страницы европейской печати — причем в самый разгар дискуссии о весьма деликатной финансовой сделке, вряд ли могли споспешествовать успеху переговоров. Политическая стабильность России и, следовательно, ее финансовая надежность ставились этими толками под сомнение.

Обнародование займа *после* публикации правительственного сообщения о ликвидации заговора в Петербурге было выгодно обоим партнерам.

Во-первых, подтверждалась неизбежность того режима, который решились кредитовать братья Беринг. Во-вторых, покушение на этот режим представлялось малозначительным и случайным. И, наконец, британской общественности давалось время не только адаптироваться к новости из Петербурга, но и по достоинству оценить великодушие императора Николая, в отличие от иных европейских монархов отказавшегося казнить своих политических оппонентов.

Очевидно, и в Зимнем дворце, и в Сити сочли, что десяти дней, протекших между Семеновским плацем (3 января 1850 г. н. ст.) и обнародованием займа (13 января 1850 г. н. ст.), окажется достаточным, чтобы Европа переварила первую новость.

Впрочем, государь недаром не жаловал свободную прессу. Сообщение о займе произвело скандал.

Почему, казалось бы, обычная сделка (пусть даже и государственного масштаба) вызывает недовольство и подозрения?

По мнению автора газетной статьи, опубликованной в «Сан», взаимное англо-русское лицемерие состоит в том, что ссужаемые России деньги предназначаются вовсе не для строительства С.-Петербургской железной дороги, как о

том заявлялось публично. То есть вполне возможно, что иностранные капиталы действительно потребны для оплаты строительных нужд. Но только потому, что ранее изысканные русским правительством средства ушли «на покрытие расходов беззаконной войны в Венгрии».

Чу! восклицанья слышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!

Жаль, что автор этих стихов в своих поэтических обличениях не учел «венгерский» аспект.

Меж тем строительство знаменитой магистрали началось задолго до венгерских событий. Давно дебатлируемый проект стал обретать реальные очертания в тот исторический миг, когда, согласно легенде (впрочем, в силу своей игривости не заслуживающей уважения), государь Николай Павлович приложил линейку к карте империи и провел между древней и новой столицами линию удивительной прямизны. Столь же малодостоверна и версия, будто некоторое отклонение от абсолютной прямой было допущено лишь потому, что на пути державного карандаша случился упертый в отечественные болота августейший же палец. (В этой же связи можно было бы и переосмыслить стих о поражающем Русь указательном персте, если, конечно, сообщить слову «поражает» оттенок восхищения.)

«Ваше величество,— сказал государю удостоенный высочайшей аудиенции австрийский профессор Фриц-Отто фон Герстнер,— осмелюсь обратить ваше внимание на Соединенные Штаты. Тамошние жители нашли свое спасение от расстояний в железных дорогах».

Для славной своим бездорожьем Российской Империи «спасение от расстояний» мнилось еще более необходимым. Ревнитель технического («железного») века профессор Герстнер рисовал перед просвещеннейшим из феодальных владык захватывающую картину. Чугунные рельсы в его прожечках связуют не только Петербург и Москву — они устремляют свой бег к Нижнему Новгороду и Казани. «Сим скорым, дешевым и надежным сообщением азиатская торговля была бы упрочена для России и удалила бы сильное совместничество Англии», — почтительно внушает государю пылкий профессор механики, не ведающий о том, что именно английские деньги будут востребованы в конце концов для завершения первой части этого грандиозного плана. Но самым положительным доводом в пользу скорейшего соединения двух столиц оказалась для императора Николая гипотетическая возможность переброски через двадцать четыре часа после объявления военной тревоги пяти тысяч солдат пехоты и пятисот человек кавалерии — со всеми полагающимися по штату пушками, припасами и лошадьми — из одной географической точки в другую. В качестве образца и примера профессор Герстнер вновь указывал на Британские острова, где «тамошнее правительство во время беспокойств в Ирландии в два часа перебросило войска из Манчестера в Ливерпуль для следования в Дублин».

Подобные перспективы были куда заманчивей тех, что принимались в расчет при сооружении «придворной» железной дороги: из Петербурга в Царское Село. До ее торжественного открытия (30 октября 1837 года — кстати, в день, когда Достоевскому исполнилось ровно 16 лет) самую малость не дотянул первого выпуска лицеист, одоббивший, в общем, самую идею, но мысливший, чтобы она обратилась прежде всего во глубь России. «Дорога железная из Москвы в Нижний Новгород, — писано князю В. Ф. Одоевскому (эпиграфом из которого через десять лет украсятся «Бедные люди»), — была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург <...> и мое мнение, было бы с нее начать».

Вопрошавший судьбу:

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком

и не упомянувший — за их отсутствием в России — иных способов передвижения, автор письма, очевидно, не против дополнить свои «Дорожные жалобы». Он не усматривает в грядущих новшествах потенциальных опасностей. (Еще не скоро явятся влекомые на рельсы герои: «Туда!.. и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя», или «Под насыпью, во рву некошеном» и т. д.) Не доживет Пушкин и до первых железнодорожных катастроф.

В рассуждении о грядущем на Русь техническом прогрессе автор «Медного всадника» более полагается на деятельность частных лиц: «...Я, конечно, не против железных дорог, но я против того, чтобы этим занялось правительство». Но не сам ли он поименует указанное правительство «единственным европейцем в России»?

И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.

Это сказано о чаемом благоустройстве дорог шоссейных. Применительно же к общим условиям отечества, более обширного, нежели воспитанное в указанном качестве Царское Село, бывший лицеист единственно опасается проделок коварной природы: снежных заносов на железнодорожных путях.

«Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин,— закричал ямщик,— беда: буран!..»

Не был ли, часом, Пушкин (снесший в тот день в цензуру первую часть «Капитанской дочки») среди тех, кто 27 сентября 1836 года стекался на Семеновский плац? Нет, не для лицеизрения казни: до нее еще целых тринадцать лет,— а единственно для того, чтобы в виду недавно построенного «пассажирского дома» наблюдать первые испытания нового, доселе невиданного железнодорожного пути. Пока, правда, из-за отсутствия уже заказанных в Англии «огнедышащих драконов» пришлось обойтись привычною конскою тягой.

Что же касается будущего автора «Идиота» (завязка романа происходит, как помним, на железной дороге), он определенно отсутствовал там, где жизнь его переломится надвое. Ему, юному московскому жителю, еще неизвестно это далекое имя — Семеновский плац...

Семеновский плац — исходная точка русского железнодорожного дела: отсюда «во всю конскую прыть» двинутся аглицкой выделки вагоны и шарабаны. Семеновский плац — смертные врата: пройдя сквозь них, отправится в долгое путешествие будущий автор «Мертвого дома».

Так было угодно распорядиться судьбе: не только соединяющей точки на карте земли, но и тасующей карты иные — в своем, ей лишь одной известном порядке.

Что имел в виду Иоанн Богослов?

13 января 1842 года (когда 20-летний полевой инженер-прапорщик Достоевский готовится к очередным экзаменам в Главном инженерном училище) государь наконец велит приступить к началу больших работ. Шестьсот семь верст между Москвой и Петербургом, одолеваемые терпеливым путешественником чуть ли не за неделю, были отныне обречены менее чем суткам пути.

В том же 1842-м еще одно знамение прогресса — телеграфный провод, проложенный под землей, соединит Зимний дворец с кабинетом Петра Андреевича

Клейнмихеля на Фонтанке (это тотчас позволит столичным остроумцам заключить, что государь держит своего протезе, только что поднявшего из руин загубленный пожаром 1837 года Зимний дворец и получившего за таковое отличие графский титул, на гальванической цепи). Впрочем, каждый четверг будущий литературный герой (благодаря усердию Некрасова застрывший в памяти бессчетного множества школьных поколений) являлся к императору лично.

Ваня (в кучерском армячке)

Папаша! кто строил эту дорогу?

Папаша

(в пальто на красной подкладке)

Граф Петр Андреич Клейнмихель, душенька!

Дорога строилась долго.

27 мая 1847 года Николай Спешнев пишет матери: «Теперь уже Белоруссия пошла на Псков, т. е. собственно на Великие Луки и Опочки, тысяч по 5 и по 10, и встречающих их станковых и исправников вяжут и забирают с собою, а идут они на железную дорогу работать, ну да помещики их в этом году пускать не хотели».

В Белоруссии разразился голод — и, вооружившись *ржавой лопатой*, «изможденный худой белорус» (который вследствие указанных причин мог уже быть таковым еще до прихода на строительство дороги) двинулся на поиски заработка и пропитания. Делился ли Спешнев своими социальными наблюдениями с завсегдатаями «пятниц»?

Не пройдет и двух лет, как предоставленный Спешневым автору «Двойника» беспроцентный кредит станет для Достоевского роковым. Займы вообще играют в его жизни (которую с полным правом можно было бы назвать «жизнью займы») чрезвычайную роль. Один, пятисотрублевый, накрепко привяжет его к аванюре, затеянной его «Мефистофелем» и принятой им с каким-то мрачным восторгом. Другой, многомиллионный, одолженный его государю, возможно, избавит его от смерти. По Николаевской железной дороге, построенной — хотя бы частично — на английские деньги, отправится он в свой последний путь⁴⁹: на открытие памятника Пушкину в Москве.

Первая железная дорога — предприятие политическое. Недаром поначалу во главе строительной комиссии (правда, скорее в значении номинальном) был поставлен Александр Христофорович Бенкендорф. Кому как не шефу тайного, но всемогущего ведомства надлежало печься о самонужнейшей государственной пользе⁵⁰... И кто знает, не выйди инженер-поручик Федор Достоевский в отставку осенью 1844 года и не отдайся он легкомысленно сочинению чувствительной прозы — возможно, в качестве *молодого специалиста* (как помним, большого доки по части проектирования крепостей) он был бы причислен к тому предприятию, которое по всем основаниям может быть поименовано всенародной стройкой. Тогда именно он и смог бы подсказать бывшему своему приятелю сюжет «Железной дороги» — пожалуй, не менее впечатляющий, чем его собственный «Мертвый дом».

С другой стороны, почему бы автору «Белых ночей» и его осужденным поделникам не отправиться по высочайшей конфирмации на исправительные работы — в места действительно не столь отдаленные: например, в окрестности Вышнего Волочка или деревни Бологое? Ведь, если верить Не-

⁴⁹ В данном случае это не погребальная метафора, а констатация факта: поездка в Москву летом 1880 года — последнее большое путешествие автора «Братьев Карамазовых».

⁵⁰ Как видим, традиция ставить во главе крупнейших проектов (космического, атомного и т. д.) руководителя службы государственной безопасности имеет очень давние корни.

красову, строительство первой железной дороги куда страшнее Сибири: каторжных — второго разряда — работ⁵¹. Но увы. В отличие от той снисходительной власти, которая в следующем веке дарует преступникам удобный случай искупить заблуждения, тудясь в поте лица своего между морями Балтийским и Белым, власть неснисходительная тиранически отсылает своих врагов подальше от европейской России: какая ж в Европе может быть каторга?..

...Но с Николаевской железной дорогой у Достоевского все же связаны некоторые воспоминания — причем сугубо литературного свойства.

Однажды, прогуливаясь по Петербургу, встретил он у еще не законченного здания вокзала Виссарiona Белинского («самого торопившегося человека в целой России»), который намеренно выбирал этот маршрут, дабы (как выразится бессердечный В. В. Набоков) «сквозь слезы гражданского умиления» наблюдать за предприятием века.

«Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка...— приводит Достоевский слова того, чья блистательная эпистолярная заставит вскоре автора тоже нашумевшей “повести в письмах” на долгие десять лет покинуть северную столицу.— Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце».

«Вы бы ребенку теперь показали
Светлую сторону...»
«— Рад показать!»

О той давней встрече с Белинским в виду строящегося Николаевского (Московского) вокзала Достоевский вспоминает в «Дневнике писателя» за 1873 год. Но еще раньше в черновиках к «Бесам» об этом же эпизоде повествует Степан Трофимович Верховенский: некий господин Д. беседует с господином Б. «О, если б он, бедный, знал,— говорит о наивном Б. сильно переживший его Верховенский-старший,— каким взглядом смотрели тогда многие на эту дорогу, и особенно строители дороги!» Надо думать, либеральнейший Степан Трофимович читывал Некрасова.

В романе «Идиот» фантазмагорическому Лебедеву приписывают интересную мысль, что упомянутая в Апокалипсисе звезда Полюнь, которой предсказано отравить «источники жизни», есть не что иное, как сеть железных дорог, «распространившихся по Европе». На что Лебедев с достоинством отвечает, что железные дороги — это, так сказать, лишь собирательный образ. Дело не в них, а в том, что «все это в целом-с проклято, все это настроение наших последних веков, в его общем целом, научном и практическом...». И что стук телег, подвозящих хлеб голодному человечеству, не может убедить его, «гносного Лебедева», в правоте тех, кто озаботился этим подвозом. Ибо из числа благодетельствуемых может быть исключена значительная часть человечества, «что уже и было». Мальтус, к примеру, тоже слыл другом человечества. «Но друг человечества с шатостию нравственных оснований есть людоед человечества...»

Дискуссия о пользе железных дорог, затеянная некогда двумя петербургскими литераторами, как видим, может увести далеко...

До открытия Николаевской дороги Белинский не доживет трех лет. Не увидит праздника и его собеседник. 18 августа 1851 года, когда императорский по-

⁵¹ «Железная дорога,— записывает в своих дневниках Дубельт,— дело дивное, славное по тем затруднениям, какие представляли нескончаемые болота и пучины, лежащие на пути...» («Голос минувшего», 1913, март, с. 167). В этом смысле работы, в которых был занят на каторге Достоевский, представляются значительно более легкими (см. те же «Записки из Мертвого дома»).

езд впервые отправится из Петербурга в Москву, каторжный второго разряда Федор Достоевский будет переводим в штат арестантских рот. Впрочем, подобная мера не повлечет за собой снятия с арестанта ножных желез. («Высочайшего соизволения на это не последовало», — отвечает на ходатайство о сем омского коменданта военный министр А. И. Чернышев.) «Век девятнадцатый железный» замрет на середине.

Еще одно путешествие из Петербурга в Москву

Итак, императорский поезд проследовал в Москву.

«Вот какую я себе нажил лошадку», — молвит государь, одобрительно тронув рукою начищенный до блеска бок локомотива. «Это пантеон, это храм!» — отзовется он в том же метафорическом роде об одном из встреченных в пути железнодорожных депо. И хотя слово «пантеон» могло заключать в себе и легкий погребальный оттенок, никто не поймет государя превратно.

При переезде через речку Веребье, там, где самый внушительный из мостов достигал двухсот семидесяти пяти сажений в длину, граф Петр Андреевич задумал устроить показательный смотр.

Сановная публика (а в поезде находилась по преимуществу таковая) столпилась у края насыпи, сооруженной по всем правилам строительного искусства. Император взмахнул платком. Но, к изумлению свиты (и ужасу графа), исходящий паром локомотив так и не смог тронуться с места.

Происшествие оказалось чисто национального свойства.

Желая потрафить начальству, дорожный мастер решил превозмочь самую натуру. Он выкрасил неприглядные с его точки зрения (а проще говоря, ржавые) рельсы масляной краской: она еще не успела просохнуть. Эстетика вступила в неравный спор с силами трения и, как водится, победила. Колеса не сделали ни одного оборота.

Пришлось в спешном порядке сыпать на показательные образцовые рельсы песок, мешая его с горячей паровозной золой. Пушкин в рассуждении о снежных заносах вряд ли мог помыслить о препятствиях этого рода.

Но вернемся в январь 1850 года, в Лондон, где русское правительство обвиняют в неискренности: этот тезис с удовольствием развивает большинство британских газет.

В номере от 16 января «Таймс» уверяет читателей, что по ее сведениям строительство железной дороги почти закончено, шпалы и железные крепления уложены, осталось только произвести укладку рельсов. (А также их выборочную покраску, могли бы теперь добавить и мы.) «Так что представляется вполне возможным, — замечает газета, — что все это начинание в значительной степени используется как предлог, с целью получить на популярную цель средства, которые затем могли бы быть использованы на расходы, возникшие в результате недавней войны».

Одна лишь «Морнинг пост» готова взять под защиту репутацию российского самодержца. «...Нет никаких причин верить, — раздумчиво замечает газета, — что такой человек, как Император Николай, опустится до скаредности и бесчестия, недвусмысленно заявляя, что небольшой займ заключен им для одной законной и совершенно определенной цели, в то время как в действительности предназначен для другой».⁵²

Наряду с императором Николаем еще одно значительное лицо становится героем дня.

⁵² Проектная смета дороги к началу работ составляла колоссальную сумму в 43 миллиона рублей. Фактическая стоимость (в момент открытия) достигла 66 854 113 рублей. Всего же (с учетом платежей по займам) дорога обошлась казне в 131 420 401 рубль.

От Ла-Манша до Урала

«Последнее выступление г. Кобдена,— пишет газета “Сан” (15.01.1850),— охарактеризовавшего плачевное состояние русских запасов драгоценных металлов в крепостях св. Петра и св. Павла, теперь получает новое подтверждение».

Трудно сказать, самой ли газете или указанному г. Кобдену принадлежит честь превращения знаменитой цитадели в два независимых укрепления. Зато никаких сомнений не возникает относительно самого мистера Кобдена. «...Его быстрота сегодня утром,— продолжает газета,— выразившаяся в призыве к Обществу мира (Peace Society) провести открытое заседание и публично протестовать против займа, вызывает удовлетворение в Сити...»

В Сити, которое, как можно догадаться, далеко не в восторге от неожиданного успеха братьев Беринг (предприимчивые братья сумели ловко обойти конкурентов), имя 46-летнего Ричарда Кобдена пользуется авторитетом. Видный экономист и политик, хлопчатобумажный фабрикант и т. д., он снижал известность в первую очередь как вождь и теоретик фритрейдеров — защитников свободы торговли. В этом качестве он знаменит не только на родине. Не так давно его удостоили своим приветом и отзывчивые российские жители.

«Знаменитый Кобден в Москве,— радостно сообщал своим читателям 17 января 1847 года “Московский городской листок”.— Он прибыл сюда из Нижнего Новгорода, где обозревал ярмарку, эту огромную выставку русской производительности». Знатный иностранец остался совершенно доволен: «русская производительность» превзошла все его ожидания. «Вот она промышленность совершенно свежая и здоровая»,— с чисто английской вежливостью заметил посланец страны, именуемой «мастерской мира».

Московская газета, не чуждая, как ныне бы выразились, интересов отечественных товаропроизводителей, особенно ликует по поводу того, что Кобдену удалось добиться на родине торжества принципов фритрейдерства: «И для русского хлеба открыт теперь беспошлинный ввоз в английские пристани: честь и благодарность великому чужеземцу!»

Не пройдет и трех лет, как «великий чужеземец» станет главным противником русско-английской финансовой сделки. Он обнародует печатный протест («неистовое, но глупое письмо о займе этого нелепого субъекта, г. Кобдена» — так отзовется о документе благосклонная к императору Николаю «Морнинг пост»). Кобден призвет осудить публично предоставление займа России и даже наложить на него вето. Протестуя ныне против нового займа, Кобден вспоминает, что три года назад во время своей поездки в Россию (то есть, очевидно, тогда, когда его так восхитили успехи «русской производительности»), он собственными глазами видел почти законченную С.-Петербургскую железную дорогу. Он заклинает своих соотечественников не верить императору Николаю.

18 января 1850 года в уже упомянутом Обществе мира, прибежище британских пацифистов, Кобден выступает с речью, где главный акцент вновь сделан на моральной стороне вопроса.

«Что можно будет сказать об Англии,— вопрошает оратор,— если мы вынуждены будем отметить, что в 1850 году в Лондоне нашлись люди, готовые поддержать отъявленную политическую безнравственность России, ссужая ей деньги на продолжение того пути насилия, которого она до сих пор придерживалась?»

Разумеется, оратор прежде всего имеет в виду венгерский поход. «Одалживая подобным образом ваши деньги,— воскликнул в своей речи предводитель

фритрейдеров и недавний поклонник России,— вы бросаете их в жерло вулкана». Это не лучший способ вложения капиталов.

...О, скромные завсегдатаи мирных пятниц в Коломне! О, еще более скромные посетители дуровского кружка! Не убежавшие в своих беседах высокой политики, могли бы они представить, что их грядущая участь окажется в близкой, хотя и неявной зависимости от важных экономических причин? И что их гордое, но порядком поистратившееся отечество извлечет из всей этой истории некоторую положительную выгоду. И что, наконец, цена их единственных жизней будет зависеть от курса ценных бумаг? Нет, подобное не пригрезилось бы им и в страшном утопическом сне!

Меж тем на том же Западе уже явились молодые разоблачители утопий, готовые внятно объяснить наивным современникам истинный смысл всего происходящего в мире.

31 июля 1849 года тридцатилетний Карл Маркс пишет из Парижа немецкому поэту Ф. Фрейлиграту длинное и, как водится, *историческое* письмо. Автор письма говорит: не надо особенно верить «бескорыстному энтузиазму» той партии, которую возглавляет Кобден и которая организовала по всей Англии митинги в защиту венгерской свободы. Ибо Венгрия — разменная карта в большой европейской игре, а сама партия мира «лишь *маскировка для фритрейдерской партии*». Политика не терпит сантиментов, а там, где они все-таки возникают, скрываются те же экономические интересы! Нельзя доверять мнимому бескорыстию фритрейдеров! Будучи сторонниками свободной торговли, они «подорвали материальную основу аристократии внутри страны». Ныне же они наносят удар «ее высшей политике, ее европейским связям и корням, пытаясь разрушить Священный союз». Вот где собака зарыта! Обращаясь к поэту (и, видимо, желая остеречь его от лирических заблуждений), автор письма блистательно демонстрирует ту сокрушительную методу, какую его еще не рожденный российский последователь и адепт будет находчиво именовать «срыванием всех и всяческих масок». Бестрепетной рукой Маркс обнажает измененность так называемых благородных порывов, полнейшую их зависимость, как любил выражаться позднее его талантливый ученик, от денежного мешка. «Эксплуатация народов не посредством средневековых войн, а лишь путем торговой войны — таков лозунг партии мира,— докторально замечает могильщик капитализма, давая понять, что главный фритрейдер своими моральными сентенциями только напрасно морочит голову почтеннейшей публике.— <...> Россия в настоящий момент пытается заключить заем. Кобден, представитель промышленной буржуазии, не дает денежной буржуазии заключить эту сделку; ведь в Англии,— победительно завершает свою гармоническую конструкцию будущий творец “Капитала”,— промышленность господствует над банками, в то время как во Франции банк господствует над промышленностью».

Маркс уверяет, что Кобден дал русским бой более страшный, нежели предводитель мятежных венгров, ибо разоблачил «жалкое состояние их финансов». Русские, по мнению Кобдена, еще недавно полагавшего русскую промышленность «совершенно свежей и здоровой», — это «самая бедная нация». Ни сибирские рудники, ни колоссальные питейные сборы не способны спасти подорванный российский бюджет. «Правда,— продолжает Маркс,— золотой и серебряный запас в подвалах Петербургского банка (подразумевается, конечно, в недрах Петропавловской крепости! — **И. В.**) достигает 14 000 000 фунтов стерлингов; но он служит металлическим резервом бумажного обращения в 80 000 000 фунтов стерлингов. Поэтому,— грозно заключает один из авторов недавно провозглашенного “Коммунистического манифеста”,— если царь посяг-

нет на подвалы банка, то он обесценит бумажные деньги и вызовет революцию в самой России». (Что, в свою очередь, добавим мы, способствовало бы освобождению «из подвалов» Достоевского и его друзей: о такой блестящей возможности Маркс, к сожалению, не догадывается.)

Нет: наивным последователям Шарля Фурье, каковыми (разумеется, за вычетом слова «наивный») полагали себя едва ли не все петрашевцы, никогда не постигнуть железных премудростей марксизма. Самое большое, на что они способны, это вообразить все тот же фаланстер, бледное подобие настоящего рая. Летом 1849 года, проводя вынужденные досуги бок о бок с гипотетическими кладовыми русского золота, они, как уже говорилось, не догадываются о том, что попечительное правительство ведет лихорадочные поиски денег за рубежом и что дальнейшая судьба *узников совести* находится в некоторой зависимости от этих беззаветных усилий.

Достоевский, чьей потаенной любовью, как уже говорилось, всегда оставалась именно Англия и кто посвятил этой стране немало прочувствованных страниц⁵³, ни разу не помянет истории с получением займа.

Да и вряд ли он что-нибудь ведал об этом. Усердно штудировав в Алексеевском равелине пьесы Шекспира, а также «Джен Эйр» Шарлотты Бронте («английский роман чрезвычайно хорош»), он думает больше о собственных скудных финансах, нежели о «денежной буржуазии» любезной его сердцу страны. И даже почти нос к носу столкнувшись с темой, он направляет свой интерес несколько вбок. «Прекрасная статья о банках», — пишет он брату о помещенной в присланных ему «Отечественных записках» статье: увы, последняя называется «Банки в Германии и Бельгии».

...В те самые дни, когда в Лондоне бурно обсуждают перипетии, связанные с заключением русского займа, он, страдая от жестоких морозов («я промерзал до сердца и едва мог отогреться потом в теплых комнатах»), медленно переваливает через Уральские горы и направляется к Тобольску.

«Грустная была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в сугробах. Была метель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя ожидали, покамест вытащат повозки. Кругом снег, метель; граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, позади все прошедшее — грустно было, и меня прошибали слезы».

И снова — метель: важная принадлежность русской природы и русской истории.

Мело, мело по всей земле
Во все пределы...

Он пересекает рубеж Европы и Азии: «таинственная судьба» влечет его дальше — в «страну уныний», и эта страна поглотит его на долгие десять лет. Без него будет торжественно пущена Николаевская железная дорога; в его отсутствие Россия проиграет Крымскую войну и простится с императором Николаем. Английский займ будет благополучно истрачен. И сибирский узник, как уже говорилось, вряд ли узнает о том, что, возможно, его жизнь была измерена в звонкой иностранной монете. Уральская метель заметет его следы, казалось бы, навсегда отделив его от беспокойной Европы.

«В Азию, в Азию!..» — призовет он спустя тридцать лет в своем последнем «Дневнике писателя», перед тем, как умереть в Петербурге.

⁵³ Подробно о присутствии «английского фактора» в художественном космосе Достоевского мы говорим в нашей большой, еще не завершенной работе «Образы Запада в русском художественном сознании. (Достоевский как национальный архетип)». Первая часть этой работы депонирована в Центрально-европейском университете (Прага).

Несколько заключительных слов

22 декабря 1849 года по возвращении с Семеновского плаца «домой» — в Петропавловскую крепость, Федор Достоевский напишет, что он не утратил надежды когда-нибудь, после Сибири, увидеть и обнять близких ему людей. «Ведь был же я сегодня у смерти три четверти часа, прожил с этой мыслью, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу!»

«Три четверти часа», говорит автор письма, — и это исчисление, конечно, более верно, нежели время, указываемое им через десятилетия (и по своей отдаленности сокращенное до пятнадцати минут). Три четверти часа он пребывает «в состоянии смерти». Примерно столько же заняла произнесенная им 8 июня 1880 года триумфальная Пушкинская речь. Два ключевых и противоположных по смыслу события его жизни — крайние точки ее нисхождения и восхождения — совпали по протяженности и как бы отразились друг в друге.

Он говорит в письме к брату: живу *еще раз*. Эта вторая жизнь, начавшаяся на эшафоте, окажется дольше первой: она продлится тридцать один год.

Процесс Петрашевского и его друзей сам по себе достаточно драматичен. Прикосновенность к этому делу будущего автора «Бесов» сообщает всей ситуации глобальный метафизический смысл.

Эмпирические подробности петрашевской истории не менее важны, чем ее побудительные мотивы и видимые общественные последствия. Ибо сам ход *политического процесса* (включая в это понятие не только следствие, суд, приговор и т. д., но и скрытое протекание исторической жизни) выводит нас, если можно так выразиться, в царство ментальностей: именно от них зависят «последние судьбы» России. Здесь пересекаются роковые пути человека и государства, причем каждый оказывается по-своему прав. Здесь, по сути, начинается история русской интеллигенции (и — что характерно — история провокаторства): впервые такую важную роль играет идейный аспект. При этом, искушенные стопятидесятилетним историческим опытом, мы не можем не заметить, как на смертников 1849 года наползает из будущего некая зловещая тень.

Однако и сами они способны пролить на это грядущее некоторый проясняющий свет.

Дело даже не в том, что жертвы Семеновского плаца — первые русские социалисты, как бы угадавшие тенденцию и предвосхитившие «направление пути». (За что им спешили воздать ритуальную дань их более преуспевшие исторические последователи.) И не столь уж существенно, были ли они умеренными реформаторами или оголтелыми радикалами.

В процессе 1849 года сокрыты такие личные обстоятельства и обнаруживаются такие сшибки страстей, что самым главным становится его чисто человеческий смысл. Это действительно «процесс о намерениях»: может быть, тех, что присущи человеку как разумному существу.

Здесь одна из завязок нашей национальной судьбы. В этом отношении дело 1849 года еще не закрыто.

«Не закрыто» оно и в сугубо историческом плане. В частности, сюжет с типографией может получить совершенно неожиданный оборот.

Ибо выясняется: жена генерал-лейтенанта Дубельта Анна Николаевна Дубельт (урожденная Перская) приходится родной племянницей адмиралу А. Н. Мордвинову. Но при таком (воистину изумляющем) родстве операция по спасению Николая Мордвинова от следствия и суда, а также по уничтожению вещественных улик (то есть изъятию из квартиры Спешнева типографического станка), возможно, осуществлялась при попустительстве (если не прямом участии) управляющего III Отделением. Так возникает абсолютно новый

момент. Сколь бы, положим, сомнительным ни выглядело предположение о тайном сговоре Дубельта и Липранди, оно не может быть оставлено без исследования. Равно как и ряд других «косвенных» тем, оставшихся за пределами данного текста.

Жертвы Семеновского плаца оказались последними идеалистами: наступала эпоха *практических дел*.

«Целый заговор пропал»,— скажет Достоевский. Он как в воду глядел.

Заговор 1849 года *пропал* как душевная драма целого поколения; как случайный и обременительный опыт, который не был востребован никогда и никем. Он *пропал* и для власти: она также не сподобилась извлечь из него никаких выгод и льгот.

Возможно, нас мало устраивает подобный итог.

Пушкин однажды адресовал Денису Давыдову следующую записку: «Сенковскому учить тебя русскому языку все равно, что евноху учить Потемкина».

Эта пушкинская максима приложима к нашим тяжбам с историей: куда веселее внимать ее собственным намекам и обинякам.



Андрей СПИРИДОНОВ

В этом белом забытом раю

* * *

Там, где кончается природа,
Уж небеса отяжелели,
Багровым отсветом прошиты
Пространства темные ланиты,
И скоро черные метели
Сокроют рубежи и цели —
Там, где кончается природа,
И смерть трудна, жизнь измельчала,
И где течение металла
Речений существо прервало,
Там времени уже немного
И в Царство узкая дорога...
Там, где кончается природа,
Наш челн, как перышко, качало,
И ткань поэзии тончала,
Где, утруженный этим срезом,
«Век шествует путем своим железным».

* * *

Довековая тишина
Во глубине Руси святой
Скрывает сонм имен золотой,
Как града Китежа стена,
Куда нет видимых дверей,
Где храмы час свой ожидают
И наш синодик поминают,
Как список воинских потерь.

* * *

Недостанет на всех этих плит,
Звезд жестяных, табличек фанерных,
Ибо нет только правых и верных,
Только мертвых и только живых —

На земле, от себя отступившей,
От своих же родимых солдат,
Что какое столетье лежат
В этой пашне, богатой и вскисшей, —

В этом белом забытом раю.
И сродни им Державного лика
Прозябанье — до родов, до крика,
До восстанья в воскресном строю.

* * *

Заходит плененное солнце
В оковах пейзажа земных
И луч свой последний весомо
Роняет на добрых и злых.

Быть может, не все мы пропали,
Не всякий уж вовсе погиб,
Есть место и светлой печали.
И скатертью белой накрыт

В обители отчей для пира
Тот стол, где есть место для нас,
И выше душевного мира
Нет дара в решающий час.

Пусть тает в полночи небо,
Его тем оправдана синь,
И голос дрожит незаметно
Пред «Слава Святей» и «Аминь».

* * *

Свободен путь под Фермопилами
Уже какую сотню лет,
А над российскими могилами
Небесный тяжелеет цвет,
Когда за горя океанами,
Где кровь в воде растворена,
Уже не скрыта за туманами
От нас блаженная страна
С ее цветущими могилами,
Где сонм свидетелей святых,
Где тайно, избранными силами
Нерукотворный царствен стих.



Железные стихи

* * *

На черных заводах
из домен пылающих хлещут
живые ручьи
добела раскаленного гноя.
За деньги железные
варят железо стальное
в огне сталевары
огромные в масках зловещих.
И сталь застывает
в холодные, мертвые вещи:
ножи, автоматы,
винтовки и все остальное.

Железными бритвами
небо над нами разрезав,
проносятся в ночь
самолетов железные стаи.
Железные рельсы,
как обручи, землю сжимают.
Железные змеи
ползут по дорогам железным.
На нас отовсюду
предметы железные лезут.
Железный металл
в голосах и в крови проступает
железных людей,
так легко нас теперь намагнитить.

Приготовленья к празднику восхода

Видел, как ветер натягивал пленку
на венценосного купола звон.
Видел, как солнечные перепонки
зашевелились между колонн.
Как выплывали из черных парадных
по тротуарам потоки голов
и зажигались цветные гирлянды
на вертикальных пластинах домов.

Видел, как в небе воскуривал ладан
Ангел стихов. Как Он поднял глаза
и, улыбнувшись, движением взгляда
бантом сияющим дым завязал.
Как Он раскатывал красную тучу,

словно ковер. Как запел над Землей...
Тело мое было скрипкою, ждущей
прикосновения пальцев Его.

* * *

Комментарий к еще
не написанной книге,
где в суконной материи
русского текста
с подоплекою красной
Герой Многоликий
задыхается, не
находя себе места.

А в полях собирают
цветы командиры.
Напевая похабные
песни сквозь зубы,
прижимают букеты
к хрустящим мундирам
и вздыхают задумчиво:
«Любит? — Не любит?»

Баянист с чувашинной
мордвою эвенков
по дороге разрытой
шагает вприплясок,
на стегно положив
две руки здоровенных.
И несут хлеб да соль
люди разных заквасок.

На пригорке стоит
землепашец могучий.
Борода гладит ветер.
Плывут поцелуи
из пунцового рта
и взрываются в тучах.
Упыри над его
головой озоруют...

В черной щелочке между
рождением и смертью
Многоликий зрачками
беспомощно вертит,
с головы его фразы
свисают, как слизи...

Комментарий к еще
не законченной жизни —
пояснение в виде
лубочных картинок,
для наглядности собранных
здесь воедино.

Тайна общего дела

«*Так вот и унес свою тайну! Поди теперь — разбери!*» — говорят после похорон главного героя неоконченной повести «Завещание о любви». Примерно за пятьдесят лет до того, как в лагере на Беломорско-Балтийском канале заключенным Алексеем Федоровичем Лосевым в 1933 году была написана эта фраза, в Москве на открытии памятника Александру Сергеевичу Пушкину в 1880 году Федор Михайлович Достоевский произнес свои знаменитые слова: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собой в могилу тайну. И вот мы без него эту тайну разгадываем».

Что же общего между провидцем Достоевским и не ведомым никому лосевским героем? Что же общего между великим и бессмертным Пушкиным и безвестным писателем-богословом Орловым, который, мечтая о «грядущем преображении твари», прозябал всю жизнь простым бухгалтером? Они связаны так же странно, неразрывно и на первый взгляд необъяснимо, как связаны в «Завещании о любви» маленький наивный Суша, тихая Таня и злобный Тимошка; так же, как связаны между собой в написанном в начале 40-х годов рассказе «Вранье сильнее смерти» не знающий смирения Семка, покорный Петька, гибнущий ради подлого Ваньки. Их связывает тайна. Тайна общего дела. Общего дела жизни.

Что такое жизнь? Для чего рождается человек? Стоит ли верить в смысл своего существования, своей любви, жертвовать ради этого смысла всем, в том числе и этой самой любовью, и этой самой жизнью? Да и какова она — жизнь? Добро или зло? Если добро, то откуда тогда в мире смерть, это другое «свирепое лицо неукротимой и злой жизни»? Может быть, и нет никакого смысла? Может быть, всё — только иллюзия, мучительный сон, гипноз, полная бессмыслица и вранье? От этих мыслей страдают, этими мыслями живут герои Лосева. Эти вопросы автор ставит из повести в повесть, из рассказа в рассказ, всегда самым неожиданным и непредсказуемым образом. Два публикуемых текста — лучшее тому подтверждение.

Если судить по учебникам истории русской литературы, писателя Алексея Федоровича Лосева в XX веке не было. Был философ Алексей Федорович Лосев, был Алексей Федорович Лосев филолог-классик. С феноменом Лосева-прозаика еще придется свыкнуться, придется разгадать и эту тайну, приспособиться к особенностям лосевской прозы, к ее стилю, к ее порой эпатажирующим сюжетам и найти Лосеву место в ряду русских писателей XX столетия, хотя бы с опозданием, на излете века, теперь, когда пролежавшие десятилетия по архивам лосевские письма и дневники 1911—1917 годов, повести и рассказы 30—40-х годов стали наконец доступны читателю.

ВРАНЬЕ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Ванька и Петька жили в одном доме.

Ванька был низкорослый, худощавый и злой человек. А Петька был огромного роста, плечистый и упитанный, добродушный, ленивый и вялый.

Ванька что-то думал о Петьке, и Петька это чувствовал. Но что такое думал Ванька о Петьке, Петька не знал.

Петька побаивался Ваньки.

Однажды Ванька забрался в комнату Петьки, избил Петьку и забрал у него несколько ценных вещей.

Утирая капли крови, вытекавшие из разбитого носа, Петька думал: «Если я пойду сейчас в милицию и заявлю о побоях и грабеже, милиция не поверит. Скажут, такого-то здоровяка да вдруг какой-то коротышка избил! Стыдно будет и смешно. И все равно милиция ничего не станет делать. Если я пойду к Ваньке и стану его усовецивать, пожалуй, подумает, что я его боюсь, и опять придет с грабежом и побоями. Нет, лучше не надо его усовецивать, и я вот что сделаю. Я приду к нему и скажу: «Ты, Ванька, меня не побил. Нет! Это я сам себя побил. И ты, Ванька, не забрал у меня шубу. Нет! Это я сам тебе ее подарил». Если я так скажу, что он мне сможет ответить? Ничего! И злобствовать станет меньше!»

Обдумавши такой разговор с Ванькой, Петька пошел к Семке и изложил ему свой план.

— Да ты ему лучше в морду дай,— сказал Семка.— Ведь ты пятерых таких, как Ванька, одной рукой придушишь!

— Нет...— мямлил в ответ на это Петька,— нет...

— Чего нет?

— Нет...

— Да ты боишься...

— Я не то, чтобы боялся...

— Ну а чего?

— Да он... чего-то, чего... думает...

— Ну и черт с ним! Пусть себе думает. А ты — хлоп его по морде и хватай свою шубу назад.

— Нет...

— Ну вот задолбил: нет, нет. Я тебе дело говорю. Если ты ему скажешь, как задумал, он завтра придет к тебе опять с грабежом и ты опять скажешь, что по своей воле ему сапоги отдал.

— Да как это так рассуждаешь,— вдруг приободрился Петька, ухватившись за эту идею.

— Ведь раз оно так произошло, значит, так надо...

— Да ведь Ванька сволочь?

— Сволочь.

— Ну как же это «так надо»? Так вовсе не надо,— горячился Семка.

— Нет, Семка, нельзя,— теперь уже твердо говорил Петька.— Ванька, конечно, сволочь, но... так надо...

— А ну тебя к дьяволу,— сказал Семка, и они расстались ни с чем.

Идет Петька к Ваньке.

— Ванечка мой родненький! — лепечет Петька.— Не ты меня побил. Нет! Я сам себя побил. Не ты, Ванечка, у меня шубу забрал. Нет! Это я сам тебе ее подарил...

А сам в это время думал: «Ну и гадина же этот Ванька! И я же, я же снимаю с него вину. Этакую сволочь удушить мало. А я же еще его и ублажаю. Гадко. Отвратительно. Тошно».

— Ванечка мой миленький,— продолжал умиленно чирикать Петька.— Не ты ко мне ворвался в комнату, а я тебя пригласил. Поэтому ты мне самый близкий. Не ты мне нос разбил, а сам я об угол носом бился. Вот и кровь от этого текла...

Ваньке это не понравилось. «Врет,— думал Ванька.— Не может быть, чтобы он так думал! Да кто ж и может так думать о разбойнике и грабителе? Врет, мерзавец!» Однако Ванька сделал вид, что поверил, и похвалил Петьку за сознательность.

Петька уже почувствовал, что Ванька ему не верит. Но сделал вид, что ничего не замечает, и похвалил Ваньку за понимание.

Прошло несколько дней.

Через несколько дней Ванька опять вторгся в комнату к Петьке и потребовал, чтобы тот убирался из своей комнаты куда глаза глядят и чтобы отдал ему все имущество.

— Убирайся отсюда прочь! — визжал коротконогий Ванька. — Какое право ты имеешь тут жить? Я тут хозяин. Ведь ты дурак, а я умный. Значит, тебе тут не место. Пожил — и довольно! Проваливай, пока я тебе зубы не выбил!

Петька вдруг почувствовал, что это удивительно естественно. Он вдруг понял, что так это и должно быть, что он этого бессознательно ждал с первой минуты появления Ваньки в этом доме, что сопротивляться этому не только бесполезно, но и бессмысленно.

«Сволочь этакая, — думал про себя Петька. — Такой гад — и вдруг имеет право. Гадина — и вдруг так естественно, так понятно <?>, так необходимо!» Если бы он знал иностранные слова, он, безусловно, сказал бы себе: «Это так логично!» Но он не знал ученых слов и потому только повторял себе: «Так надо. Так надо...» Однако Ваньке он говорил другое.

— Ванечка, любимый, бесценный, — опять лебезил он. — Ну, конечно же, я уйду. Не ты меня выгнал, сам я ушел. Не ты мое забрал имущество. Нет! Сам я отдал тебе свое имущество. Ты умный. А я кто? Ты теперешний. А я что такое? Разве в имуществе дело? Имуществом-то надо еще распоряжаться. А я что за распорядитель! Ты получишь имущество, а я от этого получу еще больше. Я получу сознание, что я поступил как надо. Не вопреки всему, а в согласии со всем. Уйду, уйду, Ванюша. И имущество все бери себе. Вот и сапоги, новая пара; вот и рубахи, вон и чашки, и блюдца, вон и столик, и кровать...

И Петька ушел из своего дома, а Ванька все забрал себе.

«Какой мерзавец! — думал Ванька о Петьке. — Ведь как врет-то здорово! Ведь ни на грош сам не верит тому, что говорит. Изогвавшаяся скотина!» Но на этот раз Петькино вранье ему больше понравилось. Он его опять похвалил за сознательность и даже — в виде милости — разрешил ему жить во дворе, в конюшне, на должности домашнего работника.

— Будешь мне все делать: и чинить, и паять, и строгать, и дрова носить, и пилить, печку топить будешь, землю мне пахать будешь, танцевать и петь перед мной будешь!

«Ух ты, подлец какой! — думал про себя Петька. — Служить тебе! Сортиры твои чистить? Ах ты, сволочь окаянная!» Но словами он говорил другое:

— Ванюша родненький! Только не выгоняй совсем со двора! Только не лишай меня твоего лицезрения. Счастье мне уже — твои сортиры выкачивать!

— Ладно! — с важностью говорил Ванька. — Самое главное — мир и любовь. Будем жить мирно и с любовью. Я понял тебя, и никто другой тебя не понимает. А ты меня понял. Мы нужны один другому. Мы — одно!

Прошло еще несколько дней.

Опять встречаются Петька и Семка.

— Да ты прямо больной какой-то, — недоумевал Семка, на Петьку глядя.

— А чем я больной? — удивился тот.

— Ну что ты себе в голову втемяшил? Ведь этакую-то штуку придумать! Ну не срам ли это — зад лизать такой сволочи?

— А где они, не сволочи-то? — защищался Петька.

— Ну не прикладываться же к заднице в самом деле! Хоть бы сидел и молчал. Кто тебя за язык тянет?

— А сидеть и молчать нельзя, раз тебя касается.

— Да чего-то тебя касается? — возмущался Семка. — Если тебя ограбили, есть на то милиция, суд, тюрьма. Тебя вот касается, что тебя ограбили, ты и о том молчишь. А травой расстилаться-то перед Ванькой уж ровно никто тебя не заставляет. Сам придумал.

— Сам-то это, конечно, сам, — сказал Петька. — Да только вот подчиняться-ся-то все равно кому-нибудь надо.

— Что значит «подчиняться»? Как это «подчиняться»? А что же без подчинения разве нельзя? Что ты за холоп такой? Ты не холуй. Ты человек.

— Да холуй-то разве подчиняется? Чтобы подчиняться, надо знать, кому и зачем подчиняться. А что твой холуй знает?

— А ты будто знаешь?

— Я знаю.

— Ну а черта-то с твоего знания! Выбрал для подчинения какую-то дрянью, сосульку, уродца.

— Что ж, а хорошему всякий будет подчиняться. Нет, ты поди-ка вот дрянью подчинишься, сосулке пуп лобызай...

— Очень мне надо. Да постой. Ведь ты сказал, что Ванька дрянью? Сказал или не сказал?

— Сказал.

— Значит, Ванька дрянью?

— Ванька дрянью.

— И ты ему зад лижешь?

— Да, я ему зад лижу.

— Зачем?

— Так надо...

Семка плюнул на пол, выругался и прибавил:

— Одно только скажу. Ты холуй, азиат, тесто сырое, негодное. Яичница ты, вот кто. Котлета плохо сбитая, молоко кислое... Вот пусть-ка ко мне заявится Ванька. Я его так долбану, что душонка-то лишь бы в теле осталась. Прощай, Петька несчастный. Мы с тобой не товарищи.

И друзья опять расстались ни с чем.

Прошло еще три месяца.

Все шло по-хорошему. Петька считал Ваньку хамом и насильником, но не переставал на него работать и его славословить. А Ванька считал Петьку вруном и обманщиком, но пользовался его трудом и не переставал говорить ему о дружбе.

Месяца через три в квартиру Ваньки забрались грабители. Дело было ночью. Ваньку сейчас же связали и под страхом смерти запретили ему кричать, и Ванька ничего сделать не мог.

Грабителей было трое. Они рассыпались по квартире и стали очищать сундуки и шкафы, снося более ценное добро в одно место.

Ваньке удалось шепнуть своей маленькой дочери, чтобы та бежала в конюшню и разбудила Петьку. Разбойники были слишком заняты разыскиванием ценных вещей и спешным увязыванием — и проморгали, как шестилетняя девочка юркнула в дверь на двор.

Петька храпел в конюшне, заснувши богатырским сном, и девочке пришлось затратить много усилий, чтобы разбудить Петьку и рассказать, в чем дело.

Спешно натягивая на себя штаны и сапоги, Петька думал про себя: «И этакого урода, этакого изверга я же и должен спасать! Я, который сам давно должен был его убить, я же еще и буду его защищать от разбойников! Какая низость с моей стороны, какое рабство, как это безобразно и отвратительно!» Но, когда он так говорил, руки сами натаскивали штаны и сапоги на ноги и ноги сами механически бежали в квартиру Ваньки, как будто заведенная музыка, как будто творящие какую-то чужую волю.

Петька быстро вбежал в дом, тут же развязал Ваньку, и Ванька успел выбежать из дому раньше, чем трое грабителей это заметили, и раньше, чем сбегались вместе. А, сбегавшись вместе и убедившись в исчезновении Ваньки, они набросились на Петьку и — началась свалка.

Огнестрельного оружия у грабителей не было. Были только ножи. Но справиться с Петькой, даже для троих разбойников, было нелегко. Петька отшвыривал их, как маленьких ребят, и успевал выхватить у них ножи раньше, чем они могли его коснуться. Свалка продолжалась долго. Но в конце концов одному грабителю все же удалось нанести глубокую рану Петьке, и Петька рухнул на землю, обливаясь кровью.

В эту минуту в дом вернулся Ванька с целой ватагой соседей, вооруженных вилами, топорами, лопатами и оглоблями. Среди них оказался и старый приятель Петьки Семка.

Увидевши Петьку, истекающего кровью и умирающего, Семка забыл все и приступил к Петьке со своими старыми вопросами:

— Скажи хоть теперь, на смертном одре, что ты из-за подхалимства охаживал Ваньку, что Ванька тебя ободрал и ограбил, что Ванька твой враг, что ты подчинился ему из-за насилия!..

Ворвавшиеся люди частью возились с грабителями, из которых двое уже ускользнуло, частью стояли, разинувши рты, вокруг лежавшего на полу Петьки и кричавшего что-то непонятное Семки.

Семка продолжал:

— Петя, скажи, скажи, что ты врал... Сознайся хоть раз в жизни, хоть на краю могилы, что ты врал, безбожно врал о Ваньке.

Петька действительно умирал и, умирая, думал про себя: «Положить жизнь за этого гада! Что может быть грустнее и противнее этого? А я положил свою жизнь за него!..» Но Семке он ответил:

— Сема, друг мой сердечный... Ты не понимаешь... Ты пойми... Я из-за верности к нему... Я из-за любви к нему жизнь свою положил за него...

— Черрт! — закричал Семка. — Он с ума спятил... Петька с ума спятил... Подлец! Слышишь ты? Подлец ты! Скотина ты!

Публика недоумевала и не знала, что предпринять, но Семка продолжал орать:

— Подлец! Холуй! Мерзавец! Мало ему еще! Так ему и надо! Погибни ты, дрянь проклятая!

И, к ужасу всех, он снял с себя кожаный пояс и стал полосовать им умирающего Петьку.

— Вот тебе, сволочь! Вот тебе, сволочь! — иступленно орал Семка, избивая Петьку, который и без того уже испускал дух.

Его схватили и стали вязать. Но никто ничего не понимал. Никто не знал об отношениях Ваньки и Петьки и о разговорах Петьки и Семки.

Петька позвал Ваньку и в последний раз ему сказал:

— За тебя и жизнь отдаю... За общее дело с тобою...

Ванька при этом думал: «Эка врет, мерзавец, и даже перед смертью!» Но вслух сказал:

— Не за меня, Петя, не за меня, но за общее дело...

Петька умер.

Но Семка все еще буянил, ругался и все еще рвался бить Петьку.

— Да он умер, — кричали ему. — Куда ты лезешь?

— А я его мертвого! — орал Семка. — Я его, мерзавца, мертвого избью! Черрт! Я его, скотину, и мертвого не прощу...

И неизвестно, до чего дошло бы дело, но тут же появилась милиция и стала составлять протокол о случившемся.

Петьку похоронили как обычно и даже поставили памятник.

К памятнику Ванька прибил специально заказанную им дощечку, на которой волнистыми золотыми буквами было написано: погибшему за общее дело.

Придельвая эту дощечку к памятнику, Ванька думал про себя: «Жалко, этот мерзавец рано загнулся... Сколько он еще мог бы для меня поработать! Экая скотина! Врет-то... как на санях едет! Ну туда тебе и дорога, брехун собачий!»

День этот был осенний, холодный, сырой. Ветер завывал над головами людей, рвал ставни, одежду и срывал последнюю листву с деревьев.

Ванька продолжал свои мысли: «Вот Семен-то и дурак... Семка дурак... Не понимает, что общее дело не от нас зависит... Да, я его ограбил!.. Ну и ограбил! Значит, так надо... А Петька врал. Ну и вранье надо... А Семка — что такое? Только мечта одна! Дальше своего носа не видит...»

Тучи ходили почти над головами людей. Ветер выл свою унылую песню, и стоял пронизывающий, сырой ноябрьский холод.

Поднявши плечи кверху от холода и сгорбившись, Ванька быстро шел домой, пришептывая не то по адресу Петьки, не то по адресу Семки, а вернее, по адресу их обоих:

— Мерзавец... Меррррзавец... Меррррзавцы...

Однако, в сущности, к этим людям причислял и себя самого, если не всех вообще. Эту оценку, кроме того, он давал себе и не только бессознательно, но вполне отчетливо и сознательно.

— Мерзавцы,— шептал он, дрожа от холода,— мерзавцы...

ЗАВЕЩАНИЕ О ЛЮБВИ

Первая глава

1

Мы возвращались с похорон нашего сослуживца Александра Павловича Орлова, который был переведен в наше учреждение всего только год назад.

Это был настолько странный и замкнутый человек, что я не знаю даже, как его можно было бы характеризовать.

Ему было лет около пятидесяти. Он был высокий, худощавый, с очень молодым лицом и почти без всякой проседи. Говорил он не то что мало, а совсем ничего не говорил, кроме служебных дел. Приехал он в наш город одиноким, с двумя-тремя чемоданами, сразу же сел за бухгалтерские книги и ограничивался, приходя на службу, едва-едва заметным кивком головы с встречающимися сослуживцами. С ним пытались заговаривать, приглашать в гости, шутить, переходить на дружескую ногу, но он оставался совершенно неприступен и ни на что никак не реагировал.

Александр Павлович не производил впечатления холодного, гордого, или злого, или нервно расстроенного человека. Наоборот, всем казалось, что в душе у него живут и клокочут очень большие и очень горячие чувства или, вернее, когда-то жили и клокотали. Все переживали так, что какие-то несчастья или просто большие события в жизни сделали его замкнутым, необщительным, угрюмым человеком, а вовсе не так, что это у него от гордости, самомнения или прирожденной холодности.

Его даже готовы были любить, если бы он проявил хотя бы отдаленный признак желанья с кем-нибудь пообщаться или хотя бы просто поговорить.

Все усилия раскатать этого человека и иметь с ним какое-нибудь дело, кроме службы, разбивались вдребезги; и Александр Павлович, с тех пор как начальство почему-то сочло нужным перевести его в наше казначейство, так и оставался в течение целого года нелюдимым, угрюмым и неразговорчивым человеком.

Свою работу по службе он делал довольно аккуратно, степенно и не спеша, так что с этой стороны положение его в казначействе было хорошее и никто не высказывал о нем никакого недовольства. Работа у него шла как-то сама собой, механически, естественно, и никто на это не обращал никакого внимания. Он делал что надо, и все тем кончалось.

Но все чувствовали, что в этом человеке совершается какая-то большая внутренняя жизнь; и много дал бы каждый из нас, чтобы узнать, чем же в конце концов жил этот человек и что за причина этой странной молчаливости и закрытости.

В церковь, на отпевание Александра Павловича, умершего в несколько дней от брюшного тифа, пришло много наших служащих. Но на кладбище пошло только три человека: я, помощник умершего по бухгалтерии, потом помощник казначея Димитрий Родионович Петухов и старший кассир Константин Афиногенович Лебедев.

У нас у троих были кое-какие общие интересы, и мы часто собирались философствовать на разные темы. Мы же как раз и были главными застрельщиками против нелюдимости Александра Павловича, применяя разные средства, чтобы затянуть его в нашу компанию, и постоянно терпя в этом решительную неудачу.

Что-то связывало нас с покойником, почему и оказалось, без всякого уговора, а само собой, что мы пошли за его гробом на кладбище.

Возвращаясь домой, мы шли, печально повесивши свои головы, и долго не могли начать какой-нибудь разговор.

Пройдя два-три переулка после кладбища, я наконец прервал молчание, проговоривши сквозь зубы:

— Станный был человек!

На это никто не ответил, и оба мои спутника продолжали мрачно шагать домой.

Через несколько минут я опять процедил:

— Так вот и унес свою тайну! Пойди теперь — разбери!

На это вдруг очень оживленно заговорил кассир Лебедев:

— А знаете что? Господа! Я и забыл вам сказать. Вчера, распорядясь около его гроба, на квартире, и приводя в порядок с его хозяйкой оставшиеся вещи, я натолкнулся на целый чемоданчик рукописей! Вы понимаете?..

— Как рукописей? Что за рукописи? Александра Павловича? — засуетились мы с Петуховым.

— Ну да! Чьи же еще? Рукописи Александра Павловича Орлова!

— Так чего же вы нам раньше не сказали? — набросился на говорившего помощник казначея Петухов.

— Но посудите сами, Дмитрий Родионович! Когда же я мог бы это сделать? Вчера пришлось хлопотать около гроба, разговаривать с хозяйкой, условливаться с духовенством, заказывать могилу. Ведь все это выпало на меня.

— Как жаль, как жаль, что вы об этом не сказали раньше! — жаловался без всякого основания Петухов, как будто действительно было вчера или сегодня кому-то до этих рукописей.

— Я, Дмитрий Родионович, очень уважаю покойного Александра Павловича, потому и счел и своей обязанностью, и своей честью потрудиться около его гроба. Рукописи не пропадут. И если у вас, Дмитрий Родионович, такое большое желание с ними ознакомиться, то что мешает нам сейчас зайти ко мне и начать разборку того, что осталось?.. Жена будет очень рада..

— Идем, идем! — с восторгом крикнул я и схватил Петухова под руку.

Мы ускорили шаги и через несколько минут вошли в квартиру Лебедева, где любезная хозяйка, вероятно, уже поджидала нас, так как было готово некоторое угощение. И мы засели за разборку чемоданчика, который Лебедев принес к себе домой вместе с некоторыми другими вещами Александра Павловича.

— Вот видите, — начал хозяин, — мы так и знали! Смотрите, какую уйму написал! Ведь это труд не одного и не двух лет. Это ведь на несколько томов! Вот чем он занимался дома. А вы помните, Виталий Алексеевич, — обратился он ко мне, — все еще приставали ко мне: «Да что он делает весь вечер дома один?» Я вам говорил, что этот человек может делать только нечто очень важное и значительное. Вот теперь и смотрите! Ведь это же несколько толстых книг!

Действительно, объемистый чемоданчик был набит большими листами писчей бумаги, сшитыми в толстые тетради и сплошь заполненными весьма убористой скорописью. Большинство тетрадей имело название; кое-какие были еще не кончены; везде были главы, параграфы. По всему видно было, что покойный весьма тщательно занимался своей литературой, как будто бы рассчитывал на печатный станок, хотя всем было совершенно ясно, что ни о какой печати и в голову ничего не приходило у покойного.

— Смотрите! — восторженно выкрикивал Лебедев. — «О промысле Божием» — толстая тетрадь. «Что такое человек?» — толстая тетрадь. «Нет большей

фантазии, чем сама действительность» — тоже довольно объемистая тетрадь. «Женщины» — потоньше. «Завещание о любви»...

— Давайте читать «Завещание о любви», — не сдержался Петухов.

— Правда, правда! — присоединился я. — Давайте начнем с этого. Лебедев не сразу согласился:

— Видите ли... Мы будем, конечно, читать все. Но, я думаю, не поискать ли тут какой-нибудь автобиографии, что ли, или чего-нибудь вроде дневника. А то ведь мы, в сущности, совершенно не знаем, что это был за человек Александр Павлович. Мы не знаем ровно ни одного факта из его прошлой жизни.

— Да нет, нет! — возражал Петухов. — Где же тут автобиография? Вы видите, здесь все темы отвлеченного и систематического характера. «Я и мы», «Зверь из бездны», «Вверх пятами»... Я думаю, о любви — самое интересное...

— В конце концов все равно, — сказал Лебедев. — Ведь мы же всю эту массу сочинений все равно будем читать от крышки и до крышки и, конечно, с одинаково глубоким интересом. Давайте «Завещание о любви».

— Давайте, давайте! — присоединился я и предложил Лебедеву начать чтение.

Константин Афиногенович надел очки, придвинул к себе керосиновую лампу, немного усиливши в ней огонь, откашлялся и начал читать.

Мы с волнением слушали.

2

— «Завещание о любви», — деловым и объективным тоном прочитал Лебедев заголовок рукописи.

«Я любил несколько раз в жизни. И вот мой вывод: любовь надо ликвидировать. Любовь — это наивность и ничтожество, это та сонная беспомощность, от которой избавляется человек, когда прекращается его сон. Любовь — я имею, конечно, в виду любовь между мужчиной и женщиной — умрет, когда человек поднимется на высшую ступень культуры. Да и на низшей ступени его не покидала мечта о такой жизни, где нет этой болезненной и бесплодной сутолоки любви и где не женятся и не выходят замуж. Он только не умел создать себе такую жизнь, называйте ее ангельской или как там хотите. Мы же должны научиться жить без любви и создать новую жизнь без этой кисло-сладкой дребедени, которую так смакует человечество целые тысячелетия.

Мою теорию любви я изобрел после пережитых мною неудач. Любители плоского остроумия тотчас же объяснят этими неудачами всю мою теорию. Заявляю: с такими критиками я не желаю иметь ничего общего и считаю за лучшее не отвечать на подобное остроумие. Что жизненный опыт человека предопределяет его философскую теорию — это для меня трюизм. Что мои неудачи как-то привели меня к моей философии любви — факт, который я не считаю нужным опровергать. Однако никакой опыт и никакие факты не способны сами по себе дать теорию. Теория, государи мои, это царство не опыта, а мысли, не фактов, но идей. И эти мысли, эти идеи настолько обоснованы сами в себе, настолько не нуждаются ни в каких еще новых подтверждениях, что это тоже для меня стало давным-давно простой банальностью. И учить вас тому, что такое мысль, я тоже не считаю для себя нужным.

Я расскажу ряд фактов. Всякий увидит, что из них нельзя логически вывести всю мою теорию любви. Всякий факт слеп. При желании можно из него вывести все что угодно. Я вывел одну теорию, а вы, возможно, выведете другую. Это и значит, что дело тут не просто в фактах, а еще и вот в этих маленьких словечках «я» да «вы». Да, впрочем, будете ли вы что-нибудь выводить из этих фактов, это тоже меня не касается. Выводите или не выводите — что угодно. Да и кто такие вы, тоже свободно можете оставить при себе.

Вот мой первый факт.

Это было давно-давно, еще в детстве. Я имел самое большее десять лет от роду. Я уже учился в гимназии — кажется, в первом классе. На рождественские каникулы моя мать и кое-кто из детей обычно уезжали из нашего города в боль-

шое село — тоже почти город, — расположенное верстах в ста от нас, где проживал еще целый большой дом многочисленных родственников по материнской линии, то есть моих дядей, теток, кузенов и кузин. Жили мы там обычно дней десять, возвращаясь на Крещение домой, так как седьмого января начинались в школе занятия.

Так случилось и в этот год.

Нас, детей, вообще говоря, баловали. В течение всех святков редкий день не посещали нас гости или сами мы не были в гостях. В нашем доме елка зажигалась не раз и не два, а самое меньшее раза четыре-пять. То же самое делалось и в других домах. Елка сопровождалась подарками, лакомствами, играми, танцами, домашними спектаклями, всякими интересными занятиями и маскарадом.

Я не знаю, были ли наши родители в те годы действительно состоятельны, или они жили не по бюджету, или если по бюджету, то не отказывали ли они себе во многом для того, чтобы дать детям и всей семье провести праздники в подлинном смысле празднично и весело. Я этого не знаю. Я знаю только то, что наши праздники были в самом деле обставлены празднично и затейливо. И это веселое, красивое, нарядное Рождество, много раз проведенное нами в селе, на всю жизнь остается в моей душе настоящим праздником, тем единственным временем, когда я всерьез был счастлив и беззаботен.

В описываемый мною год елка в нашем доме запоздала, так как до 1 января все вечера или были расписаны между другими домами, или были заняты взрослыми, куда нас пускали мало и неохотно. В такие вечера нас обычно рано укладывали, ничем лакомым не кормили; и вообще это были не наши дни. Первая елка в нашем доме была устроена только 1 января.

Народу было много, и взрослых, и детворы. И те и другие невзирая на возраст кружились вокруг елки, взявшись за руки, с пением и музыкой. И еще после этих плясок и кружения много ели, пили, играли, шутили, бегали, рассыпаясь по многочисленным комнатам большого и празднично прибранного дома.

Мальчиков и девочек была масса. Получался прямо какой-то детский дом.

Еще бегая вокруг елки в бумажных колпачках, получаемых из трубочек с елки, и стреляя хлопучками, я вдруг заметил одну девочку — тоже моего возраста, — которой почему-то дали держать бенгальский огонь.

Один из моих дядей вынул откуда-то очень длинную бумажную тесьму, зажег ее с одного конца и дал держать этой девочке.

Ее поставили несколько в сторону, чтобы бегавшие вокруг елки не задели горячей тесьмы. И девочка очень старательно и осторожно обращалась с тесьмой, следя за ее медленным сгоранием.

Большая зала вся преобразилась. Свечи на елке вдруг как бы погасли и превратились в едва заметные бледно-желтые светящиеся точки. А вся огромная комната наполнилась сильным, резким, белым, похожим на электрический дуговой фонарь освещением; и на полу, на стенах стали обозначаться такие же резкие тени от быстро двигавшихся фигур.

Бегая со всеми вокруг елки то в одну, то в другую сторону, по команде того же самого дяди, который зажег бенгальский огонь, я сначала совсем не обратил никакого внимания на девочку, державшую в руках бенгальский огонь. Схватившись за руки, с песнями, музыкой, просто с веселыми криками мы пробежали много раз вокруг елки, пока наконец я на нее взглянул.

Взглянувши, я сразу почувствовал что-то совсем, совсем неожиданное.

Я даже через несколько мгновений вышел из круга и стал поодаль, чтобы лучше наблюдать эту девочку. И на это никто не обратил внимания, так как детей было очень много и многие по несколько раз вступали в круг и выходили из него.

Что такое? В чем дело? Ужасно ясное чувство знакомства. Безусловно, я ее где-то видел, где-то давно-давно и притом близко-близко. Но где же и когда? Ничего не мог вспомнить! Такое резкое и мучительное чувство знакомости — и полная невозможность представить себе время и место былой встречи. Или это, может быть, было во сне? *Во сне* я ее видал? Или это какая-то моя родственница

(их было у нас много), которую я давно не встречал? Ничего, ничего я не мог вспомнить. Такие знакомые, такие близкие мне черты лица... Вероятно, я стоял, в буквальном смысле разинув рот. И никто и не догадывался, какие душевные усилия затрачивал я в это время, чтобы вспомнить.

Нет! Ясно, это была незнакомка. Таня — ее звали Таней — пришла к нам в этот вечер в первый раз. Я даже потом установил, кто ее родители, и как они появились в селе, и почему в этот день она была приведена к нам.

Незнакомка — и такое чувство знакомости и близости!

Но что же такое Таня? Почему я обратил на нее такое внимание?

О, это теперь только, после многих лет жизни, я до некоторой степени могу что-то об этом сказать, да и то слишком ясно для меня невозможность найти настоящие слова. А тогда, десятилетним мальчуганом, я мог только стоять с раскрытым ртом и иметь совершенно смутные и хаотические чувства, хотя, впрочем, и весьма напряженные, весьма острые. Да, этот образ мучил меня не раз в жизни. Потому я и помню его больше, чем самого себя, и не забуду во всю вечность.

Удивительная вещь: есть лица, для которых ровно ничто не характерно. Думаете, не бывает так? Думайте как хотите. Но для меня это факт. Бывали у меня в жизни встречи, когда я ровно ничего не мог сказать о внешнем характере лица. И когда вспоминаешь и говоришь о таком лице, то ровно ничего не вспоминаешь такого, что надо было бы обязательно отметить.

Какого цвета были у Тани глаза, волосы, самое лицо, ничего не могу сказать! Просто не помню и не знаю! А волосы также были таковы, что даже не помнится, были ли они вообще. Вот до чего доходит дело. А ведь должны быть какие-нибудь волосы, и должны же они иметь какой-нибудь цвет.

Скажу больше: смотря в такое лицо, не видишь даже самого лица. Видишь что-то совсем другое, а совсем не лицо и, может быть, даже не человека. Это бывает в двух случаях: когда человек слишком ничтожен и мал, так что лицо его как бы еще не лицо, как бы только еще обрубок дерева, ждущий своего человеческого оформления, и когда в человеке слишком большое духовное содержание, — тогда лицо его являет уже нечто большее, чем просто лицо, и в нем провидишь уже высшие мысли, превосходящие обыденную жизнь человека. Относительно же Тани, пожалуй, нельзя было сказать ни того, ни другого. Она была далека от пустоты тупой бессодержательности, но если сказать, что ей были свойственны какие-то невероятные духовные глубины, то это было бы слишком грубым преувеличением. Какие там духовные глубины у десятилетнего ребенка?!

И тем не менее лицо у Тани было именно таково, что в нем не было ничего внешнего, ничего внешне описуемого. Но что же было тогда? Какое внутреннее содержание тут раскрывалось?

Прежде чем я употреблю те бледные слова, которые я способен произнести в этом случае, я сделаю еще одно примечание. В Тани ничего не было внутреннего! Вы, конечно, опять удивитесь и разведете руками. Пожалуйста, удивляйтесь. Можете даже совсем не читать моих записок. Но если вы хотите читать, то верите вы там или не верите, но я вам говорю: лицо у Тани было неопишимо внешне, но и внутреннего в ней — именно как *внутреннего* — тоже ничего не было. Вы скажете: не было ни внешнего, ни внутреннего, а что же было? Может быть, это значит, что вовсе ничего не было?

А вот тут-то вы и ошибаетесь. Была *Таня*. Не внешнее и не внутреннее, а просто сама Таня. Я не знаю, почему это нужно называть внешним или внутренним. Была *Таня* — и больше ничего. Понимайте как хотите. Была Таня, и я ее видел, видел своими физическими глазами, — что же тут особенно внешнего или специально внутреннего?!

Итак, была Таня.

И что же о ней сказать, о самой Тани-то?

О самой Тани скажу вот что.

Это была зрелая, не просто взрослая женщина. Да, да! Женщина, имеющая опыт пола и даже деторождения. Обязательно деторождения, обязательно! Женщина, знающая тайны общения полов, тайны зачатий и утробного ношения, женщина, имеющая опыт деторождения, кормления и воспитания ребенка...

Помилуйте, скажете вы, да ведь ей же, вы сказали, десять лет! Ничего поделать не могу. Можете не верить. Но я вам говорю то, что я видел, а видел я — да, конечно, десятилетнего ребенка! Вы правы, миллион раз вы правы — биологически, физиологически, психологически или как там еще! Да, Таня была ребенком. Если бы ее подвергнуть медицинскому освидетельствованию — вы, синьоры, конечно, под это подкапываетесь, — то что ж тут говорить! Ребенок как ребенок, с довольно худым тельцем, не очень развитым... Ну и все прочее!.. Но ведь я уже вам сказал, что не в этом дело. Для вас, мясников и коновалов — ну пусть врачей, что ли, мне это не важно, — для вас Таня ребенок, а для меня ребенок-то ребенком, а вот на самом деле и не просто ребенок. Поняли? Не просто ребенок, говорю.

Женщина, имеющая опыт любви и брака; женщина, знающая тайну семейных отношений; женщина-жена и женщина-мать — вот что увидел я в Танином лице при этом странном свечении бенгальского огня. Вот и все! Впрочем, могу прибавить еще весьма многое. Но не думаю, чтобы этим я сказал что-нибудь большее.

Таня поразила меня необыкновенным внутренним спокойствием, какой-то особенной духовной и благородной тишиной. Да, удивительное это ощущение тишины вокруг некоторых людей. Я это испытал не раз и на других людях. Подходишь это к человеку, иной раз даже с каким-нибудь недобрый и даже гневным словом, а посмотрел ему в лицо — и баста! Запнется язык, и ничего не скажешь, и почувствуешь стыд, и отойдешь в смущении. Иной раз едешь где-нибудь в переполненном трамвайном вагоне; тут тебя давят и спереди, и сзади, и с боков; и вдруг кто-то сзади с яростью обрушивается на твои ноги и наступает на них, вызывая немилосердную боль. Один раз я в такую минуту обернулся назад, готовый крикнуть: «Потише копытом! Жеребец!» Да! Обернулся это я назад, взглянул на человека, отдавшего мне ноги, — и баста! Вижу простое, широкое русское лицо какого-то мужичка. Улыбается это он ласково, с эдаким веселием, словно по душе гладит какой-то бархатной лаской. И даже извинения не просит — все ясно: его ведь самого чуть не задавили. И баста! Хотел назвать жеребцом, а на поверку вышло — ничего не смог сказать. Заулыбался и я сам; и уже потом, спустя несколько мгновений, тоже ласково и тоже с улыбкой заговорил: «Папаша! В тесноте, да не в обиде!» И мужичок еще больше расцвел: «Ведь оно ежели в обиде... так не токмо до конки — и до своего носу не долезешь!» Кое-кто из бывших в вагоне даже рассмеялся: «Ну ты, отец, уж и расскажешь!» «А ты думал что? Да вот...» И «отец», давимый со всех сторон, начал рассказывать какую-то историю, доказывавшую, как хорошо можно жить в тесноте, да не в обиде.

Таня была тихая. Тишина ровными и плавными потоками разливалась вокруг нее, вокруг ее худенького тельца. И я вам скажу прямо: эту удивительную тишину человеческой души я ощущаю в буквальном смысле физически, просто вижу и осязаю телесными органами. На эту тишину натыкаешься, как на каменную стену. Думал: человек как человек, и больше ничего, а, однако, подступись-ка напролом — и, откуда ни возьмись, вдруг упираешься в эту тайную тишину, окружающую этого человека в виде некоей непроницаемой атмосферы; и она крепче, сильнее, неприступнее, чем любая физическая защита.

Таня была тихая. Тишина мягко струилась вокруг ее облика. И вокруг нее замирало всякое волнение, умиротворялось всякое неразрешенное томление, и измученная грудь начинала дышать ровно и легко. Этот мир души, не смущаемый никаким гамом и шумом бытия, нежно разливался по жилам; и чувствовалось, как кровь начинает двигаться совсем по-новому, как бы переходя к своему естественному, не возмущенному от житейских бурь и

страстей и потому столь редкому круговращению в организме. Небесная жизнь — тихая. Ангельский мир — безмолвен. Недаром говорят о *вечном покое*. Это земля такая крикливая, такая суматошная. Это человеческое и природное бытие — воспаленное, сумбурное, сумасшедшее. Ангельское славословие — тайно, тихо, умно, безмолвно, как те немногие часы в природе, когда по безмятежному синему небу, при всеобщей симфонии тишины, неслышно совершает свой величественный и вечный путь безмолвный пожар полуденного летнего солнца. В этой чудной и блаженной тишине телесно осязаем образ будущего века, и умными очами зрим сияние славы грядущего преображения твари.

Так стоял я разинув рот и впивался глазами в открывшееся мне видение будущей и вселенской тишины.

Я перебегал с места на место, чтобы рассмотреть Таню с разных сторон. И каждый раз с трудом отрывался, чтобы сохранить пространственную ориентацию в огромной и наполненной людьми зале.

Таня стояла с полуопущенными глазами, слегка склонив голову набок, внимательно следя за горевшей в ее руках тесьмой.

Наконец бенгальский огонь потух, и все как бы погрузилось в какой-то полумрак. И только постепенно глаза привыкали к прежнему освещению, исходившему от зажженных свечей елки.

На несколько минут Таня скрылась в общей шумной и быстро двигавшейся толпе мальчиков и девочек, и я долго не мог ее разыскать в наступившей — после бенгальского освещения — коричневой и темно-желтой полутьме залы. Даже внешне это было как бы некое видение, потому что до освещения я ее просто не видел или не заметил, а после освещения она смешалась с общей толпой и ее невозможно было найти при тусклом свете ламп и свечей.

Наконец я нашел ее глазами, да и к прежнему свету уже все привыкли, так что тьма уже перестала и ощущаться. Таня бегала с каким-то мальчиком, немного старше ее, довольно высоким и плотным, который, как я потом заметил, вообще старался не выпускать ее из своих рук.

В чем дело? Что это он пристал к ней так прочно? Ведь все же меняют себе партнеров в беготне сотни раз; и даже трудно разобрать в этой шумной и веселой толпе, кто собственно около кого и на какое время.

И тем не менее этот толстый самоуверенный мальчишка буквально не выпускал Таню из своих рук.

Как же мне быть? Я чувствовал, что мною владеет какая-то высшая сила, не спрашивающая моего согласия, и сила эта, во что бы то ни стало, тянула меня к Тане и заставляла начать с ней разговор.

Я чувствовал и страх, и смущение, и даже некоторую дрожь в разных частях своего младенческого тела, но я ничего не мог сделать с собою! Вы вот думаете, что ежели, мол, человек чего хочет, то и делает, а чего не хочет, того и не делает. А вот тут как раз наоборот. Я сразу нашел себя под властью двух сил: одна повелительно толкала вперед и гнала к Тане, а другая удерживала на месте, чем-то грозила и не пускала.

Мое «я» было не с первой силой, а со второй. Я именно чего-то боялся, очень и очень страшился не только заговорить с Таней, но и приблизиться к ней; и, будь моя воля, я, казалось бы, просто убежал бы куда-нибудь с глаз долой. Но мною владела и первая сила. Вопреки моему желанию, вопреки моему страху, наперекор с моим стремлением исчезнуть — она гнала, прямо-таки толкала меня к Тане, и, к удивлению своему, я сам находил себя вдруг рядом, в двух шагах от Тани.

«Иди, иди, иди!» — бухало в голову, ударяло в ноги, звало и прямо тянуло, физически толкало — одно. Другое — томно разливалось по всему телу, парализовало мягким бессилием все члены, нагружало ноги свинцовым грузом и нежно, лукаво и внушительно пело в оторопевшие уши: «Не надо! Не наааадоооо! Не наааадоооо!!!»

Вторая сила не считалась ни с чем. И в первую же секунду, когда толстый мальчуган почему-то вдруг отошел от Тани, я подбежал к ней и, не помня сам ничего, крикнул — вероятно, каким-то замогильным голосом, — старался скрыть от других:

— Девочка!

Она остановилась и удивленно посмотрела на меня.

Я стоял и молчал. Да и что я мог сказать? Даже неизвестно было мне самому, зачем я ее окликнул и что, собственно, хочу ей сказать.

Она вдруг улыбнулась и протянула мне руку, но не для того чтобы сейчас же броситься со мною вскачь вокруг елки. Она не то что подала мне руку, а, лучше сказать, как бы взяла меня за руку. И — молчала. Улыбалась и молчала...

Долго ли, мало ли мы так стояли, не помню, но помню, что я в конце концов спросил:

— Девочка, как тебя зовут?

— Таня, — ответила она. И тут же спросила: — А тебя?

— А меня Суша. — Меня, Александра, в детстве и юности почему-то все называли Сушей.

И мы опять замолчали.

Стояли, улыбались и молчали...

Какой вид был у меня, мне сейчас трудно представить, но Таню я хорошо, очень хорошо помню. Сорок лет помню это лицо. Стояла она такая худенькая, беленькая, с тоненькой шейкой и тоненькими, мало развитыми ручонками, с слабой и наивной, почти совсем младенческой грудкой, стояла такая хрупкая, такая незащищенная, такая прозрачная, такая простая...

Стояла, держала меня за руку и молча улыбалась.

Вдруг, откуда ни возьмись, налетел Тимошка — так звали ее самоуверенного толстого кавалера — и сердито закричал:

— Танька! Чего ты тут чухаешься?

И при этом он презрительно, не говоря ни слова, посмотрел на меня.

Тимошка не дал Тане ничего сообразить и быстро увлек ее танцевать, смешавшись с общей толпой пляшущих детей.

Не любил я Тимошку. Ему было всего двенадцать лет, но он держал себя с нами как настоящий взрослый. Познакомился я с ним тоже только в этом году и, признаться, почти его не переваривал. Он был виноват сам: его гордость и самоуверенность отталкивали от него всех. Почему-то понравилась ему Таня, и он целый этот вечер никого к ней не подпускал, а она совершенно наивно отдавалась ему и, вероятно, даже не придавала этому никакого значения.

Что мне было делать? Ссориться с Тимошкой я совсем не хотел. И не потому, что это был Тимошка, как равно и не потому, что из-за Тани. Просто не хотелось ни с кем ссориться. Да и зачем? Что тут такого особенного, если бы я танцевал вальс с Таней или во что-нибудь с ней поиграл? Почему это нельзя? Ведь с кем же угодно можно, и никто не обидится. Почему же нельзя с Таней?

Тимошка не выпускал Таню из рук.

Я начинал страдать.

Правда, я сам не знал, о чем мне говорить с Таней и на что она мне нужна, но, несмотря на это, так нестерпимо хотелось быть около нее, так все побледнело и посерело, что было вокруг, в сравнении с нею!..

В тоске и отчаянии я даже ушел из залы в детскую.

Зачем я туда пошел, тоже не знаю. Но только вскорости я вырвал из своей ученической тетради листик и написал на нем:

«Таня! А у меня книжки есть. Приезжай к нам. И орехи тоже».

Мысль была, очевидно, такая: здесь — Тимошка, а вот если тебя привезут к нам в город, то там я покажу тебе свои книжки и угощу орехами.

Записку эту я улучил минуту всунуть Тане без ведома Тимошки.

И убежал. Убежал опять в детскую.

Так тоскливо, так горестно было у меня на душе в это время.

После яркой, жаркой и душной залы в детской было темно и прохладно. Горела только в углу перед образами лампадка, и тихо млел настоящий темно-малиновый сумрак.

Из залы глухо доносились крики и пение детей, звуки фортепиано, хлопнушки, выстрелы из детских пистолетов и громкие голоса взрослых.

Шум этот тоже как бы оказывался погруженным в прохладный полумрак; и я, чувствуя большое изнеможение, сел на длинную, но низенькую скамеечку, обитую ватой и мягкой блестящей материей.

Я долго сидел, подперевши голову обеими руками и сильно согнувшись всем своим телом.

Было пусто, темно, прохладно и тихо. Только слабый огонек лампадки загадочно навевал какую-то тайную мысль, нежно беспокоил в этой малиновой мгле безмолвно-грезящей детской.

Видение жены и ребенка, матери и девочки погасло во мне с своими резкими, «бенгальскими» очертаниями, но оно не исчезло, а ушло куда-то вглубь, в самую далекую мглу души, и начинало жить там новой, неведомой, завораживающе-сладостной жизнью.

Я осязал у себя внутри, у себя в сердце этот трепетный образ девочки Тани; и чувствовалось, что там, в сердечной глубине, накаплиют слезы и вот-вот подойдут к горлу и появятся на глазах, что пробуждается какое-то давнее, но забытое знакомство, что Таню я узнал, признал, отождествил с той, которую видел когда-то давно-давно, чуть ли еще не до своего рождения.

И в изнеможенном детском теле своем осязал я новую и тайную жизнь, какое-то нерешительное и колеблющееся, но уже настоящее, уже осязаемое преобразование; и под грузом тоски и скорби шевелились в душе едва-едва уловимая, но уже непререкаемая, уже подлинная и вечная радость и юная, вечно юная и свежая весна и ласка любви.

Как мучительно, как горестно, как тоскливо и мрачно, несправедно было на душе! И — как тихо, как светло, как безмолвно и умирно, как чисто и страстно, тепло и уютно!

Но каково же было мое удивление, когда я обернулся к заскрипевшей двери в детскую и увидел Таню!

Таня нашла-таки меня и вот решила даже войти в нашу детскую, явно убежавши от своего нахального кавалера за несколько больших комнат.

Первые мгновения мне было трудно сообразить, и я оставался без движения, с головой, повернутой к двери и к появившейся на пороге Тане.

Потом я подскочил к ней, схватил ее за руки и потащил усаживать вместе с собой на скамеечку, полубессмысленно повторяя:

— Таня, Таня! Милая Таня! Сядь сюда, Таня! Милая Таня!

Ничего не говоря, она села со мною рядом и стала смотреть на меня ласковыми-ласковыми, тихими-тихими, глубокими-глубокими и, главное, какими-то удивленными глазами.

Она смотрела мне прямо в глаза, и я смотрел ей прямо в глаза. И осязалось какое-то физическое слитие двух душ, как будто бы через глаза протягивались какие-то невидимые нити или струи, единившие оба живых существа в одно нераздельное целое.

О, как мне памятны эти чудные мгновения, когда глаза Тани светились таким умом, таким живым и задорным умом, такой лаской, такой материнской и знающей лаской!

Нет ничего прекраснее на свете живого играющего ума, этих трепещущих внутренних энергий юной души, выступающей в игривой и веселой внешней осязаемости, с задором и как бы вызовом, но в то же время с глубочайшей и чистейшей наивностью и удивлением стоящей перед грозным и часто свирепым лицом неукротимой и злой жизни.

Эти энергии, выходявшие из глаз Тани, впивались, всасывались в меня, наполняли мне сердце, грудь и горло, светились в голове каким-то темно-малиновым сиянием, окутывали все мое тело, все мое существо; и я начинал

чувствовать, что и все тело как бы переполнено, перенагружено внутренне разливающимися струями тихой и тайной, светообразно-легкой радости.

Она, как и там в гостиной, тем же движением схватила меня за руку и стала тихо шептать, как бы рассматривая меня и удивляясь мне:

— Суша, Суша, Суша...

А я молчал, улыбался, опять молчал и опять улыбался — и не мог оторваться от этих глаз, засасывающих меня в светлую и безбрежную бездну ликующего и живого ума, какого-то вечного, что ли, ума.

Тут вдруг стало мне тесно. Я вдруг почувствовал, что я связан, скован, заперт, что я не могу никуда двинуться, что мое сердце и моя душа находятся в тюрьме, в сыром, темном погребе, что железное, стальное кольцо давит мое существо и мешает двинуться с места.

Вокруг меня во мгновение ока встали каменные, сырые, осклизлые стены подземной тюрьмы; и размеры моего застенка оказались похожими на какой-то домик сторожевой собаки, в котором нельзя ни сесть, ни лечь, ни встать во весь рост. Этот каменный черный мешок стал давить мне голову, грудь, сердце, все тело, и я не мог двинуть ни одним членом и не мог расправить затекшие и дрожавшие конечности. И только эти два Таниных глаза, только они одни, уже без лица, без туловища, без самой Тани продолжали светить в этой сырой и вонючей тьме своим нежным и кротким, своим умильным и засасывающим сиянием.

Я вскочил со скамейки, потом вдруг сел опять. Потом опять вскочил и потом опять сел около Тани, но на этот раз уже бессильно рухнул своей головой на ее плечо и страстно, судорожно зарыдал, заливаясь целым потоком горячих и ничем не удержимых слез.

Таня обхватила мою голову обеими руками, прижала ее к своей худой и слабой груди и стала гладить ее своими бледными ручонками.

— Суша... — шептала она. — Милый Суша... Милый мой мальчик... Суша...

А когда я продолжал рыдать у нее на груди и не унимался, она говорила:

— Суша... И я с тобой... Милый мальчик... И я с тобой... Я всегда с тобой...

В это время дверь тихо скрипнула, кто-то заглянул в открытое отверстие — и вдруг Тимошка с шумом и криком подскочил к нам и, уже несколько не сдерживаясь, заорал во все горло:

— Танька! Чем ты тут занимаешься? Я вот скажу отцу. Марш отсюда! Выкатывайся вон отсюда. Слышишь?

Я перестал плакать и немного отодвинулся от нее, утирая глаза своими обоими кулаками. Таня опустила руки на колени и сидя смотрела умоляюще и безмолвно на стоявшего перед ней расвирепевшего Тимошку, который в эту минуту казался еще выше и стоял перед ней почти как взрослый.

— Вон отсюда, — продолжал он, — вон!

Таня поднялась со скамейки, но не двинулась дальше, а я вдруг почему-то прошептал:

— Таня, не уходи, останься!

— Вон, вон отсюда! — орал Тимошка.

— Танечка, Танюша... не уходи! — шептал я.

— Я кому говорю? Танька! Пошла вон отсюда!.. Да что мне с тобой разговаривать?..

И он схватил ее за руки и стал тащить к дверям, а притащивши к дверям, стал выталкивать ее из детской.

— Тимош, — начал было я, — за что ты ее?.. Она хорошая...

— А ты меня, стервец, еще припомнишь, я тебе покажу, как с Танькою нюхаться!

И он победоносно и театрально вышел из детской.

В комнате опять воцарились тишина, прохлада и темно-малиновый сумрак.

В отдалении слышались музыка и крики танцующих и играющих детей и взрослых.

В углу высоко, ровно горела молитвенно тихая лампада.

Я опять опустил на свою атласную скамеечку, опять подпер руками низко опущенную голову и не знал, что со мною творится и что, собственно говоря, сейчас произошло.

Откуда все это и что все это значит? Еще в начале елки я был так радостен, так беззаботен, так бегал и баловался по гостинной вместе с другими детьми... И вот сейчас я уже не мог вернуться туда, в залу, вернуться ко всем гостям и начать делать то, что делали все прочие.

Описывая этот вечер теперь, через тридцать пять лет после всего происшедшего, я и сам удивляюсь глубине моих переживаний, хотя ни тогда, ни даже теперь не могу досконально понять, что же это были за переживания и что я, собственно говоря, тогда переживал.

Севши один на скамейку после ухода Тимошки, я слышал у себя в душе какой-то дребезжащий и старческий голос отчаяния и тоски, как будто бы плакал какой-то охрипший ребенок, которого сильно и несправедливо побили.

Тихий малиновый сумрак по-прежнему нежно и неслышно струился по комнате.

И я сидел, думаю, довольно долго, сидел бездумно и бесчувственно, слыша у себя внутри ноющий и страждущий вопль бессмысленно избитого живого существа.

Это тягостное томление было прервано совершенно неожиданно. Вошел Тимошка, неся на десертном блюде два вкусных горячих пирожка, с дружеским и заискивающим выражением лица.

— Суша,— интимно и любезно заговорил он,— Суша! Прости меня! Не будем ссориться. Прости меня. Давай в знак дружбы съедим по пирожку. Это я так... дурака валял... Съешь, на вот, а потом и с Таней потанцуй... А то ты бог знает что, небось, подумал...

Я встал и был в недоумении.

— Давай помиримся, Суша! Нельзя так! — с большой любовью говорил Тимошка.— Возьми вот этот, он на тебя смотрит. А я вот этот...

— Тимоша,— наконец тронулся и я,— Тимоша... И ты меня прости. Будем с Таней танцевать вместе, и ты, и я...

Мы обнялись, и Тимошка взял один пирожок и начал есть.

— Ешь! В знак дружбы!

Я взял и начал есть.

Боже мой, что это такое? Сделавши два-три глотка, я почувствовал ужасное колотье внутри, и мне стало трудно дышать. Еще мгновение — и я стал буквально задыхаться, начал бегать со стороны в сторону, потом свалился на пол и стал кататься по полу в невыносимых муках.

Тимошка моментально исчез.

Через минуту вбежала Таня с иступленным криком:

— Не ешь! Суша! Не ешь пирожки!

Увидевши меня на полу, она подошла, наклонилась ко мне и стала быстро говорить:

— Ты съел? Господи, что же делать? Я сама видела, как Тимошка положил в пирожок две булавки... Я еще думала: зачем это? И пошла. А потом Аня Спиридонова говорит: зачем это Тимошка в детскую пошел? А я уже догадалась зачем... Да вот поздно... Господи! Что же делать? Суша, Суша милый... Стань на колени, я тебя по спине побью...

Я встал на четвереньки, и она стала наносить мне слабенькие удары своими худосочными кулачками. Но ничто не помогало, и я почти терял сознание.

— Суша, Суша, что же делать? Скажи, что же делать? Пойти сказать?

— Таня,— едва-едва хрипел я,— Таня, дай слово, что не скажешь никому о Тимошке...

— Но как же так, как же я скажу?

— Скажи, что Суша баловался и случайно сам проглотил булавку...

У меня потемнело в глазах. И как ни быстро обменялись мы с Таней словами, я уже больше ничего не мог ни сказать, ни подумать.

И — свалился в обмороке на пол.

Что было потом, мне неизвестно.

По рассказам присутствовавших, Таня с криком выбежала из детской и в одну минуту смутила весь веселый вечер. Все направились в детскую и нашли меня без чувств на полу. Таня сказала, что я подавился булавкой; и тотчас же был привезен доктор, который не только принял экстренные меры, но даже в этот же вечер произвел надо мною какую-то нелегкую операцию.

Жизнь моя была спасена, но я еще с месяц был болен; а последствия внутренних ранений сказывались еще несколько месяцев.

Таня исполнила свое слово, и о Тимошке никто не узнал ничего. Объяснили каким-то баловством, о котором и я после извлечения булавок сочинил целую историю.

Вот и весь мой факт, «первый факт», о котором я хотел здесь рассказать.

Могу добавить только то, что ни с Таней, ни с Тимошкой я больше не встречался и потом даже потерял их из виду. Тимошка, по слухам, куда-то переехал вместе со своими родителями. Таня же чуть ли даже не умерла. Мне было неприятно и боязно о них расспрашивать у других. О Тимошке — неприятно, а о Тане — боязно.

Во всяком случае, на следующих святках я уже не встретил ни того, ни другого, а еще через год кончилось и благоденствие нашего дома вместе со всеми рождественскими увеселениями.

Родители мои почему-то обеднели, перестали жить широко, и у нас уже не было прежних богатых и шикарных вечеров.

Так и ушли, удалились в какие-то мутные туманы вечности, и Таня, и елка этого года, и маленький толстый преступник Тимошка, и все наше милое и безоблачное детство.

Все это стоит передо мною как видение нездешнего мира, как некая прочитанная, очень давно прочитанная повесть, как смутный сон, виденный в раннем-раннем детстве. И, думаю, еще не до рождения ли даже моего виденный сон?

В течение жизни вспоминал о Тане довольно редко, хотя помнил всю ту встречу до самой последней подробности.

Иной раз пройдет несколько лет — и ни разу не вспомнишь этого странного видения в детстве. А когда вспомнишь, все предстанет в яснейшем виде; и больше всего начинают опять впиваться эти удивленные глаза матери и девочки, как бы говорящие:

— Вот ты какой, Суша! Ишь ты, Суша, какой! А я и не знала, какой ты на самом деле!

Вот это мой первый факт».

3

— Здорово, вот это здорово! — не удержался вставить я, прерывая чтение Лебедевым рукописи Александра Павловича.

— Да, это интересно, это весьма интересно, — заговорил Лебедев, прекращая чтение. — Я вам говорил, что в этом человеке кроется что-то совсем особенное, совсем необычное.

На это Петухов критически заметил:

— Разумеется, это интересно, это, если хотите, даже замечательно. Однако — не в осуждение покойному будь сказано — эти мысли и чувства при всей их глубине... несколько неясны... не совсем понятны...

— Но чего же вы хотите, Дмитрий Родионович? — вскинулся я. — Ведь это же переживания десятилетнего ребенка...

— И при этом тут такие переживания, — добавил Лебедев, — которые не под силу анализировать и взрослому.

— Я понимаю, понимаю, — ответил Петухов, — я это очень хорошо понимаю. Я ведь ни в чем и не осуждаю Александра Павловича. Мне только бы хотелось большей ясности...

— Вы хотите, чтобы десятилетний гимназист был философом и рационалистом? — опять вскинулся я.

— Нет, нет, Виталий Алексеевич, совсем нет! — ответил тот. — Я только вот слышу имена, уменьшительные детские имена, и... и, собственно говоря, больше ничего не слышу в разговорах между ними. Что они говорят между собою? «Таня» да «Суша», «Суша» да «Таня» — и больше ничего. А хотелось бы знать, что же, собственно говоря, чувствовали-то эти Суша да Таня. Чего, например, Суша вдруг зарыдал на груди у Тани? Откуда взялся Тимошка и что заставило Таню его слушаться? И все прочее... Тут хотелось бы ясности...

— Я думаю, дорогой Димитрий Родионович, — сказал Лебедев, — что вы действительно вносите сюда излишний рационализм. Мне кажется, весь аромат этой встречи в том и заключается, что они так-таки и не сказали ничего друг другу.

— Но позвольте! — сопротивлялся Петухов. — Я вполне понимаю, что десятилетние могли не уметь выразить своих чувств. Но ведь автор-то этих записок не десятилетний же. Ведь автору-то было в момент составления этих записок, если не ошибаюсь, около сорока пяти лет? Изображение чего-нибудь неясного не есть же само по себе неясное изображение. Предмет изображения неясен, но само-то изображение этой неясности, оно-то должно быть ясным? Не правда ли?

— Вы очень много хотите от Александра Павловича, — возразил я. — Достаточно уже одного того, что этот человек, по профессии бухгалтер, человек, не имеющий высшего образования, вообще за эти вопросы взялся. Пусть тут не все ясно, но ясно тут все-таки многое, очень многое... Если это не так уж художественно, то еще большой вопрос: ставил ли себе автор этих записок какие-нибудь художественные задачи? Что касается меня, то, по-моему, что угодно, но только не поэзия...

— Конечно, конечно! — присоединился Лебедев. — Я вполне с этим согласен.

— Ну я настаивать не буду, — ответил Петухов. — Я уже сказал, что это все весьма интересно и этого для нас пока вполне достаточно... Однако не продолжить ли нам наше чтение? Ведь это только же «первый факт»!

— Да, да! — подхватил Лебедев. — Имейте в виду: это еще только начало. Тут чтения столько, что, пожалуй, за раз и не успеть.

— Давайте читать дальше, а обсудим потом, — ответили мы с Петуховым. — Читайте дальше.

И Лебедев, поправив очки на носу, опять приступил к чтению рукописи умершего Орлова.

Вступление Елены ТАХО-ГОДИ.

Публикация А. А. ТАХО-ГОДИ.

Подготовка текста А. А. ТАХО-ГОДИ и В. П. ТРОИЦКОГО.



Александр СЕКАЦКИЙ

Фотоаргумент в философии

Философия и фотография на первый взгляд несовместимы. Привычный ход рассуждений о фотоискусстве порождает своих специалистов и знатоков, но в каком-то смысле это вредная привычка, мешающая нам разглядеть метафизическое сообщение, которое несет в себе фотография — «то, что написано светом», ибо в буквальном переводе с греческого «фотография» и означает «световое письмо».

Давно прекратились споры — считать ли фотографию видом изобразительного искусства; ее принято рассматривать в близкой оппозиции к живописи и рисунку, и здесь сразу же возникает наезженная колея сравнений, пролегающая через сферу эстетической образованности. В последнее время к классическому ряду сравнений прибавилось кино, но и здесь ход рассуждений сводится к «обретению новых возможностей» и к тому, что кино «не отменяет» фотоискусства: за фотографией великодушно (и порой даже с некоторым изяществом) признают право на самостоятельное существование.

Другой характерный тип дискурса — область внутренних сравнений и оценок, здесь улавливаются различия между школами, индивидуальностями, фотография становится привычным предметом искусствоведения. В настоящее время оба дискурса обогатились множеством нюансов, среди них есть и безупречные суждения вкуса. Однако накатанная колея уводит в сторону от сути, от вопросов, остающихся непроясненными и даже незаданными. Например: что изменилось в мире с появлением фотоаппарата? Каков вклад фотографии в структуру восприятия — в видение и узнавание мира? Остаются, наконец, и такие темы, как «фотография и время» или «фотография и память», их вдумчивое рассмотрение могло бы иметь не меньшее значение, чем философия техники и даже философия науки. В мире, где возможно выражение «давайте сфотографируемся на память» (тем более где такое выражение привычно), речь идет уже о какой-то другой памяти, не о той, о которой писали Аристотель и Августин. Для поиска возможных фотоаргументов в рассмотрении основных метафизических проблем следует переместиться из сферы искусства в область совсем иную — туда, где фотографии Александра Родченко и Бориса Сметлова образуют единый континуум с любительской фоткой «на память» и фотокарточкой, вклеенной в паспорт. В этот же континуум войдут и газетные фоторепортажи, и рекламные фотоплакаты. Главная тайна фотографии скрывается именно там, где предполагается обычная фотокарточка, — в семейном фотоальбоме, например, или в сельском доме, где карточки висят под стеклом, засиженным мухами.

В одной из лучших своих книг, в «Творческой эволюции», Анри Бергсон одним из первых реализует давно напрашивающуюся идею: внести добавления и коррективы в оптикоцентрический образ мышления, определяющий европейскую метафизику. Начиная с Платона, философия оперирует бликами света: явление, рефлексия, отражение, эйдос (вид), видимость... Изобретения Шарля-Луи Дагерра и братьев Люмьер, основанные на оптических эффектах, рано или поздно должны были обогатить не только способы восприятия мира, но и арсенал мышления. Бергсон прибегает к помощи этих изобретений, когда пытается объяснить, почему текущие формы жизни предстают в научной картине мира как неподвижные картинки:

«Предположим, что желают воспроизвести на экране живую сцену, например, прохождение полка. Для этого существует легкий и действенный способ. Он заклю-

чается в том, что с проходящего полка делается ряд мгновенных снимков, и снимки эти проецируются на экран таким образом, что они очень быстро сменяют друг друга. Так происходит в кинематографе. Из фотографических снимков, каждый из которых представляет полк в неподвижном положении, строится подвижность проходящего полка. Правда, если бы мы имели дело только со снимками, то, сколько бы на них ни смотрели, мы бы не увидели в них жизни: из неподвижностей, даже бесконечно приставляемых друг к другу, мы никогда не создадим движения. Чтобы образы оживились, необходимо, чтобы где-нибудь было движение, и движение здесь действительно присутствует: оно находится в аппарате. Процесс, в сущности, заключается в том, чтобы извлечь из всех движений, принадлежащих всем фигурам, одно безличное движение — абстрактное и простое, так сказать, движение вообще. Таково искусство кинематографа. И таково также искусство нашего познания. Вместо того чтобы слиться с внутренним становлением вещей, мы помещаемся вне их и воспроизводим их становление искусственно... Восприятие, мышление, язык действуют таким образом. Механизм нашего обычного познания имеет природу кинематографическую»¹.

Развернутое сравнение, предлагаемое Бергсоном, позволяет отметить два интересных аспекта. Во-первых, наше восприятие мира изначально построено кинематографически и представляет собой *кинематограф до кинематографа*. Именно «движение, которое находится в аппарате», дает нам возможность прокручивать все комедии, мелодрамы и триллеры повседневной жизни². С другой стороны, понятия нашей науки (в отличие от образов восприятия) представляют собой «моментальные снимки»; их можно сколько угодно перебирать и классифицировать — движения не возникает, для этого должен быть запущен «аппарат».

Однако внимательное чтение отрывка наталкивает нас на небольшую, но крайне принципиальную неточность: «моментальный снимок», о котором говорит Бергсон, — это не фотография, а кинокадр. Путаницы между кадром и фотоснимком не избежал, увы, и Ролан Барт. Но, смешивая пробы разнокачественного времени, мы неизбежно упускаем суть дела — это все равно, что не уметь отличить друг от друга образы восприятия и образы памяти. Фотография безжизненна только в чужеродном для нее времени кино, но и кинокадр, затерявшийся среди фотографий, воистину мертв.

С момента изобретения дагерротипии прошло уже примерно полтора столетия. С тех пор фотография в техническом смысле очень далеко ушла от первых посеребренных пластинок. Хотя самое главное остается неизменным — собственный масштаб времени, формирующий реальность изображения: «вымирание» дагерротипов, конечно же, затрудняет реконструкцию революции, произошедшей в сфере восприятия. Фотография оказывается новым типом хроносенсорики, который невооруженному человеческому глазу непосредственно недоступен.

Вспомним первые сеансы Дагерра: «клиент» должен был сидеть не шелохнувшись многие минуты, чтобы его изображение запечатлелось на пластинке; всякое шевеление смазывало контуры до неразличимости. Современники предполагали, что будущее дагерротипии — это фиксация натюрмортов³, своего рода ксерокопирование неподвижных вещей. Попытки Дагерра воспринимались как своего рода трюк, который займет свое место в цирке наряду с другими аттракционами. Прорицатели ошиблись, не смогли они оценить по достоинству и контуры мира, увиденные только что прорезавшимся фотоглазом.

Обыкновенные механические часы, например, будучи запечатленными на дагерротипе, представляли собой любопытное зрелище: секундная стрелка равномерно размазывалась по циферблату, минутная закрашивала сектор, а часовая утолщалась. Никто, однако, не заинтересовался портретом времени в профиль. Новые «натюрморты» сразу же обнаружили ряд странностей — вода в стакане утрачивала прозрачность, покрывалась рябью из-за невидимых нам «подводных течений» (слишком медленных), и вообще по всему выходило, что мы преувеличиваем четкость очерта-

¹ Бергсон А. Творческая эволюция. М., «Канон-пресс», 1998, сс. 293—294.

² По сути дела, метафорой встроенного кинопроекта пользовался Дж. Беркли, полагавший, что Бог показывает нам картинки. Всемогущество Бога позволяет Ему показывать картинку, воспроизводя их вещественность, внеположенность и своевременную смену «кадра». Показать реальность вместо кино ничего не стоит, если за проектором стоит сам Господь Бог.

³ Интересные подробности из истории фотографии можно найти в книге: Cavell S. The World Viewed. Harvard. 1979.

ний мира. Рассматривание снимков могло бы натолкнуть и на другой вывод: просто мы обитатели такой хроносенсорной ниши (масштаба времени), где сущее дано в своей максимальной членораздельности, а наша философия, быть может, всего лишь следствие этой заброшенности, *помещенности сюда*. Кем бы мы были, окажись в другой нише времени, — легкий холодок ужаса пробегает по коже. Почувствовал ли его сам Дагерр? Трудно сказать. Во всяком случае, никто даже не задал вопроса, видит ли синтетический глаз то же самое, что видим мы. И какова степень искажения при передаче иного опыта зрения?

Вот уже более полутора столетий метафизическое око объектива всматривается в мир, а мы все еще не осмыслили увиденного им. Между тем оно ближе к полюсу божественного зрения, ибо фиксирует устойчивое, опуская превратности, игру случая, всякого рода поверхностность. Это необычное зрение выявляет преимущество «хороших форм», или *эйдосов*, как называл их Платон. Если бы Платон был современником Дагерра или Бергсона! Он-то уж сумел бы воспользоваться наглядным пособием. Доказывая важнейший для себя тезис о свойстве философской души «охватывать мысленным взором целокупность времени и бытия»⁴, Платон прибегает к весьма искусственному образу пещеры, не найдя под рукой ничего более удобного.

«Представь, что люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная невысокой стеной, вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол»⁵.

Фактически философ предлагает вариант устройства, несколько похожего на сатема *obscura*, предоставляя себе и собеседникам роль наблюдателя. «Представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат»⁶. Платону важно пояснить, что разноцветные тени, возникающие на стене пещеры, являются лишь отблесками истинных вещей, видеть которые узникам не позволяют оковы восприятия. До открытия фотоэффекта остается еще два тысячелетия, неудивительно, что один из участников диалога, Главкон, восклицает: «Странный ты рисуешь образ и странных узников!»⁷ Будь в распоряжении философа фотоаппарат, его история наверняка звучала бы иначе. Ну примерно так: представьте себе фотокамеру (и нас, узников, помещенных в эту самую камеру) с большой выдержкой — хотя бы аппарат старика Шарля-Луи. Этот аппарат не увидит многих наших мельканий и не зафиксирует их. Всякого рода гримасы, искажающие устойчивое в вещах, осядут в поле зрения, как туман, — пропадет все, что слишком спешит и суется. Но зато останутся стол, яблоки, арфа, горшок, стоптанные башмаки: следы прочной жизни. Такая фотокамера могла бы быть оком существа иного, чем мы с вами, — не столь легкомысленного.

Теперь увеличим выдержку в тысячу раз и всмотримся. Многого уже не останется. Яблоко сгниет, сохранится лишь семечко в нем; пожалуй, и не всякий стол уцелеет, а только прочный и хорошо сделанный.

Увеличим выдержку еще в тысячу раз и позволим нашей камере смотреть со всех точек, а не только с одной. Вот тогда сотрется все случайное в вещах — от лиры, например, останется только гармония (лиричность), ибо лишь она неизменна, а содержащие ее сосуды (музыкальные инструменты) трескаются и заменяются другими — значит, и они тоже обратятся в рябь, в туман, размазанный вокруг главного изображения. Если от лиры останется *лиричность*, то от стола — *стольность*, от лошади — *лошадность*; и мы смогли бы их увидеть, когда бы проявили такую же выдержку.

Восходя дальше, к фотоэффектам сущностного времени, мы смогли бы ясно и отчетливо увидеть то, что иногда различаем умственным взором, обращенным внутрь (отвращенным от преходящего), — мы увидели бы непреходящее, те самые божественные первообразцы-эйдосы, эталоны вещей и смыслов. Мы увидели бы, например, само эталонное мужество, а не только его размытые края, а также идею

⁴ Платон. Собрание сочинений в 4-х тт. М., 1994, т. 3, с. 264.

⁵ Там же, с. 295.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

добродетели и идею государства. Мы смогли бы непосредственно воспринимать то, что сейчас можем лишь с трудом понимать и смутно угадывать. Ведь абсолютное знание — это вовсе не накопление бесконечных подробностей, а умение видеть сквозь и через, ведь даже настоящего фотографа, мастера мы отличаем по степени близости к этому умению.

Если же поставить выдержку такую, которая и подобает Богу, то есть рассчитанную на все время вообще, вот тогда предметом созерцания (всевидения) окажется Единое и Бытие как Единое. Глаз Бога — это фотокамера с бесконечной выдержкой и абсолютным ракурсом, не зависящим от взаиморасположения вещей. А мы — детали медленно проявляющегося Изображения, каждому из нас предстоит уйти в туман или в лучшем случае сжаться в точку в итоговом контуре Бытия.

Платон так и не воспроизвел решающего доказательства реальности эйдосов, таинство умозрения слишком далеко отстояло от первых наглядных моделей. Око, способное в принципе увидеть лошадность, можно было описать лишь апофатически, а не конструктивно. Бергсон уже научился философствовать фотографией и вполне осознанно использовал модифицированный язык оптикоцентризма: «Полагая Бога, с необходимостью также полагают все возможные с него снимки, то есть монады. Но мы всегда можем представить себе, что снимок был схвачен с известной точки зрения, и такому несовершенному уму, как наш, естественно распределить качественно различные снимки по качественно тождественным разрядам и положениям точек зрения, откуда снимки могли быть сделаны. В действительности не существует точек зрения, ибо существуют только снимки-монады, каждый как неделимое целое и каждый по-своему изображающий реальность как целое, такая реальность и есть Бог»⁸.

Фотография преподнесла человеку урок восприятия, хорошо усвоенный и тут же (и именно поэтому) прочно забытый. В свое время Гельмгольц установил важный факт, относящийся к физиологии зрительного восприятия, факт вполне тривиальный, но с трудом входящий в построения здравого смысла. Оказалось, что умение видеть неподвижное представляет собой самое позднее эволюционное приобретение (земноводные к этому еще не способны). Например, лягушка реагирует только на движущийся предмет — на комара, цаплю, вообще на всякое мелькание. Если ничего в поле зрения не движется, то лягушка ничего и не видит. По существу, лишь у человека формируется способность к различению стабильной экзemplарности мира. И вот фотография представляет собой следующий шаг в этом же направлении. С изобретением фотографии человек, находящийся между лягушкой и Богом, совершил маленький шагок вправо. Отсюда вытекает одно любопытное следствие: хотя кинематограф как воплощенный технический принцип появился позже фотографии, но как внутренний аппарат восприятия кинопроектор древнее фотокамеры.

Движущиеся картинки примитивнее неподвижных, они навязчивее и вообще легче усваиваются потребителем. Неудивительно, что киноэффекты быстрее вросли в ткань психических процессов, они плавно вписались в организацию сновидений, памяти и воображения. Грезы, проецированные на экран, структурно ничем не отличаются от спонтанных порождений собственной фантазии, будь то сладость мести, эротические фантазии или легкость идентификации с героями-персонажами. Если кинокамера и является оптическим протезом, контактной линзой воображения, то следует признать, что протез этот вживлен до самых глубин: предельная близость к внутренней схеме апперцепции практически исключает возможность отторжения. Происходит скорее обратное — атрофия собственных усилителей воображения. Ленивый разум привыкает во всем полагаться на проводника, передоверяя «смену картинок» лучу кинопроектора.

С фотообъективом дело обстоит иначе. Несмотря на долгий период взаимoadaptации, в ходе которого фотоглаз удалось приблизить к режиму работы естественных фоторецепторов, дистанция все же осталась. И ее преодоление требует усилий.

И все же путь бесконечной выдержки, свойственной всевышнему оку, нам не подходит. Человек — существо смертное, ему некогда ждать, пока исчезнет преходящее в вещах: ведь сам ожидающий может исчезнуть еще раньше.

⁸ Бергсон А. Творческая эволюция, с. 332.

Тут открываются два пути. Образующаяся развилка отделяет друг от друга любительское фото и фотографию как искусство. Рассмотрим вначале мемориальную функцию фотографии, благодаря которой фотоаппарат стал обиходной вещью, главным протезом зрительной памяти. Теперь любой турист готов по первому требованию предъявить целую охапку «остановленных мгновений» в полной уверенности, что ему позавидовал бы сам Гете. Восклицание Гете, звучавшее в форме мольбы и укора богам, сегодня можно услышать на каждом шагу. Но в этом на современный лад звучащем высказывании преобладает интонация досады: «Эх, жаль, что не захватил с собой фотоаппарата».

Действительно ли *снимок на память* есть некое движение в противоход утрачиваемому времени? Смогла ли бы фотография и здесь стать аргументом в сущностном философском споре? Обратимся к Августину Блаженному, одному из самых проникательных мыслителей, исследовавших тайну памяти.

В «Исповеди» мы читаем: «Я вспоминаю сейчас, не радуясь, то, чему когда-то радовался, привожу на память прошлую печаль, сейчас не печалюсь; не испытывая страха, представляю себе, как некогда боялся, и бесстрастно припоминаю свою былую страсть. Бывает и наоборот: бывшую печаль я вспоминаю радостно, а радость — с печалью»⁹.

Память преобразует модальность переживаний и облик предметов, она иногда приходит на помощь, но, в сущности, бессильна помочь. Опоры памяти ненадежны даже в том случае, когда требуется лишь подтверждение, что мы это «уже видели». Действительно ли мы видели *это*? Если же вещь или событие исчезли и их не вернуть, работа памяти затрудняется еще больше: «Если я перестану в течение малого промежутка времени перебирать в памяти эти сведения, они вновь уйдут вглубь и словно соскользнут в укромные тайники. Их придется опять как нечто новое извлекать мысленно оттуда — нигде в другом месте их нет, — чтобы с ними познакомиться, вновь свести вместе, то есть собрать нечто рассыпавшееся»¹⁰.

Представим теперь, что Августину говорят: есть другое место, откуда можно извлекать *нечто рассыпавшееся*, и это место — фотоархив, где хранятся тысячи свидетельств о домах и о путешествиях, о родных и друзьях, о радости и печали. Августину показывают фотоаппарат и множество фотографий: смотри, ничто не исчезло, по снимкам можно спускаться в прошлое, как по ступенькам, без всякой опасности *соскользнуть*, которая действительно подстерегает небооруженную память.

Можно вообразить себе первоначальный энтузиазм философа! Наверняка он тут же пожелает испытать эффективность памяти, вооруженной фотоаппаратом.

И вот он с восхищением начинает листать семейные альбомы, но постепенно приходит в некоторое недоумение. Тогда он берет фотоаппарат и отправляется в путешествие, заодно навещая друзей. Все значимое, взволновавшее закрепляется *снимками на память*. Теперь перебирание в памяти можно дополнить перебиранием фотографий.

Увы, это занятие лишь усиливает недоумение — перед нами все те же бескачественные продукты, безвкусные полуфабрикаты: запечатленная радость не сохранила себя как радость, а ощущения встреч все-таки куда-то ускользнули... Дело довершает снимок «Полароидом»: фотографическое изображение проявляется прямо на глазах. Все узнаваемо, все вроде бы похоже — но все абсолютно не то.

И Августин, пожалуй, решил бы, что снимки на память никоим образом не способствуют удержанию настоящего; наоборот, они подменяют действительно испытанное и увиденное ненастоящим и, поскольку обладают общепринятым статусом документальности, являются мнимым сокровищем, грудой фальшивых монет. Тут Августин мог бы обратиться к уже написанному ранее: «Нет, память — это как бы желудок, а радость и печаль — это пища, сладкая и горькая: вверенные памяти, они как бы переправлены в желудок, где могут лежать, но сохранять вкус не могут. Это уподобление может показаться смешным, но некоторое сходство тут есть»¹¹. Теперь после знакомства с «чудодейственной» насадкой памяти уподобление уже не показалось бы философу таким смешным. Он мог бы даже добавить, что память как желудок души имеет свое продолжение — фотоальбом, куда поступают непереваренные продукты.

Едва ли не каждому знакомо чувство тоски и нестерпимой скуки, возникающее при вынужденном просмотре чужих фотоальбомов и пачек фотографий, привезен-

⁹ Блаженный Августин. Исповедь. М., 1992, с. 274.

¹⁰ Там же, с. 272.

¹¹ Там же, с. 275.

ных кем-либо из очередной поездки. Нотка печали возникает на заднем плане, ибо ненадежность страховки явлена воочию и ясно, что и собственные вклады в банк по-смертной памяти пропали.

Пессимистическое заключение было бы неизбежным для Августина, если бы среди бесчисленных снимков ему не попались несколько фотоаргументов, достойных пристального внимания. Это могли бы быть, например, работы петербургских фотохудожников Бориса Смелова, Сергея Подгоркова или Ольги Корсуновой. Мгновения, остановленные в этих снимках, не утратили признаков настоящего; более того, запечатленные предметы и лица представлены как подлинники самих себя: такими они были отнюдь не в каждый момент своего длящегося или длившегося времени, а лишь иногда, в редкие моменты полноты присутствия. Фрагменты *настоящего прошлого* абсолютно узнаваемы даже безотносительно к тому, отыскалась ли для них единица хранения в невооруженной памяти или нет.

Стало быть, континуум «фотоснимков вообще» в этом решающем эксперименте утрачивает свою достоверность. Возникает трещина, местами переходящая в пропасть, по одну сторону которой собирается содержимое, извергаемое из желудка памяти, а по другую — непостижимым образом явленные очертания эйдосов, невидимых для обычного, спешного человеческого взора. И здесь мы оказываемся свидетелями второго, альтернативного пути, открытого человеку, смертному существу, которому недоступна бесконечная выдержка Всевидящего.

Дело в том, что каждая вещь, будучи искажением некоего небесного эталона, собственного эйдоса-образца, имеет свое *акме* — момент пребывания, точнее всего совпадающий с истиной о самой себе. Тут можно воспользоваться техническим термином «резкость», поясняющим философское понятие полной явленности. Вот и человек в избранные мгновения своего присутствия (причем избранные не им) соответствует формуле «замысел Бога обо мне». Мир устроен так, что все происходящее в нем обладает привилегированными точками, именно они содержатся в памяти Бога, проявляющего бесконечную выдержку. Но те же привилегированные точки можно отыскать и в безостановочном мелькании будней, в этом направлении и работают истинные фотохудожники, разведчики нового зрения.

Такая работа трудна, как и всякое обретение подлинности, она все равно требует выдержки в смысле непрерывной внутренней готовности, но она требует еще и владения фотоглазом как собственным телесно-душевым органом, а также хитрости разума и, увы, благосклонности случая (или того, кто этот случай посылает).

Художник может месяцами бродить в поисках природы, может устранять преходящее, организуя экспозицию, где сущность ближе всего подступает к краю явленности, может даже делать выборку из выборки, пролистывая бесчисленные сорные фотоархивы. Но предъявленный фотоснимок станет философским аргументом лишь в том случае, если удастся осуществить синтез вечного и мгновенного.



Литературная критика

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА

Терпение бумаги безгранично. Если разложить листы, исписанные и испечтанные литературными текстами хотя бы лет за пять, этот слой, я думаю, с избытком покроет земную сушу и сделает государственные границы несущественными (для справки: листы единственной книги объемом 400 стр., форматом 60х90 и тиражом 10 000 экз. застилают площадь в 216 кв. км). Чистый лист бумаги, ко-со белеющий под настольной лампой, слепит писателя ярче любого прожектора, но лишь до того момента, пока на нем не намарано первое слово. Многим известно непроницаемое, из какой-то глубины идущее сопротивление первой фразы; но как только лопается удачно проколотый словом барьер, во многих случаях барьеров не остается вообще.

Терпение бумаги сродни терпению природы. Литература покоряет бумажные континенты, всякий раз мечтая открыть *terra incognita*: область абсолютной белизны. *Terra incognita* продается в пачках и лежит на письменном столе исследователя. Как только первопроходец делает шаг и оставляет след, бумага медленно меркнет.

Смысл затеваемой рубрики видится мне как экологический. Разбирая различные сочинения в их взаимосвязях друг с другом и с натурой, я надеюсь понять, какво живетса писателю и читателю в измененной и постоянно изменяемой среде. Литературная колонизация действительности, по-видимому, вещь небезобидная: реальность восприимчива к вибрациям текста. Литература со своей стороны способна так перегрузить собой занятую нишу, что и тексту, и его создателю станет просто нечего есть. Литература прожорлива: нормальная проза поедает массу реальности вдвое больше собственного веса. Терпение бумаги нас, конечно, не подведет; но иногда ее молчание бывает более значительно, чем те слова, которые мы изготовились на нее нанести.

С другой же стороны, я, как и все, надеюсь, что бумага стерпит и эти мои серьезно-несерьезные литературные упражнения.

Та, что пишет, или Таблетка от головы

Прогнозы на третье тысячелетие неутешительны для литературы. Будущее прозрание словесности на обочине цивилизации (представляемой как информационный симбиоз человека и вещи, бесконечно исполняемая для Емели ария шуки) кажется всем настолько очевидным, что как бы и не о чем особо рассуждать. Именно потому, что как бы не о чем, желающих высказаться находится предостаточно. Кто только не вносит вклад в общее мнение о конце литературы — тем завоевывая переходящий вымпел в соревновании, в котором все равно побеждает дружба! Так, январский номер русского «ELLE» в подборке «Будущее», составленной при содействии профессиональных психологов, журналистов, университетских преподавателей и прочих статусных персон, помещает культуру на предпоследнее место (между пищей и пластической хирургией) и отводит литературе место куда поплоче, чем столь же, по сути, словесному и беспредметному радио — способному зато срастаться в единую вещь с автомобилем. «Будут ли читать книги новые поколения, для которых Интернет станет источником не только оперативной информации, но и развлечений? Поживем — увидим», — резюмирует автор подборки Джо Хантер. Тут же, на соседней странице, дамский журнал помещает перечень вещей, которые следовало бы изобрести в XXI веке, чтобы полностью украсить человеческую жизнь. Материал, что характерно, заглавлен «Поощенью вельню...» — и действительно, в общественном заказе на самоприкуривающиеся сигареты и на душ-сушилку (чтобы не вытираться полотенцем!) присутствует

чисто Емелино стремление подвергнуться благам, почти переходящим в виртуальность. Волшебство таинственно заключено в избыточности удобств: радио потому и может выжить в разреженном культурном пространстве, что становится говорящим автомобилем. Потребность в прорезиненной рыбине из магнетически подмигивающей проруби, способной приделать к Емелиным ведрам лапотные ножки, есть потребность потребителя самому остаться без рук и без ног — сохранить свои натуральные конечности только в качестве *видимостей*, данных человеку для его красоты и для ношения джинсов Roberto Cavalli, сапог Cerruti, перчаток Gianfranco Ferré. Книга как таковая не входит в перечень волшебных предметов: кого сегодня удивишь тем, по сути, поразительным фактом, что «...из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит»?

Чтобы стать полноправными вещами XXI века, книгам следует быть наново изобретенными. Похоже, Интернет — не единственный путь модернизации литературы. Журнал «ELLE» прогнозирует введение книг внутривенно или посредством таблеток с последующим кратким экзаменом у медсестры. Не вполне, конечно, всерьез, зато с неотразимым апломбом, столь свойственным дамским журналам и придающим любому банальному высказыванию нарядный стразовый блеск. Можно задать себе вопрос: от какой болезни «лечит» инъекция, скажем, Маканина или Азольский в таблетках по 0,5 г, три раза после еды? От незнания того, что там у них написано? А существует ли оно объективно, это знание, способно ли оно *быть* без участия читателя? Или массовому потребителю, не имеющему профессионального касательства и профессионального интереса к литературе, требуется уже не только автор, но и первичный читатель-фармацевт, переработчик художественного языка в язык химических соединений, предсказуемо воздействующих на всякий организм? Если так, то будущее литературы действительно печально: скоро только очень узкий круг посвященных будет знать, что она такое есть в действительности.

Но вот другой противоречащий вышесказанному факт: за последнее десятилетие в российской прозе, на фоне довольно-таки унылого ряда перестроечных, в затылок «Доктору Живаго» построенных романов появилось необычно много ярких женских имен. Вслед за Людмилой Петрушевской и Людмилой Улицкой, которых и дамские «глянцы» уже не могут обойти вниманием, возникли Ирина Полянская, Марина Вишневецкая, Светлана Василенко, Нина Горланова, Марина Палей. И совсем молодые, новенькие и блестящие: Анастасия Гостева, Мария Рыбакова. В Екатеринбурге вдруг безо всякого подготовительного периода заявила о себе своеобразной книгой «Заблудившийся жокей» талантливая Анна Матвеева. При этом все больше молоденьких девочек, журналисток и филологичек, пытается писать стихи. Вряд ли это шедевры: синий туман похож на обман, а у лирической героини, переешей поэтических деликатесов чужого производства, почти всегда нарушен обмен веществ. Но следует принять во внимание, что половина начинающих поэтов — на самом деле прозаики: ведь прозаик, хоть его искусство не выше поэтического, проходит более сложный метаморфоз: через стадию гусеницы, а впоследствии куколки, когда оглушенный автор уже не помнит наизусть своих стихотворений и тихо выводит первого своего *прямоходящего*, то есть прозаического, героя, чтобы вместе с ним однажды выпростаться из мокрой шелухи. В нашем случае это означает, что приток писательниц, работающих в прозе, не прервется: на фоне мужской, профессиональной и крепкой стабильности новое явление продолжит формироваться.

Почему возникновение женской прозы — если не проанализированное, то по крайней мере отмеченное всеми не ленивыми критиками — противоречит концу литературы? Потому что женщина никогда не идет на нежिलое место. В женской генетической программе не заложено быть расходным материалом эволюции. В экстремальной ситуации, когда мужчина обязан погибнуть, женщина обязана выжить. Так природа захотела, обеспечив нашу сестру многоуровневой системой защиты — от физиологической до психологической. Отсюда мощный инстинкт самосохранения, часто принимаемый, например, за специфическую русскую жертвенность, когда хорошая женщина нянчится с мужем-алкоголиком или везет на себе из Турции токи с товаром, чтобы прокормить своего впавшего в социальную спячку кандидата каких-нибудь наук. На самом деле она предпринимает эти усилия, чтобы не выпаст из жизни, и при этом очень мало считается с истинными чувствами объекта своей заботы, ставшего по стечению обстоятельств единцей ее житейского груза и героем ее сюжета. Точно так же и в литературе: нравится это кому-то или нет, но представительницы эгоистического пола приходят сюда и делают то, что впоследствии становится не-вещью, а именно книгой. Интернет, как место «подвески» текста, тоже не исключен и даже желателен (хотя знаменитая «сетка», необычайно удобная для поиска всего реального, от заработка до парикмахера на дом, все-таки не справилась пока с литературой: не выделила в ней системообразующего признака, который бы соот-

ветствовал собственной ее структуре и сделал бы проструктурированную до доньшка свалку самиздата хотя бы не такой смешной). Так или иначе, женская проза создается и распространяется; появление писательниц в той профессиональной среде, которую прогнозисты нового тысячелетия уже объявили стайкой леммингов, бегущих топиться, свидетельствует о небезнадежных перспективах художественной литературы.

Женская проза — тонкая ткань. Именно поэтому в ее структуре яснее видны дефекты, но и явственнее проступает тот феномен, который можно назвать защитой от попыток взлома художественной программы. Потенциально «сетка», претендующая на подмену процесса чтения своими коммуникативными процессами, стремится «размагнитить» художественное высказывание, избавить его от собственных внутренних связей и спрессовать в удобный кубик, ничем не отличающийся от упомянутой выше таблетки. Иначе новизна Интернета сводится всего лишь к новизне инструмента, библиотечного каталога. Но вряд ли кто-то станет спорить, что новое в «сетке» имеет место быть — хотя бы потому, что пишущие заселяют ее самостоятельно, инициативой «снизу», все, подвешенное здесь, принципиально равноправно, так что вопрос о качестве (вообще о качествах) литературы *с точки зрения этой системы* просто не стоит. Не надо думать, будто форма бытия литературы не влияет на форму ее «сознания»: лично мне уже пришлось пообщаться с юным автором, который для себя определяет прозу как наличия более или менее объемного набора придуманных слов, из которых действительно значимыми являются только слова заголовка (имя файла). Пока что новатор явно пребывает в меньшинстве, но, может быть, он как раз и улавливает лучшее остальных стремление Интернета превратить многомерную, с неожиданными осями вращения и степенями свободы штуку текста — произведение — в свою конечную единицу. Что же касается медикаментозной загрузки литературы в организм потребителя (идея, на мой взгляд, весьма неслучайная), то здесь необходима уже такая «ломалка», которая и отдельные слова разотрет в порошок.

Защита текста представляет собой фигуру, быть может, столь же призрачную, сколь призречен упомянутый выше читатель первого порядка, перетирающий произведение и составляющий — на радость вечным двоечникам — информационную микстуру. Противник данного монстра — тот тонкотельный персонаж, без которого в принципе невозможен прозаический текст. Известно — об этом, в частности, писал Александр Генис, — что прежде всякого героя автор прозы выдумывает «того, кто пишет». Произведение может быть классически объективно или, наоборот, исповедально, даже документально (Генис, исследуя развилки современной прозы, писал об «избавлении от поэзии» и «словесном стриптизе», когда автор, следуя «обнаженной до неприличия правде», подает себя читателю практически в натуральном виде). Однако зазор между реальной личностью пишущего и тем фантомом, что отслаивается от нее в виде словесной ткани, есть, рискну утверждать, величина постоянная. Добиться полной идентичности житейской персоны и персонажа, поселяемого на жительство в параллельное литературное пространство, нельзя по той простой причине, что местоимение «я» — *уже слово*. Вообще любые слова, чем точнее и подробнее они описывают факт действительности (например, живого автора), тем заметнее его искажают. Именно самопроизвольным отслоением условного «я» объясняются, например, те стыдливые затруднения, с которыми люди нелитературные сталкиваются при личной переписке: всякое *наивное* письмо представляет собой стандартную фигуру умолчания; оно похоже на упражнение по русскому, где имеются пропуски слов, скупо заполняемые сведениями персонального характера. Что же касается писателей, то их, как правило, подводит профессиональный навык, отчего они выдумывают уже не только себя, но запросто добираются и до самого адресата.

«Тот, кто пишет» есть необходимый механизм перехода из пространства реального в пространство литературное. И если по эту сторону текста фантом представляет собой отброшенную на плоскость авторскую тень (не всегда похожую очертаниями на трехмерный оригинал), то уже внутри письма реальная персона становится тенью, а призрак ее поднимается на ноги и обретает плоть и плотность, соприродные ландшафту. Он хозяин и деспот вырабатываемого автором пространства. От того, как он устроен и насколько он силен, зависят успех произведения и его защита от Емели, сговорившегося со щукой.

«Я» в женской прозе — может быть, самая убедительная и самая работающая авторская проекция из тех, что мы имеем в сегодняшней литературе. Мне кажется, что женское стремление «стягивать» на себя мировое одеяло и занимать хорошее место под солнцем приводит к тому, что тень автора в тексте получается резче и плотней, что она, иными словами, гуще окрашена. Часто самодовлеющее женское «я» переходит в произведение безо всякой утраты той витальности, какой обладает

по эту сторону текста, — чему соответствуют вещи, написанные от первого лица. Примером такой работы мне представляются тексты Ирины Полянской. Многие критики писали об ее романе «Прохождение тени», отмечая музыкальность и пластику этой исповедальной прозы. То, что я считаю нужным выделить и на что обратить внимание — а именно взаимодействие авторского «я» и организуемого этим «я» пространственно-временного ландшафта, — кажется в этом романе вполне апробированным и работающим примерно так же, как в других произведениях подобного рода и качества, включая как образец набоковские «Другие берега». Местоположение «того, кто пишет» — тающая точка на границе романного поля, представляющего собой прошлое главной героини; оптика — память. Прерогатива Мнемозины — свободный монтаж фрагментов бывшего и небывшего, установление собственной подсветки, включение в пейзаж тех таинственных элементов, чье рациональное истолкование невозможно либо утрачено; весь этот творческий инструментарий освоен писательницей на уровне, когда он просто перестает осознаваться. Не откажу себе в удовольствии привести цитату: «Мы шли долго, и я испытывала в эти минуты какое-то нежное, тающее чувство, напоминающее прощание с жизнью, окрасившее улочки, через которые мы спешили, фантастическим вечерним светом, хотя позже мама уверяла меня, что все это произошло в утренние часы. Еще она говорила, что эта женщина не стала бы скрывать своего лица, потому что я ее хорошо знала, не раз видела у отца на работе, и потому с такой готовностью протянула ей руку. Но я помню все именно так: мелькающие дома в тихом, граненом свете сумерек, серая, отворачивающая от меня лицо фигура, за которой я едва поспеваю, и торжественная печаль, словно меня во исполнение моей детской мечты уводят за край земли, за слой сиреневых облаков».

Казалось бы, успех произведения, написанного на общеизвестном (хотя далеко не всем прозаикам доступном) приеме, зависит от удачи каждого конкретного образа, иными словами — от качества наполнителя. Качество это у Полянской, безусловно, присутствует (см. цитату). Но на самом деле все гораздо тоньше. Две истории — семейная драма родителей главной героини и собственный ее сюжет с четверкой слепых музыкантов — переплетаются в тексте, как две спирали ДНК. Художественная информация, заложенная в них, не просто существует как таковая, но гарантирует своим наличием заполнение пустот — тех повествовательных объемов, где могли бы располагаться отсутствующие в тексте части биографии героини и прочих действующих лиц. Видимо, Полянская не случайно свела в роман те значимые вещи, которые уже были отчасти прописаны в ее ранних повестях. Взаимно отражаясь и задавая друг другу тот вращательный ритм, благодаря которому прошлое, расположенное как будто только по одну сторону точки авторского «я», присутствует везде, две линии романа вырабатывают сквозные метафоры, на которых во многом и держится текст. Метафоры эти (слепога как проявитель истинного бытия вещей, «зона» как спутник Земли, запуском которого гордится страна), в общем, легко прочитываются всяким более или менее грамотным человеком. Они хороши, но дело даже не в них. Дело в том, что пустоты романа не сводятся к естественным даже для линейного повествования биографическим «пропускам» (хотя эти последние, соответствуя спиральности романа Ирины Полянской, обладают тем расширяющимся само-движением, которое не может быть обеспечено линейным строением прозы). Точка расположения «того, кто пишет» задает не одно лишь обозримое, при посредстве Мнемозины, романное прошлое, но и некое пустое будущее, еще не наступившее не только к моменту написания, а и к моменту прочтения текста. «Каждый мой шаг, каждое действие было чревато будущим, даже простая гамма, даже вязание варежки — все вовлекало меня в кропотливое его *строительство*, буквально на каждом прожитом мгновении крепился вектор, убежденно указывающий на него. Все, в тот числе и мой отец, работали для *будущего*. В этом единодушии, в сретированности голосов и вещей я не могла не почувствовать всеобщую растерянность перед ним, перед будущим, как океаном вероятий, не имеющим логики, направления графика возможных бурь и расписания катастроф, — и тем не менее им следовало овладеть как инструментом для создания собственной музыки». Роман «Прохождение тени» — спираль ДНК — «закручен» так, что в движении к будущему (куда и устремлен вектор каждого эпизода) буквально «проскакивает» автора, обгоняет героиню, отъезжающую на поезде от воплотившего «красоту разлуки» статичного вокзала, и выносит читателя к нему же самому. Отсюда главный и совершенно потрясающий эффект романа: читатель общается с «тем, кто пишет» в режиме живого времени. Такова сила авторского «я». Думают, что краски романа «Прохождение тени» еще долго не просохнут.

Еще один роман Ирины Полянской «Читающая вода», опубликованный в конце прошлого года журналом «Новый мир», также написан от первого лица. Главная героиня делает диссертацию по истории кино и тоже общается с прошлым, но уже не со своим. Угасающее светило отечественной кинематографии, вельможный старец,

чье имя-отчество Викентий Петрович, приобретает в стилевом контексте романа весьма павлиньи расцветку, некогда снял наряды с заурядными работами «в унылой эстетике колхозных пажитей и прокуренных кабинетов павильонных райкомов» гениальный фильм, который по постановлению министерской комиссии был смыт. Осталась легенда, которая настолько волнует героиню, что она вступает с патриархом в сложные отношения интеллектуального флирта-провокации. Здесь героиня «видит» и подает читателю эпизоды, которые по сюжету не могут относиться к сфере ее компетенции. Ее молодая Мнемозина не может воспроизвести ни сцен молодости Викентия Петровича, ни истории его любви с певицей Анастасией Георгиевой, сыгравшей главную роль в смытом фильме-опере «Борис Годунов». Что это — ошибка писательницы? Вряд ли, ведь Полянская в своем деле профессионал на уровне базовых рефлексивов. К тому же в ее романе совершенно нет разрыва между частями «объективными» и частями «субъективными»: эластичность «ошибки» такова, что текст органически един. Мне кажется, что в «Читающей воде» Полянская достигла такой эластичности и универсальности «того, кто пишет», что это уже не воспринимается невооруженным глазом и кажется таким же естественным, как способность гимнаста летать под куполом цирка. Авторское «я» в романе как минимум двухслойно; возможно, более детальный текстовый анализ выявил бы в тонком теле автора дополнительные измерения.

Почти одновременно с романом Ирины Полянской «Читающая вода» появился текст совершенно в другом роде, но не менее любопытный в смысле строительных и управляющих качеств авторского «я». Роман Марии Рыбаковой «Анна Гром и ее призрак», опубликованный «Дружбой народов» в восьмом и девятом номерах за прошлый год, буквально воспроизводит ситуацию, когда реальная персона автора и «тот, кто пишет» обмениваются сущностями. Признаюсь, меня восхитила главная системная идея романа; какая-то особая чуткость писательницы к тому, что такое на самом деле переход от жизни к тексту, помогла ей выбрать для «я» почти идеальную позицию и обосновать ее в фантастическом сюжете.

Оказывается, есть очень много общего между писателем и призраком мертвеца. Писатель по отношению к тексту, как усопший по отношению к оставленному миру, обладает неким даром всезнания, позволяющим проникать в умы и обстоятельства других персонажей. Писатель, как и покойник, не просто высылает свое тонкое тело в описываемый мир, но, прожив в реальности некую историю, *возвращается* к ней на письме, как вампир в фамильное гнездо. Так Муза является, когда уходит любовь; и естественно, что писатель, будучи по отношению к тексту существом потусторонним, видит события не так, как они происходили в его действительности (см. выше о свойствах Мнемозины). По отношению к читателю текст — вещь медиумическая: призрак автора иногда отвечает на вопросы. Мистическая связь между текстом и рядом реальных событий, его породившим, занимала Борхеса: «В тот вечер у меня ужинал Бийой Касарес, и мы засиделись, увлеченные спором о том, как лучше написать роман от первого лица, где рассказчик о каких-то событиях умалчивал бы или искажал бы их и впадал во всяческие противоречия, которые позволили бы некоторым — очень немногим — читателям угадать жестокую или банальную подоплеку». Здесь рассматривается почти умозрительная, но от этого не менее волнующая возможность расшифровки, реконструкции реальности по тексту путем спиритического допроса авторского «я» (при этом лукавый призрак все равно окажется хитрее читателя, потому что подоплека, которую из него, допустим, удастся вытянуть, тоже будет вымыслом и хитросплетением). Так или иначе, реальный автор умирает в «том, кто пишет»; роман Марии Рыбаковой и имитирует как раз смертные записи героини.

Роман состоит из сорока писем, которые девушка-самоубийца отправляет с того света своему жестокому возлюбленному. В течение сорока дней, пока душа покойницы еще витает среди живых, Анна Гром пытается досказать адресату свою остающуюся правду. Статус призрака, между прочим, обосновывает ту психологическую пронизательность и образность мышления, которой обладает автор прозы, но не может обладать героиня — довольно простенькая девушка, чья влюбленность, собственно, и объясняется благоговением перед более сложным и успешным существом. Вечная проблема прозаика: как наделить свое «приведение», по сюжету не являющееся художником, своим художественным даром? Решается проблема по-разному: грубо — «тот, кто пишет» становится в тексте коллегой автора, более тонко — когда противоречие буквально *списывается* на условность, то есть снимается искусным письмом. Анна Рыбакова, счастливо «схватив», что приведение есть метафора писателя, нашла нечто третье. «То, что от меня осталось, обладало невероятной памятью и способностью улавливать то, что прежде не воспринимали органы чувств, очень чутко: я не видела, но знала про эту поверхность, шероховатая она или скольз-

кая, в общем, все чувства подменились неким знанием...» Неправда ли, очень похоже на контакт литератора со своим измышленным пейзажем, где его реальные, физические органы чувств не действуют, зато к его призрачному представителю приходит «некое знание», универсальное в текстовой системе координат? Замечательно и то, что мертвая Анна Гром пишет свои послания на призрачной, как бы «давно сгоревшей» бумаге: ведь в самой прозе никакой бумаги, на которой она напечатана, просто не существует. Кстати, присутствует в романе и банальная, она же ужасная, подоплека: уже совсем под конец среди все более зыблущихся сообщений покойницы вдруг выскакивает буквально прыщущее отчаянием и сарказмом письмо вполне живого адресата: оказывается, это сам «дорогой Виламовиц» строчит переписку с повесившейся Анной, чтобы избежать наконец раздражающее, как фурункул, *принудительное* чувство вины за эту ненужную жизнь и ненужную смерть. Затем текст заволакивает его догадку мертвой зыбью каких-то последних, уже не так, как в русском языке, поставленных слов.

Роман «Анна Гром и ее призрак» можно, пожалуй, упрекнуть в стилистической непроработанности картин потустороннего мира, откуда героиня иногда будто ведет репортаж. Дело не в банальности фактуры (берег, путь по воде, встречающие тени и так далее): этот ландшафт, наверно, и должен быть банальным. Но, мне кажется, у Марии Рыбаковой хватило бы писательской оснастки, чтобы в стиле, в языке передать невыразимость загробного (в самом финале романа есть, повторяю, некоторый стилистический сдвиг, который задним числом обещает успех); тогда и банальность стала бы знаком этой невыразимости. Однако недостатки состоявшегося произведения не должны, по-моему, особо занимать интерпретатора. У Марии Рыбаковой структура «того, кто пишет» поддержана и приемом, и сюжетом; вообще это лучшая выдумка из того, что возникало за последнее время на моем читательском столе.

Анализ «той, что пишет» женскую прозу можно с успехом продолжить. Было бы интересно покопаться в произведениях Марины Вишневецкой, где призрак автора, будто месяц в тумане, разливает молочное свечение и делает видимым самый воздух текста; неплохо бы обратиться и к вещам Анастасии Гостевой, построенным по принципу «ненужное подчеркнуть». Однако уже разобранного достаточно, чтобы утверждать: если вдруг, по шучьему вельенью, какой-нибудь читатель-профессионал откроет способ пережевывать литературу до состояния таблетки от головы, то главное удовольствие, помимо денег, будет его. Помнится, в университете, когда сдавали «зарубежку», некий знающий человек изложил нетерпеливым слушателям «Божественную комедию» за четыре минуты, просто перечислив, кто за что сидит (в аудитории слушателей ждал экзаменатор — и он уж точно был не медсестра). В романе Антона Уткина «Самоучки» главный герой пересказывает своему армейскому другу, в одночасье ставшему новым русским, джентльменский минимум художественной литературы, но ликбез кончается плохо: лимузин, где происходили лекции, взрывается вместе с хозяином, книги разлетаются в лужи. Тем не менее потребность назрела и продолжает возрастать: выходят и успешно распродаются различные пособия в помощь школьникам, где *все* содержимое русской классики изложено на двухстах страницах не очень мелкого текста. Только этого мало: потребитель, занятый делами куда как более существенными, желал бы не читать вообще.

Доказывать, что художественный текст никогда не будет миниатюрной штучкой, которую можно запитать минералкой, — занятие бессмысленное: все уже доказано. Бессонный призрак автора охраняет клад. Важней отметить страсть к миниатюризации всего, что охватила Емелю не иначе как под впечатлением от компактв и дискет: теперь Емеля занят вопросом, сколько чертей поместится на конце иглы — и идите вы, ведра, сами домой! Возможно, появление в продаже зонтиков размером с авторучку или пиджаков размером с рукавичку его бы отрезвило. Утрата представлений о собственном человеческом размере и есть утрата интереса к литературе. Тем не менее пока Емеля впадает в виртуальность, а немая щука напевает ему из проруби песню небытия, в литературу приходим мы. Умные люди знают: женщина, существо во многом инстинктивное, никогда не сделает того, что ей не нужно. Так что споры о конце литературы, вероятно, постигнет та же судьба, что дебаты физиков и лириков: они превратятся в милый исторический курьез.

Пограничье

●
Олег Павлов. КАЗЁННАЯ СКАЗКА. Романы и рассказы. М., «Вагриус», 1999.

●

Три движущие силы современного романа те же, что у католической церкви: тайна, чудо, авторитет.

В произведении должны быть тайна, некая занятая детективная история. У автора романа должно быть имя, или имя должно быть у вещей, с которыми он работает. Чудом же является неправдоподобие всего сюжета, всех его завязок-развязок, встреч, случайных совпадений, когда все становится возможным из всего, как в дурном или в счастливом сне, — и при этом, однако, картина или портрет получаются понятными и похожими, лучше, чем на самом деле.

В своем пока что самом известном романе «Казенная сказка» Олег Павлов отвечает всем этим условиям. В романе есть квазидетективная история посадки и убийства картошки, в романе есть опробованный, хотя и не потерявший своей экзотичности армейский плац в качестве места и обстоятельств действия («экзотичность», отстраненность, смещение и некое удаление от Москвы являются обязательными условиями почти всех современных удачных романов). Что же касается «чуда» и умения творить небылицы, оставляя исключительно правдоподобным, то об этом надо поговорить подробнее: погружаясь в описание, Павлов словно наяву грезит — поэтому даже необычные, определенные сочиненные вещи кажутся запечатленными очевидцем: столько в них крови и индивидуальной невыдуманной нелепости.

Наверное, таким и должен быть настоящий писатель.

Павлов силен почти физиологической силой описания, сверхчувственным ощущением чужой психологии. Притом он не гнушается и словесной игрой, что, впрочем, жестко работает на настроение его произведений, разбавляя горячность и горечь неожиданными метафорами: «Был он безликий, гладкий, точно сострогали лицо». Плотное, как говорят живописцы, «пастозное» письмо, тщательно прописанные, даже с некоторой изощренностью де-

тали, так что картина их сугубого реализма срывается в гиперболу. Но цель писателя — не радовать взгляд красотой, умелостью или гладкостью письма, а рисовать своих «мертвых», проводить колючей проволокой по нервам.

Говорить о жестокости русской жизни и ее людей — это ломиться в открытые двери. К тому же на одном подобном утверждении, на одном — этом или любом другом — *тезисе* ни один роман не пишется.

Поэтому беспричинная жестокость из раза в раз уравнивается в героях Павлова столь же внезапным желанием брататься, доходящим до стремления пролить свою кровь за внезапно обретенного «брата». Причем желание это может возникнуть и при полной твердости, ибо в павловском мире все живут в состоянии экзальтированном, в постоянной готовности к героизму и преступлению — в зависимости от прихоти судьбы. Это напоминает эпические произведения древности, греческие поэмы и скандинавские саги или даже русские сказки. Там так же слабо прослеживалась мотивировка действий, либо она объяснялась чисто утилитарно, ближайшим интересом или эмоцией героя: местью, жадностью, завистью.

Избранный Павловым «эпический» тон, особенно в его «Сказке», более чем уместен. Автор смотрит на происходящее «со стороны», с отдаления лет, ровным голосом рассказчика повествуя о событиях по меньшей мере редких, а порой и небывалых. И герой избран «эпический»: безвестный капитан в одной из богом забытых степных частей, человек из тех, на которых, как следует из посвящения к роману, и держится русская земля. И этот степной капитан защищает вверенную ему часть и всю русскую землю не от набегов могущественных кочевников, но просто от голода, холода и прочего, пытаясь сделать жизнь чуть-чуть более сносной.

Ничего не желая для себя, не умея даже помыслить о такой корысти, он расходуется целиком на подчиненных ему солдат, заботясь о них не как «отец-командир» — строго, но справедливо, не теряя достоинства, а как нищий бродяга-клоун заботится о своей нищей обезьянке: и приласкает, и наорет, и поплачет вместе.

Павлов по избранному им месту действия своих произведений не «столичный» писатель. В его провинции свищет вовсю

провинциальный же бред отношений, не любовь, но лишь тайно или буйно проявляемая страсть. Такова исходная декорация и романа «Дело Матюшина». Это история жизни «сорняка», выросшего среди других сорняков на заросшем сорняками поле. Чем-то отличаясь от других, он, уж конечно, не гадкий утенок с задатками белого лебедя. У Павлова не бывает неправданных чудес. Чудом является то, что, попав в условия, описанные Павловым, люди еще могут обольщаться, говорить слова и длить жизнь, а не сразу лезть в петлю.

Вернемся еще раз к тезису об эпичности этой прозы. Моральный судья в эпическом произведении — не герой, не его совесть, тем более не автор. Судьей выступают подвернувшееся божество либо рок. В «Матюшине» в истории семьи главного героя также присутствует ощущение родового проклятия — за что?! Согласно античной традиции, словно бы некий рок карает героев, но сам автор не считает — как это ни парадоксально — никого из них виноватыми. С ненавистью, имеющей сколько угодно оправданий, люди не приобретают ничего, но бесконечно много теряют — вот что хочет сказать Павлов, позволяя самому ходу вещей рассудить героев между собой.

Родные люди чуждаются друг друга, чтобы не обременять себя, лишаясь последнего живого общения, последнего звена, связывающего людей вместе. Поэтому после смерти от них остаются лишь вещи, которые и завещать некому, либо и вещей не остается. И в результате мир этого романа кажется даже хуже, чем есть на самом деле. Родители в нем не любят детей, дети — родителей. Минуты взаимной радости сменяются годами равнодушия или ненависти. Силы, которой не хватает для любви, почему-то всегда хватает для ненависти. Жизнь — как и смерть — героя не дает его родным ничего. И единственное утешение в этом одиноком мире могут принести два чужих друг другу, случайных человека, двое — всегда — мужчин: сильный, который почему-то поддерживает слабого. Либо уж старая-старая женщина пожалеет безродного доходягу.

Традиционной темы любви мужчины и женщины, пусть и жертвенной, в прозе Павлова не наблюдается (это даже загадочно, как можно написать *большой* роман без *единого* женского персонажа!). Зато наблюдается странная история братьев, вроде карамазовской. Скрытая и явная ненависть, ревность и зависть, попытка любви и ее невозможность — из-за каких-то незабываемых вещей детства, — где одна личность черствеет и замыкается. И так замкнутой и существует дальше по жизни. Герой романа не может пробиться к другой душе. Даже душа собственно-

го ребенка не пустит, надежно защищенная от любого вторжения, пережившая что-то такое, что сделало ее недоверчивой и невосприимчивой ко всякой любви. Павлов, кажется, не верит, что может быть любовь, которая разрушает всяческую осторожность и все комплексы агрессивного недоверия. Что предмет такой любви вообще может существовать.

В «Деле Матюшина» в отличие от «Казенной сказки» отсутствует концептуальный план. На весь роман — один ровный, хотя и мрачный фон. Событие следует за событием, словно в жизни, не порождая из причин явных следствий, действие течет, но ничего не происходит.

В этом произведении автор, по-видимому, не стремится решать каких-либо сверхзадач. Он рисует потусторонние картины жизни, отгороженной от внешнего мира заборами с колючей проволокой, и постепенное озверевание человека, впрочем, подготовленного к этой перемене.

До некоторой степени «Дело Матюшина» — это исследование поведения людей, не знающих норм и традиций и извне привитого добра, в приближенных к смерти условиях, где и добро, и зло в человеке, нутряное добро и нутряное зло, выпячиваются разом вдвойне и втройне. Роман крайне физиологичен. Чувствуешь это утомление тела и как утомление переходит в раздражение, ярость и слепую агрессивность души. Герой почти ничего не говорит и ничего не мыслит. Поведение его инстинктивно, управляемое простыми рефлексам при полном молчании разума. От избранной точки слежения, будто забравшись внутрь героя и оттуда ведя наблюдение (иначе было в «Казенной сказке», где автор, словно валькирия, витал над дракой), Павлов ближе к концу романа и сам как будто забывает, что же он хочет сказать, зачарованный картиной саморазрушения своего героя. Начинается *невнятица*, похожая на жизнь, сюжет стопорится и словно кружится на месте. Появление персонажей в тексте становится необязательным, их поступки — неочевидными. От всех героев, особенно от самого Матюшина, веет надорванностью, душевным нездоровьем — и это на фоне явной огромной врожденной физической силы. Сила без естественной подкормки разумом становится слабостью, прежде всего воли, все куда-то утекает, остается лишь ярость, долго решавшая за героя — совершить ли убийство, или самоубийство? — и случайно выбравшая убийство.

Но вот рассказ «Конец века». Суть его проста: даже среди бескрайнего цинизма всегда найдется человек, способный помочь другому человеку. В том же заключается и пафос рассказа «Митина ка-

ша»: три почти посторонних человека, нянечка в больнице, бывший зек и далекая неизвестная тетка, спасают осиротевшего мальчика.

Об этой любви, продиктованной уж никак не эротизмом, и говорит автор из произведения в произведение. А еще говорит, что ходит по земле *огромный русский человек*, злой от всего перенесенного в жизни, но в душе все же добрый, наивный и, по сути, беспомощный, несмотря на всю свою силу: «И человек понадеялся, что руки будут всегда такими крепкими, а здоровья столько, что стыдно и беречь». Ходит и тырчется по углам, глупит, бунтует, рвется и губит себя. Добрый невежественный великан, обращающий против самого себя все хорошее, что в нем есть. Иногда его спасает случайная помощь, иногда ничего не спасает. Так и бывает в жизни. Но пессимистичной или мрачной назвать эту прозу нельзя. Потому что любовь, по Павлову, зарождается так же, как и ненависть, из ничего, и это неизвестное самовоспроизведение любви в отсутствии каких-либо к ней поводов загадочно и отрадно. Любовь в человеке может произойти сама по себе, чуть ли не по произволению Божьему (а иных следов божества в этой прозе нет). Таким образом писатель защищает надличностный смысл человеческой жизни, никогда не лишая человека надежды.

Александр ВЯЛЬЦЕВ

Орфей, не молчи!

●
Ольга Бешенковская. ПЕСНИ ПЬЯНОГО АНГЕЛА. СПб., ООО «Издательство Деан», 1999.

●
 Распахнувшаяся форточка оттепели вдохнула жизнь в душу, окропила свободой: «Я такая, какая хочу! Я — воздух и свет», — но, захлопнувшись, оставила «снегурочку» одну на свету всю из света, и та не растаяла в сонме однообразно и с оглядкой говорящих. А что работала «в стол» и все больше в «утробной» миграции, с самовысекающей точностью рождая стих с крылами субтропических бабочек-метафор, то так распорядилась эпоха, словно сказочная буря, поменявшая вывески профессий: кочегар — художник, истопник — поэт. 70-е — время прятков, масок, жмурок: кто до боли, кто до смерти, кто до глупка. «Я за все свои метания в жизни плачу своими словами, своей не-

удержимо плещущей кровью», — вспомнит Бешенковская в мемуарном эссе «Viehwasen, 22». Социум развитого социализма не желал и не признавал индивидуальность с ее вневозрастным и внеполовым ощущением трагизма жизни и — одновременно — виртуозно-витальной раскрепощенностью рефлексий.

Губ не погасить
 никаким пожарным,
 Сердце
 бьется
 часто...
 До бессилья жутко...
 До безумья жарко...
 Счастье...

Трубадурочка Оля настолько сильно переживает любовь, что рассказывать об этом — «все равно что пилой — играть на скрипке» («Ключ»). Подражание разноstopному, лесенкой, напеву Маяковского скорее всего было необходимо, чтобы передать адекватность глубине чувств страстного флейтиста водосточных труб.

Из дневниково-диковатых ученических ямбов-хореев нет-нет да и прорвется верлибр — взмахом своевольного ангела, — и опять журчит рифма, и строка по-прежнему удивляет, но уже не смысловой паузой, а метафорической избирательностью образа: «улица кровотоচিত трамваем», «Душа нахохлилась совой На голой ветке позвоночника», а «чешую лоснящейся луны» гладит Хемингуэй-Нептун — «Старик-рыбак, луну поймавший в невод». Антропоморфный «макияж» бога приводит к смене образов, и перед нами не анимационная рыба-луна, а Луна-богиня, дарующая Слово. Сдвиг происходит от конкретно-вещественного значения к абстрактному, что обогащает систему здравого смысла, «каждодневно-бытового сознания» (Ю. Лотман) и пространственно-зрительную картину мира. Уплотненность материи смысла — вот поэзия. Это искусство разрушения и сотворения мира в его гносеологической прозрачности и архетипической вязкости. Бешенковская в ранних стихах-«опусах» — не становящийся поэт, а уже готовый и плотью, и кровью, и слогом.

По Аристотелю, поэт зовется поэтом скорее за созданные им образы, чем за сочиненные стихи. Его предназначение — прозревать («Да и все мы лишь человеческий фарш В голубой мясорубке дней»), страдать («А уйдешь — и брошусь в метельный бред, На скрипучий лед простыни») и чувствовать спешить («Сперва металась вкруг земного шара, Волненьем неосознанным пьяна; Потом к груди его припала шало Еще зеленоглазая — Весна!»). Тропо-топонимический лексический ландшафт, стилевое сплетение строчек и слов взрывают привычность ощущений и представлений, как будто рисуют дети,

впервые допущенные к краскам («Достану акварели — И крашу как хочу... И даже птички трели Над лесом получу!»).

И вот рисунок с натуры: «Круглый и пыльный, как старенький глобус, Катится, куриц пугая, автобус». Метафора перерастает в магический образ стянутого, зажатого в папье-маше шара, макрокосмоса. Микрочиповый мир — и праздник всегда с тобой!

Довольно частое использование вольного и свободного стиха («Ярмарка») дает биографический срез и отражает усиливающиеся внутренние противоречия взрослеющей девочки-наоборот. «Сомнительный верлибр» вносит шорохи и смуту в простоту изложения и взбивает пену вопроса сальериевским «Где ж правота?». А раздвоенность автора из полукокетливого «Ты послушай меня, Яло» будет беспокойным призраком тревожить душу и не раз разливаться плачем:

Распьем — на гвоздь — палец.
Никто никому не нужен.
Нигде. Никогда. Никто.

(Песня пьяного ангела)

Одиночество на кресте, одиночество во Христе, одиночество с самим собой. И горькой иллюстрацией — пьяный ангел, себя забывший и почти что почивший среди безликого однообразия: «На всех одного фасона исподнее и тоска». Эта тема слишком близка поэту, раз он вынес название стиха в заглавие сборника.

Но то и дело сквозь страницы смотрит на тебя и на свои «песни» состарившийся ангел, ироничный архангел, а потом начинает двоиться недетским личиком курсистки. Эффект присутствия усиливается вынесением авторских портретов разных лет на обложку, причем расположены они таким образом, что если бы не содержание, то «рубашка» книги слиплась бы плащаницей, в которой растворились бы и боль, и кровь, и — отпечатками — одни глаза, пьянящие, пленительные, стойкие и кроткие. Сборник раздвоен — надвое скроен. Но поэт внесущности и всегда один.

«Единство и теснота поэтического ряда» (Ю. Тынянов) как характерная черта стихотворных циклов («Переменчивый снег», «Граненый район», «Вечера наших дней») создают арабесковость тем и мотивов в отдельно взятом тексте, как своего рода прием наделают смысловой вариативностью, высокой концентрацией значений. Валери говорил о поэзии как «о колебании между звуком и смыслом». Так вот, чтобы не захлебнуться в пучине звуков — наяд восхитительных образов, читателю Бешенковской необходимы небольшие тайм-ауты, настолько высоки волны смысла и часты фонологически спянные гребни строк при стиливой простоте. Такая поэзия требует сосредоточенности,

гибкости воображения и неперемного повторного пиршества чтения. Того, от чего отвыкли.

«Не найти метафоры точней и невероятней, чем самая обыкновенная повседневная жизнь», — пронесется в далеком «Viehwasen, 22». Упоенная радость и жало утрат от строки к строке все ближе друг к другу — и вот уже нерасторжимость праздника и скорби являет неукротимое правило: алгоритм постижения жизни в амбивалентности ее восприятий. Потому и *пьяный* ангел, что бинарность (жизни — смерти, святости — греха, добра — зла) глубока в сознании («Формально неспроста приравнены друг к другу Кладбищенский венок — к спасательному кругу»), оттого и почти одновременная полярность эмоций, и нахлест настроений, и смех сквозь слезы, когда «остается каждому хмурый дождик, Солнечные зайчики... Каменные львы». Родство антитез, цензурная пригашенность противоположностей обнаруживают философа в неполных тридцать лет, которому ясно, что «каждый вздох — на грани катастроф», и понятно, как «отразится плоский человек В многогранной капельке росы» и что «приходит время дорости до отрицанья отрицания, До поклонения цветам, До постоянства в грустной радости Существования». В характере Бешенковской «запутываться в тропах, как парашютист в стропках, пока наконец не приземляешься сломя голову», удел ее — поэтический рок быть «наказанной условной Жизнью в буквах», потому и отливаются слова «в подсудимое золото строчек».

Тема творчества «тонкой тропкой неторопкой» скользит среди стихов, вьется здесь и там (циклы «Врифмы и вритмы», «Ступени», «Граненый район»), колет шпилькой оксюморона: «Поэзия — петля над пьедесталом И робкая росинка на листке», дышит в ухо, что «вечный смысл поэта — В непротивлении добру». И если вначале это занятие приносит удовольствие от жонглирования акустическими шариками, от нанизывания колечек-парадигм и верной аннотированной метафорической винтэссенции:

Ничего я не изображаю —
Просто звуком звуку подражаю,
Подтверждаю или возражаю,
Даже если не соображаю.
Звуки в небе плещутся стрижами,
И в ладошку тычутся ежами,
И во мгле маячат миражами,
Грудь сосут, как будто их рожали...
Я их только к речи приближаю,
На плоты бумажные сажаю...

(Рифма)

то затем музыкальность стиха наполняется ладаном безысходности: «Опять беситься от бессилья, Уйти от всех и от тебя, И задыхаться от бессинья Под серым

небом октября»; горечью откровения: «Лежи и дыши Этим внутренним небом, другое закрыв занавеской... Пусть измотан твой мозг. Пусть измотана даже душа...» Но лежи и молчи, но лежи и дыши. Оттого и свесил крылья ангел-мотылек, улыбаясь «в ромашках и в снегу» в надежде:

Лишь бы в жизни привечали
Выдох затяжной,
Наслаждение печалью...
Словом... Тишиной...

(Чай в стакане)

Сборник итожат поэмы «Снегопад» и «Реквием XX веку», звучащие набатом современности, когда «трагедии и фарс не различают», чей знак:

Безликость.
Беспогодые.
Беспочвенность всего и всех — на почве —
Броня и бронь удобного асфальта
И перебранки крошечные птиц.

Потому и тяжел прощальный выдох менестреля, лишь смежающий веки похмелья:

Никому ты не нужен, Орфей —
Не Морфей, не шалфей...—
Разве песнями рот прополощешь...
Боль зубная в душе засыпает сама...
Человечество больше не сходит с ума...

(Орфей)

Погрузившись в сон выгоды и пользы, уже никто не замечает, как грузна «прозрачность» одежд, и не страдает от схожести линий. Оттого нам и нужен Орфей-не-Морфей. Просыпайся, Орфей, не молчи!

Елена МЕНЬШИКОВА

Эстетика пазла



Юз Алешковский. КАРУСЕЛЬ. КЕНГУРУ. РУРУ. Повести. М., Вагриус, 1999.



Читать сегодня повести Юза Алешковского — все равно что слушать песни Александра Галича из сатирического раздела, типа «Израильская военщина известна всему свету...».

В первом из помещенных в книге — не в хронологическом порядке, а, вероятно, по степени компактности — произведении подобная сатира гротескно усилена тем, как обыграны известные слова Федора Тютчева насчет непонимаемости России умом и возможности приобщения к ней исключительно посредством веры. В фантазмагории «Карусель» один предста-

витель советской карательной психиатрии сам всерьез сходит с ума от психической непотопляемости главного героя, исповедующего принцип «умом Россию понимать» (с казавшимися до недавнего времени непечатными вставками), приказывает взять подписку с пациента о прекращении попыток такового понимания и отдает приказ: «Верить!» Но, как следует из повести в целом, ненормальный мир ненормализуем подобными невыполнимыми приказами. Человек старается весело расстаться со своим прошлым, сводя его с ума, но при этом никак с этим прошлым не расставаясь, продолжая срывать погоны с шинели Акакия Акакиевича от системы и разбивать страусиное яйцо поверженного советского Кашея.

В повести «Руру» (русская рулетка) автор раскрывает исповедуемую им эстетику пазла («по-нашенски *головоломка, собиралка, складывалка*»). Из известной по личному опыту Жизни, что была «разодрана, перелицована, измородована, многожды перекроена, растерзана и расколшматена обеими — ленинской и сталинской — смертельными гвардиями, из кожурочек сиротского земледелия, ошметков поруганного права, кусков труда, жилочек собственности, осколочков искусства, лоскутков веры, любви, надежды» он стремится дойти «по картошечке, по страсти, по колоску, по куренку, по буковке, по дощечке, по волошке, по обязанности, по тропинке, по милости, по почвинке, по совести, по прилавочку, по капле водицы — вплоть до некоторого хотя бы воссоздания в истерзанной нашей российской действительности Образа Истины и Достоинства трагического существования».

Свой живописный и красочный в языковом отношении пазл писатель собирает не столько с умственного верха, сколько с телесного низа. Естественно, прежде всего «низ» этот — разнообразие и оригинальность не иссякающей ни в каких «Кашеевых» ситуациях сексуальной жизни «инвалидов поганой Системы». К примеру, вождение охватывает одного из персонажей «Карусели» сразу же след за убийством офицера, с которым ему изменяла его подруга, поделница по людоедству, к которому приобщил его в голодные годы отец. Но в случае с «товарищем Сталиным» (Алешковский, как известно, является автором одноименной, ставшей «народной» песни) «низ» — просто ноги вождя, то и дело впадающие в своеобразную цензурную оппозицию к хозяину (еще несут, но уже обзываются).

Нельзя не отметить символический взгляд снизу на саму историю, когда герой «Кенгуру» наблюдает из полуподвального помещения за ходом Ялтинской конференции в феврале 1945 года, видя лишь ноги творцов нового мироустройства. На-

сколько оправдано «подвально»-художественное перекаривание самой истории в ходе такого наблюдения? У читателя, для которого это события «из времен очаковских», создается впечатление, что идея высылки крымских татар с исторической родины пришла в голову Сталину в ходе этой конференции, хотя Крым был этнически «очищен» более чем за восемь месяцев до того. А ведь не только в Россию, но и в русское «озорство» тоже хочется и вдмываться, и «просто верить».

Верх и низ пазла Алешковского пока не сложились в целостную и органичную картину, хотя авторская сердечная тоска по картинному синтезу нарастает. Изобличая нынешних «остолопствующих лакеев и ординарцев палачей», писатель таким образом обращает внимание на особенности их эстетического вкуса, — «как корчит их — словно попали-таки они наконец в руки Бога Живаго — от «Реквиема» великой женщины, от ужасной, отверстой бездны «Котлована», от вечно щебечущей птичьей фигурки поэта, свободно, то есть истинно по-птичьи, серанувшего прямо на те самые злодейские штiblеты, а заодно и на макушку рябой хари и поплатившегося за то бесстрашное озорство безумием и смертью». Однако сложившаяся свобода книжного рынка оказалась тоже не в пользу перечисленных авторов.

Но выглядит ли озорство Алешковского «инакомысляще» на фоне топота нового мирового переустройства? Кажется, сейчас, если вернуться к творчеству Алешковского-песенника, «Окурочек» в России неожиданно оказался востребован больше, чем песенная сатира. Но по-прежнему неизбывна нужда и в драконьих сказках пазла.

Эдуард КОТОВ

Всему он предпочел дорогу

●
Александр Городницкий.
СТИХИ И ПЕСНИ. Избранное. СПб.,
«Лимбус Пресс», 1999.

●
Видеть в этом великолепно изданном томе с незапамятных пор любимые шедевры — «Снег», «Атланты» — даже не столько странно, как будто эти вольные сыны эфира вечно должны жить только в памяти, только в звуке. Но — даже самым летучим творениям классиков рано или поздно положено обрести оседлое и respectable существование. Правда, эта

книга вновь отодвинула мечту автора, чтоб хотя бы одна из его песен стала общей и безымянной, — теперь очень легко проверить, какие песни ему принадлежат. А ведь счастье было так возможно: о песнях «Все перекаты да перекаты», «От злой тоски не матерись», «Бушует ливень проливной» мы когда-то спорили, кто их сочинил. Вот «У Геркулесовых столбов» — это ясно, Городницкий: больше так никому не суметь.

Сегодня редкая удача увидеть в поэте мужчину, тем более настоящего, способного одушевлять бойца для битвы с пространством, с опасностями, с одиночеством... И не пресловутым одиночеством среди толпы, а одиночеством среди снегов или океанских волн. И не с опасностями борьбы с начальством (правительством), которая уже много лет слывет единственной стоящей доблестью, а с опасностями борьбы против вечных стихий — ведь и сегодня тепло добывается не из батареи парового отопления, а из недр земли: «По мерзлой земле мы идем за теплом». Городницкий — тот редкий поэт, которого, как встарь, хочется назвать певцом: в его поэзии нет надтреснутых звуков, вычурных метафор, прихотливых ассоциаций, которые приходится разгадывать, это царство сильных и ясных чувств. Городницкий почти не пытается непозитические предметы превращать в поэтические — сильнее всего он в зоне, которой поэзия давно овладела («Старая романтика, черное перо!»). И нужен особый талант, чтобы эти почти канонические образы вновь обрели пленительную силу, чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло. Когда поэт перебрасывает мостик от непозитической злободневности к устоявшимся романтическим символам и эпизодам: духовой оркестр у метро превращается в несдающийся оркестр на палубе терпящего крушение судна, — читатель невольно поднабирается куражу, начиная прозревать в себе бесстрашного матроса. Правда, когда Городницкий пытается достичь эффекта страстно произносимыми, но рассудочными формулами, используя «вечные» образы в качестве иллюстрации, это иной раз не возвышает злободневность, а оскучивает вечность. «Монолог Моисея» с его очень уж неновым рефреном: «Сорок лет народ вожу я по пустыне, Чтобы вымерли родившиеся в рабстве», «Гражданская война, гражданская война, Будь проклята она, будь проклята она!» — от этого слишком уж отдает истиной ходячей.

Но не будем придирками отравлять праздник, который нам устроил «Лимбус Пресс», — этим пусть займутся литературоведы.

Александр МЕЛИХОВ

Время высокой травы

**Сергей Пронин. Яна Жемой-
тель. ПОСЛЕДНИЕ СНЫ.** Петрозаводск, «ПетроПресс», 1998.

Книги из провинции доходят до Москвы неспешно и, к сожалению, редко замечаются столичной критикой. Дела здесь обстоят, по-видимому, еще хуже, чем в застойные времена, но это не значит, что на всю Россию осталось два-три московских издательства, выпускающих произведения современных авторов, а за отремонтированной кольцевой дорогой — пустота. И если весь девятнадцатый век в литературе проходил под знаком земель южнее Москвы — орловской, рязанской, калужской, тульской, то в двадцатом вектор неминуемо стал подниматься к Северу и к Сибири, откуда вышла деревенская и военная проза. Там, на Севере, рождаются и книги современных авторов.

Не так давно в Петрозаводске была выпущена в замечательном оформлении книга, объединившая под обложкой двух писателей — Сергея Пронина и Яну Жемойтель.

Продиктовано это объединение соображениями чисто экономическими или желанием представить современную карельскую прозу в ее разнообразии, вопрос открытый. Имя Сергея Пронина хорошо знакомо современному читателю (его повесть «Запаренный Колек, или Записки провинциального бизнесмена» была опубликована в журнале «Север» и попала в список произведений, выдвинутых читателями «Роман-газеты» для публикации в этом престижном издании), Яна Жемойтель известна меньше, однако *ladie's first*.

Лучшее из представленных писательницей в этой книге произведений — повесть «Собачий календарь». Вопреки представлению, что охота и все с ней связанное — и в жизни, и в литературе — удел мужчин, писательница не только обнаруживает познания в пороках птиц, собачьих повадках и способах ведения охоты, но и насыщает свое произведение мифологическими образами северной земли, где времена года называются Временем остывшей воды, или Временем высокой травы, или последних цветов, над которой властвует великий звериный бог, живущий на горе Растекайс, в стране Ледяных сугей. Именно против немилосердного звериного бога восстает сошедшая с ума от «любви и жалости» стареющая финская лайка Герта, когда в конце жизни отказывается гнать, но берет под защиту от человека маленького зайца и получает от

Хозяина справедливую по мужским и охотничьим меркам пулю. Так написать и восплакать над собакой могла только женщина, но, точно опровергая жалость, Жемойтель заключает:

«Не будем плакать о ней. В конце любого пути ожидает смерть. Герта просто выпрыгнула из собачьего бытия, и старое грузное ее тело осталось лежать в высокой траве, но сущностное собаки Герты вознесло в поднебесье, ко вселюбящему, к самому истоку человечности».

Впрочем, человечность человека автору удается передать значительно хуже, нежели чем собак. Может быть, поэтому три другие повести, помещенные в книгу — «Будущее в прошедшем», «А вдруг ты придешь», «Лоскутки», — уступают первой, в них чувствуется подражание Токаревой и по сюжету, и по стилю, и даже по названиям (видимо, последнее — вообще слабое место для Я. Жемойтель). Зато короткие рассказы все как один хороши. В них писательница создает свой мир, населяет его живыми героями и, по сути, творит маленький театр, и в этой порой очень жесткой театральности, камерности, лаконичности и некоторой условности ее книги заключены и недостатки, и достоинство.

Не только по соображениям этикета, но и чисто драматургически составителю следовало бы поставить Сергея Пронина во второе действие.

Сергей Пронин — прозаик со своим голосом, индивидуальной авторской манерой, и я убежден, что его ждет в литературе большая известность.

В книге он представлен (помимо уже упомянутой повести) несколькими отличными рассказами и циклом лирических миниатюр. Написанная с горьким юмором история любви русского солдата и венгерской цыганки («Нацменка») удивительным образом трогает сердце и заставляет вспомнить лермонтовскую «Бэлу», а в четком по фабуле, с резко очерченными характерами рассказе «Кольцо» рассказывается о любви русской женщины и кавказского юноши, и несмотря на то, что подобный сюжет в нашей литературе также не нов, автору в лаконичной, скупой манере удается передать трагизм человеческих отношений и их сопротивление распаду окружающего мира.

И все же главное пронинское произведение — повесть «Запаренный Колек», представляющая по жанру не то дневник, не то внутренний монолог провинциального бизнесмена. Это не просто отлично написанная, живая, динамичная повесть, она из тех вещей, что называются хрестоматийными и говорят о своем времени больше, чем любые исторические документы (как, например, говорит о конце 60-х поэма «Москва — Петушки»). Про-

нин попал в десятку и угадал неуловимый дух времени; его протагонист, решивший «выпаривать из людей дерьмо, накопленное годами», и приватизировавший с этой целью общественную баню, самодельный поэт, обожающий Есенина и собирающий деньги на его памятник, авантюрист, ведущий подкуп под соседний банк и наконец погибающий от взрыва в собственной бане, защищая свою любовь, в гораздо большей степени, чем, скажем, великолепный маканинский бомж Петрович, претендует на звание героя нашего времени.

В этой повести хорошо все — манера, язык и афористичность: «Баня — это способ познания жизни. Кто не любит баню, и на русского человека не похож». В ней таится глубокий второй план: перестроенный из бывшей церкви, проницкий храм тела, дом свиданий и плотских утех, в котором после двух часов ночи начинается страшный мистический вой, обречен на гибель, как и его владелец, и его именитые клиенты, и легкомысленные девицы, но погибают они не жалостливо и обреченно, а очень по-русски, по-есенински лихо; и парадоксально, как из этой грязи и мужской грубоватости, точно омытая, отпаренная, просвечивает душа.

Да, к счастью, мы в конце начала,
Где жизнь мне ни фи́га не обещала,
Где лишь Она невятно промычала,
Что ничего в прошедшем ей не жаль.

Здесь был Колек.

Пронин написал своеобразную «оптимистическую трагедию» нашего fin de siècle — его суровый художественный мир подсвечен теми человеческими чувствами и радостью, которые отсутствуют у Яны Жемойтель и ее неустроенных, тоскующих героев, и в этом соединении мужского оптимизма и пронзительной женской бесприютности и печали, быть может, и кроется сверхидея рецензируемой книги.

Алексей ВАРЛАМОВ

Книга оправдавшихся предчувствий

●
Е. Г. Эткинд. БОЖЕСТВЕННЫЙ ГЛАГОЛ: Пушкин, прочитанный в России и во Франции. М., «Языки русской культуры», 1999.

●
Книга Ефима Эткинда «Божественный глагол» появилась на свет незадолго до кончины автора. Это одна из немногих

собственно авторских книг в кругу публикаций среди тридцати семи победителей организованного Институтом «Открытое общество» юбилейного книгоиздательского конкурса «Пушкинист».

Многие авторы пытались представить возможное завершение «незаконченного» романа «Евгений Онегин» или даже его «дописать». Обратившись к тоже не оконченному, а только начатому эпистолярному и четырем вариантам стихотворных ответов самого Пушкина П. А. Плетневу, советовавшему продолжить «Онегина» (которому, кстати, это произведение и было посвящено), Эткинд написал свой компактный филологический роман (раздел «Стилистический эксперимент Пушкина: Письмо Плетневу»). «Романная» объемность исследования, заставляющая вспомнить о жанре «романа культуры», возникает в ходе изучения качественной перестройки текста того ответа. Пушкин, последовательно меняя разные строфы-жанры, окруженные особой эмоциональной и историко-культурной атмосферой, — онегинскую строфу, октаву, александрийские двустушия, вновь онегинскую строфу, обращался к разным читательским ассоциациям и развивал сам образ поэта. Как особую книгу поэта трактует Ефим Григорьевич издаваемый Пушкиным журнал «Современник» (который завершал журнальную традицию XVIII века, когда журнальная книга состояла из разных произведений одного автора, и начинал более знакомое нам соединение произведений разных авторов, подчиненных организующей воле издателя). Прямое продолжение этой «внутренней» книги Эткинд усматривает в «Путешествии в Арзрум», в котором поэт извлекает эстетический урок из слов плененного противника, турецкого паши, сравнившего поэта с дервишем. Итогом чего стала формула: «Ты царь: живи один...»

В основе мастерства Эткинда — композиторское чутье уместности обращения к большому или малому контексту для понимания избранного для интерпретации произведения, того или иного слова в произведении поэта. Если в стихотворении «Прозаик и поэт» центральная метафора — мысль, превращенная в стрелу, с оперением-рифмой, раскрыта внутри самого стихотворения, то в стихотворении «Рифма» необходимо обращение к контексту греческой мифологии. Тогда становится понятным, как Пушкин сочиняет по античным образцам собственный миф о Рифме, соединяющей свойства матери Эхо (рифма, как эхо, повторяет последний звук предшествующей

щего стиха) и отца Феба (рифма как признак искусства). Великолепно владея самым популярным на сегодняшний день методом литературоведческого анализа — компаративистским (сравнительно-историческим), автор создает мифологической емкости картину наполеоновских аналогий в «Борисе Годунове», где не только маршал Ней («Наполеон на Эльбе») сходен с Басмановым, а Наполеон периода Ста дней — с Самозванцем, но и сердцевина обоих исторических сюжетов одна и та же — народный мятеж, рождающий национального героя. Для Эткинда «Пушкин прежде всего историк», но ни в коей мере не метафизик.

С позиций такого историзма автор обозревает по-своему мифотворческую историю русского и советского пушкиноведения на примерах пушкинского восприятия «Евгения Онегина» и «Медного всадника» (первая из этих главок знаменательно названа «Слева направо»). На основе смены взглядов на Пушкина — от примитивно-революционного социологизма двадцатых до антиреволюционной апокалиптичности девяностых, в которой исчезли последние следы литературно-языковой материи, — вполне можно построить всю историю русской культуры последних полутора веков. И дело здесь не в каком-то исследовательском «сервилизме», пресмыкательстве перед властью. Дух нетерпимости сквозил и в словах А. В. Карташева в 1937 году на торжественном заседании парижского Богословского института о тождественности «прямого похуления Пушкина» и «измены отечеству». Методология Е. Г. Эткинда занимает среди всех этих крайностей место «золотой середины», каковой придержился и сам поэт.

Давая высочайшую оценку книге в целом, да позволено все же будет указать на — назовем это так — некие пробелы в ней, ощутимые даже при выраженном в ее подзаголовке ограничении исследовательского поля. В увлекательном «романе» взаимоотношений и взаимоотталкиваний русской Музы и рифмы, одним из героев которого неожиданно становится точно угадавший грядущую безрифменность западноевропейской поэзии Е. Ф. Розен, не нашлось места для писавшего на стыке XVIII—XIX веков «Безрифмина лихого» С. Боброва. Христианская трактовка «Евгения Онегина» ограничена именами Вл. Турбина и Вал. Непомнящего, но ничего не сказано об авторе поистине культовой (среди тех, кому она известна) «Метафизики Пушкина» А. Позове. Очень содержательна глава «Поэзия Пушкина во французских переводах», из которой, в частности, можно узнать, что оперативным переводчиком «Бахчисарайского фонтана» на французский язык стал брат великого Шопена Жан-Мари Шопен. Но в ней, увы, даже не упомянут автор первого, высоко оцененного Пушкиным перевода на этот язык стихотворения «Клеветникам России», один из основоположников русской музыкальной эстетики Н. Б. Голицын. А ведь ему адресованы самые, быть может, загадочные слова поэта (написанные по-французски же) относительно местонахождения «колыбели Онегина» — о том, что «колыбель» эта — Крым (письмо от 10.11.1836 г.).

В целом же «Божественный глагол» — достойное подведение итогов отечественного пушкиноведения уходящего века, без которого немислимы новые, принципиально иные подходы.

Александр ЛЮСЫЙ

Владимир БЕРЕЗИН

Сокровище

«...всё редкое, дорогое, превосходное».

В. И. Даль. *Толковый словарь живого великорусского языка.*

«Пиастры! Пиастры! Пиастры!»

Р. Л. Стивенсон. *Остров сокровищ.*

Как-то исчезли собаки с гордым именем Трезор. И французское слово *trésor* (сокровище) уже не звучит по всем русским дворам. Видимо, сокровища стали иными. О них и пойдет речь — не о собаках, а о сокровищах.

Сокровища в массовой культуре, в пространстве романа или фильма имеют совершенно особый блеск, нежели в жизни. В любовном романе главная ценность — это семья. Происходит простой товарообмен таких сокровищ, как девственность, трудолюбие и скромность, — на семью. Развивать эту тему дальше — неинтересно.

Гораздо сложнее тема сокровищ в приключенческих романах и фильмах. Издавна сюжет книг разворачивался вокруг драгоценностей. Клады содержали в себе именно драгоценности: полежав достаточно долго, деньги меняли свои свойства и, если они были золотыми или серебряными, превращались в сокровища. И звучала в «Тысяче и одной ночи» самая счастливая формульная фраза: «Взяли они вещи весом малые, а ценой дорогие».

Поэтому для сюжета очень удобны компьютерная дискета, бриллиант или бутылочка с драгоценным снадобьем вечной молодости. Но обо всем по порядку — сначала о том странном обстоятельстве, что сокровища на самом деле нет. Это символ. В финале остается не сокровище, а приз — конечный жизненный успех героя.

Сокровища массовой культуры — что-то вроде коробочек и узелков, которые закапывают в песочнице дети во время игры «в секретки». Поэтому подвески королевы — типичное сокровище. Кстати, большинство школьников советского времени никак не могли взять в толк, что собой представляют эти подвески. Подвески превращались в идеальное сокровище, вещь редкую, дорогую, превосходную, но, как идеальный спиритуоз, не имеющую цвета, вкуса и запаха.

Подвески были сокровищем, а годовой доход лавочника Бонасье — нет. И дело не в том, что доход был мал, а в том, что не мог стать призом для героя. (Для д'Артаньяна призом была благосклонность чужой жены — жены владельца этого дохода. А подвески были лишь средством добиться этой благосклонности.)

Здесь интересна (как всегда в детективе) тема денег. Один из самых знаменитых персонажей отечественного криминального романа Савелий Говорков (Бешеный), герой серийных романов Виктора Доценко, часто пародируется. Причем в этих пародиях на первое место среди качеств героя — «Бешеный, Савелий. Профессия — супермен» — ставится: «Особые способности: упаковка \$ 1,5 миллиарда в три чемодана», а уж потом «резка горла стилетом, близкие отношения с... деревьями, неприруженные путешествия в космосе».

Легкость, с какой Бешеный распоряжается деньгами, может вызвать насмешку. Десять миллионов долларов, которые между делом он выделяет не известной ему девушке «на образование», приводят в недоумение. Между тем деньги здесь всего лишь символ — отсюда и возникает путаница.

Например, в интервью журналу «Огонек» сам Доценко говорил: «Теперь выходит “Золото Бешеного”, когда Савелию достается счет из швейцарского банка на два миллиона долларов “партийных денег”».

Полмиллиона долларов легко превращаются в полмиллиарда и обратно.

Бешеный, несмотря на внешнюю оболочку человека, служащего стране, человека государственного, которым всегда был герой милицейского романа, ведет себя по воровскому закону, то есть вне закона государственного. Он не возвращает государственную собственность, а делит награбленное. То, как он лихо кладет в банки (финансовые учреждения) по четыреста или восемьсот миллионов долларов, а остаток укладывает в спортивную сумку, — не действия, а знак действий.

Читатель в нашей стране теперь прекрасно знает, сколько долларов может уместиться в коробке из-под ксерокса. Читателя не проведешь, не надо думать, что он купился, — дело в том, что читатель соглашается плыть по морю символов.

Деньги, если они выступают в виде сокровища, обладают двумя чертами. Они круглы и неделимы, как все идеальные вещи.

Они круглы своими нулями. Никто из террористов не требует в качестве выкупа дробной суммы: «Положите под камень в саду полтора миллиона четыреста девяносто пять тысяч двадцать два доллара... Ах да... И еще двадцать пять центов».

Шура Балаганов, будучи спрошен Остапом Бендером, какая сумма ему нравится, ведет себя как, генератор случайных чисел. Но это генератор, работающий только с круглыми значениями. Он быстро отвечает: пять тысяч. Оказывается, что Балаганов хотел бы их получить в течение года. Бендер тут же рассказывает, что ему то нужно пятьсот тысяч, и, как Раскольников, произносит знаменитую фразу: «Я бы взял частями. Но мне нужно сразу».

На самом деле они говорят о разных вещах. Балаганов говорит о годовом доходе, а Бендер ведет речь о сокровище.

Иногда богатство сваливается на персонаж помимо его воли, как в рассказе Марка Твена «Банковский билет в 1 000 000 фунтов стерлингов». И именно то, что это богатство концентрированно и неделимо, делает его сокровищем.

Сокровище в литературном и кинематографическом пространстве похоже на неразменный пятак. Невозможно разменять миллионную банкноту, невозможно обрести часть сокровища. И даже гибнет оно целиком, целиком ускользает из рук — как ускользнули от Великого Комбинатора и предводителя дворянства бриллианты, запрятанные в стул. Эти бриллианты превратились, между прочим, в дом — предмет тоже неделимый. Даже если бы Киса Воробьянинов оторвал от него водосточную трубу, это не сделало бы его счастливым.

В реальной жизни сокровище всегда можно дробить — один молодой человек лет пятнадцать назад ездил в московском городском транспорте с сотенной купюрой, купюрой максимального достоинства в то время, которую он при случае предъявлял контролерам, а у тех никогда не было сдачи. Но на моих глазах один из контролеров достал ворох мятых рублей и разменял мнимое сокровище — за вычетом штрафа, разумеется.

История в точности повторила сюжет, рассказанный Константином Паустовским в его автобиографической повести.

У отечественных героев массовой культуры к сокровищу существует недоверие. Известно, что оно охраняется какой-нибудь нечистой, что незаработанные деньги обязательно превратятся в пустые бумажки, листья и прочую труху, как в булгаковском романе. Персонажи потеряют случайное сокровище, сюжет вытрясет его из них, как Лиса Алиса и Кот Базилио вытрясли золотые из Буратино.

История Буратино в этом смысле очень показательна. Золотые, что он, по сути, не заслужил, есть сокровище служебное, разменное, а Золотой Ключик есть сокровище настоящее. Это сокровище и принесет ему и его друзьям награду-приз — существование за дверцей, в счастливом Закаминье.

Но страшнее нечисти власть. Ведь известно, что клад принадлежит государству с формулировкой «будь то в земле или в стене». Лишь 25% его — собственность нашедшего, что отражено в самом известном советском фильме о поисках клада — «Приключения итальянцев в России».

Западный герой тоже знает, что чужого трогать нельзя, придет страшный Лепрекон или постучится в окошко к старушке из английской сказки Некто и забуднит-забормочет: «Отдай мою кость!»

Простые герои — Джеки и Джимы — все это понимают и как страховочный вариант поискам сокровища держат наготове приз в виде простых человеческих отношений. Владелец неразменной банкноты по воле Марка Твена в качестве главного вознаграждения получает семейное счастье, к которому богатство лишь прицеплено. Любовь страшует денежные вклады иклады — точно так же, как у героев фильма про приключения итальянцев.

А вообще героями массовой культуры становятся люди небогатые. Если герой нетрезв в первых кадрах фильма, от него ушла жена, плата за квартиру просрочена, то ясно — это будущий спаситель человечества или охотник за сокровищами. Конечно, и богатые тоже плачут, напишут и о них, но количественный перевес среди потребителей масскульта именно у людей без миллиона фунтов стерлингов. Чем-то похожих на Джима и Деллу из рассказа О'Генри «Дары волхвов», у которых вместо бесполезных сокровищ — остриженных волос, черепахового гребня, цепочки и часов-луковицы — оказался главный приз — любовь.

Помимо денег, лакомый кусок для автора приключенческого романа — это информация. Компрометирующие материалы для широкой общественности, военные коды для шпиона. *В груди доверчивой и слабой еще достаточно отваги похитить важные бумаги для неприятельского штаба.* Ну и тому подобное.

Любой может понять, что бегать по крышам с огромными чемоданами, набитыми компроматом, невозможно. Чемодан упрется в динамику сюжета, застопорит повествование. Это напоминало бы легендарное вознаграждение Ломоносова, выплаченное медью и медленно движущееся по улице на подводах. Поэтому сокровище боевика — вещь компактная. В конце концов это может быть маленький ключик к камере хранения, где живут эти самые чемоданы. Возникает ряд вещей весом меньших, а ценой дорогих.

Кроме магнитофонной пленки, ходовым материалом для изготовления символических сокровищ массовой культуры стали компьютерные дискеты, но со временем многие пользователи поняли, что носить их в кармане — занятие рискованное в том смысле, что сокровище портится. Даже в том случае, когда его ценность немногим больше самой дискеты.

Компьютерные дискеты уступают место радужным компакт-дискам. Герои американского серийного фильма, где Стивен Сигал играет роль повара-супермена, диск крадут, таскают за пазухой и роняют меж железнодорожных шпал. Злодеи же подбирают его неповрежденным.

Однако один отечественный телевизионный боевик начинается с того, что сотрудник неясных российских спецслужб везет из Швейцарии компьютерную дискету с компроматом. За ним устраивают слежку прямо в аэропорту, убивают в подьезде, но он успевает сунуть дискету в чей-то почтовый ящик. Дискета попадает в руки к фотомодели, затем разгорается кровавая бойня, горы трупов заваливают городские улицы...

Видимо, у спецслужбы были проблемы с провайдером.

Тут — поворотная точка. Эволюция сокровища такого типа заходит в тупик. Теперь для передачи информации единенное сокровище не нужно. Сама идеология Интернета создает идеальные условия для транспортировки тайны.

А вот сокровище иного типа. Это, естественно, человек. Как правило, женщина или ребенок, существо слабое, но необходимое для любви и гармонии, необходимое для существования простого человека. Троянская война происходит как бы из-за Елены Прекрасной.

Заложник (заложница), отнятая у персонажа жена или дочь, ради спасения которой он сворачивает горы — в прямом или переносном смысле, — для героя соединяют сокровище и приз. Он спасает целый город, поставленный на грань уничтожения, а на рубеже веков — даже земной шар со всеми его обитателями. Причем в случае со спасением человечества герои никогда не приводят его, человечество, к счастью, а лишь сохраняют статус-кво.

И тут снова подчеркивается ценность любви для Деллы и Джима, Ивана да Марьи.

У сокровищ массовой культуры есть забавное свойство — герой часто оказывается в положении купца из сказки об аленьком цветочке. Он ломится домой, размахивая приобретением, но оказывается, что жизнь забрала у него в обмен на горшок с фикусом что-то гораздо более важное.

Герои фильмов и книг в поисках сокровищ находят совсем не то, что ищут.

Частный детектив вместо скромной суммы за помощь в бракоразводном процессе находит жену для себя. Молодые люди вместо фамильного клада отыскивают колдовскую книгу, несущую смерть и разрушения. Желание обладать Прекрасной Еленой приводит к массе неприятных последствий, растущих как снежный ком. А те

персонажи, что отправились на поиски закопанных сокровищ, обнаруживают, что они давно выкопаны. Бриллианты вынуты из стула и превратились в сокровище иного порядка — общее, а значит, ничейное.

Лейтмотивом становятся заключительные строки Стивенсона: «Зарытые Флинтам серебро в слитках и оружие так и остались лежать на острове. Пусть, кто хочет, отправляется за ними. Меня уж ничем не заманишь вторично на этот проклятый остров. Я до сих пор просыпаюсь в холодном поту, когда во сне слышу неумолчный грохот прибоа о его угрюмые скалы и пронзительный голос попугая капитана Флинта, выкрикивающий свое “Пиастры! Пиастры! Пиастры!”»

Сокровище вообще часто растворяется. В романе Джека Лондона «Сердца трех» найденное сокровище инков немедленно обращается в ценные бумаги и вливается в состояние одного из героев. Впрочем, главным призом остается любящая женщина, как это и полагается в приключенческом романе с романтическим оттенком.

В фильме Дэвида Линча «*Twin Peaks*» есть замечательная фраза, повторяемая в нем много раз и всегда — без объяснения. Фраза эта — «Совы — не то, чем они кажутся».

Сокровище массовой культуры — совсем не то, чем оно кажется. Это не цель героя, а движитель сюжета.

И теперь исчезли Трезоры из нашей жизни, остались Джеки да Джимы. А это, несмотря ни на что, звучит оптимистично.



Торы полон рот

Один излишне талантливый писатель говаривал, правда, всё по-японски да по-японски: если бы не вторжение западной цивилизации, то со временем на Востоке мало того что появилась бы техника нисколько не хуже, она, вероятно, базировалась бы на совершенно иных физических законах.

Трудно представить какой-нибудь дальневосточный телефон, использующий не электромагнитные колебания, а, например, энергию приливов и отливов, или велосипед, отказавшийся от цепной передачи в пользу принципа резонанса. И потому эти слова кажутся пустыми фантазиями. Хотя существует же анекдот про японца.

Он спрашивает знакомого:

— Угадай, что у меня в кулаке спрятано?

Тот отвечает:

— Думаю, телевизор «Сони».

— Угадал, — говорит японец. — А сколько штук??

Но дело в том, что наша культурная изоляция, несмотря на вырубленное еще саардамским плотником слуховое окно в Европу, продержалась куда дольше японской.

И сейчас, когда стоишь посреди огромной коммунальной квартиры с оборванными обоями, перекушенными проводами и полуразрушенными стенами, а повсюду в ожидании косметического евроремонта громоздятся бочки олифы, рулоны линолеума, малярные кисти и козлы (ударение вариативное), вдруг выясняется: и впрямь тут жили по каким-то совсем иным законам. Даже характер эха другой: крикнешь — не откликается, крикнешь еще — опять ни звука, а замолчал — тут тебе изо всех углов одновременно гром ответов.

Само пространство здесь особое и осмысление пространства идет иначе. Заглянуть хотя бы в книгу В. П. Руднева «Словарь культуры XX века» (М., «Аграф», 1999), книгу не только потяжелей томика Тютчева, но и посильней «Фауста» Гете.

Автор и пространство, и время, и текст, и бога, и царя, и героя, и просто физиологическую реальность рассматривает с довольно оригинальных позиций. Лишь совсем поначалу могло б показаться, будто его концепция держится на соплях, а если уж он кое-где и применяет этот клейкий материал, то чаще прочего заимствованный (тем более автор проговаривается: «В цитатах выделения принадлежат М. И. Шапиру»).

Именования, атрибуты — любая мелочь подчинена авторскому замыслу. Книга Светония называется «Жизнь двенадцати цезарей»*, а роман «Чисто английское убийство» отдан Джеймсу Чейзу, хотя написал его Сирил Хэйр (впрочем, вдруг это какое-нибудь еще убийство, пока не раскрытое).

Когда стихотворение Б. Пастернака «Гамлет» цитируется без предпоследней строфы**, этимология слова «кич» возводится к польскому слову «поделка», название знаменитого фильма переводится как «Андалузская собака»***, это значит, что у автора свой взгляд на вещи и тексты. И потому он волен заявить: «...действие на Волшебной горе как будто замедляется, и последние три-четыре года пролетают совсем незаметно и почти бессобытийно».

Этакий философский минимализм, культурологическое лишенчество, духовное самоограничение, вызванные упомянутой выше изоляцией. Нехватка преодолевается и возводится в принцип. Уместно вспомнить анекдот уже о русской технике.

* Здесь следует уточнить: в классическом переводе М. Л. Гаспарова книга называется «Жизнеописание двенадцати цезарей», а во всеобъемлющем Словаре античности она именуется «О жизни цезарей»; следовательно, автором предложен третий вариант перевода (прим. ред.).

** Кстати, как автор «Словаря» анализирует фрейдовское понятие оговорки, так следовало бы порассуждать и о рудневских умолчаниях. Цитируя «Графа Нулина», он пишет:

«Шляп, вееров, плащей, корсетов,
Булавок, запонок, дорнетов,
Цветных платков аюнг»,

не обращая внимания, что здесь опущены чулки (прим. авт.).

*** Традиционный перевод — «Андалузский пес» (прим. ред.).

Большому говорят в поликлинике:

— Вас надо лечить электрическим током. Две тысячи вольт на десять секунд у нас нет, поэтому мы вам включим двести двадцать, но на полчаса.

Вот как совершается поворот мыслительного механизма, вращение интеллектуального органчика: «Ахматова в одном из наиболее интертекстуальных своих произведений, «Поэме без героя», писала:

... а так как мне бумаги не хватало,
Я на твоём пишу черновике».

Утраченная ахматовская рифма («хватило») заменяется собственной, рифмовка интерполируется в пояснительный текст.

Нельзя утверждать, что В. П. Руднев полностью оригинален, даже когда он предлагает самую причудливую на первый взгляд классификацию художественных типов: «С точки зрения характерологии... типичный модернист и типичный авангардист представляли собой совершенно различные характерологические радикалы. Вот типичные модернисты: сухойпарый длинный Джойс; изнеженный Пруст; маленький, худой, как будто навеки испуганный, Франц Кафка; длинные, худые Шостакович и Прокофьев; сухой маленький Игорь Стравинский. [...] Невозможно их представить на площади или на эстраде эпатирующими публику. У них для этого нет даже внешних данных.

А вот авангардисты. Агрессивный, с громовым голосом, атлет Маяковский, так же атлетически сложенный, “съевший собаку” на различного рода скандалах Луис Бунюэль (тоже, впрочем, фигура сложная — в юности ярый авангардист, в старости представитель изысканного постмодернизма); самовлюбленный до паранойи и при этом рассчитывающий каждый свой шаг Сальвадор Дали».

Классификация эта корреспондирует не столько с пародийной борхесовской классификацией, словно бы заимствованной из старинной китайской книги, сколько с армейской формулировкой — от забора и до обеда.

Справедливости ради надо отметить, что автор не всегда изыщен в своих интеллектуальных конструкциях. Скажем, он утверждает: «Голем оживал, когда раввин вставлял ему в рот свиток Торы». Во-первых, Голем оживлялся или именем бога, или словом «жизнь», начертанным у него на лбу, и это человек, особое внимание обращающий на структуру текста и проблемы именования, должен был бы учесть.

А в главных помянутая Тора содержит 613 заповедей и весит более десяти килограммов. И несмотря на то, что по старинной легенде Голем необычайно силен, вряд ли широкий и длинный свиток со священными письменами мог бы уместиться у него во рту. Подобное возможно лишь для прошедших специальную подготовку. И Тору мог бы носить во рту если уж не сильный духом и телом Ю. Власов, то по крайней мере В. Жаботинский (был такой известный жовто-блакитный чемпион мира по штанге).

Характер эха в пустой и безлюдной квартире особый. В. П. Руднев, если и слышал какой-то звон, то не ведает, откуда тот исходит. Но стороннему наблюдателю и слушателю нетрудно догадаться, что, собственно, звенит и чем же звенит автор.

И тем не менее многие пассажи словаря неожиданны и быстроумны, читать их — сердце мармеладом обливается: «...погибают в огне любви стойкий оловянный солдатик и бумажная балерина, застывшие в напряженной сексуальной позе на одной ноге».

Эка ведь заворачивает, собака андалузская! И вот что самое главное — собака-то лает, а ветер — носит!

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ МОСКВОШВЕЯ

**Список литературы, при использовании которой
«Словарь культуры XX века» не смог бы состояться**
(приводится в порядке ее игнорирования)

Сергей Землянухин, Мирослава Сегида. Домашняя синематека. Отечественное кино. 1918 — 1996. М., Информационно-аналитическая фирма «Дубль-Д», Государственный комитет по кинематографии РФ, при участии: Дом Ханжонкова, МАО «Киноцентр», 1996.

Первый век кино. М., «Локид», [б.г.].

Хорхе Луис Борхес. Проза разных лет. М., «Радуга», 1984.

С. С. Аверинцев. Голем. — В кн.: Мифологический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1991.

Раби Йосеф Телушкин. Еврейский мир. Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии. М., «Лехаим», 1997 / Иерусалим, «Гешарим», 5757.

*Читайте в следующем номере
свободное сочинение*

ВЛАДИМИРА КАЧАНА

«Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка».

«Мы поговорили и об этом. Уходил теплый осенний день у моря, один из последних дней бабьего лета. Вот точно так естественно и печально уходит из твоей жизни чья-то другая жизнь, и ты даже не огорчаешься — все нормально, так и должно быть. Только почему в уходе лета, человека и жизни есть что-то общее, от чего ты всякий раз провожаешь лето так, будто видишь себя в этом желтом листе, в этих лысеющих деревьях, в этом море, которое все холоднее, в этом пляже, который постепенно пустеет... Даже тогда, когда тебе двадцать пять, ты все равно об этом думаешь и пробуешь на вкус у Рижского залива этот опасный коктейль из любви и тоски...»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
*В 2000 году «Октябрь»
 предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Алексей ВАРЛАМОВ. Роман.

Александр ВОЛОДИН. **Хосе, Кармен и Автор.** Рассказ.

Владимир КАЧАН. **Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка.** Повесть.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Конец Арбата.** Повесть.

Книга прозы «Далее везде».

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. Книга «**Рассказы о чудесном**».

Стихи.

Юрий ОЛЕША. «**Прости меня, Суок, что значит вся жизнь**». Письма Ю. Олешки жене.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Гоголиана.**

Новочеркасские рассказы.

Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.

Рассказы и статьи из новой книги.

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Дневник читателя.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Ольга СЛАВНИКОВА. **Повесть.**

Борис ХАЗАНОВ. **Рассказы. Статьи.**

Евгений ШКЛОВСКИЙ. **Рассказы.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Опасные связи.** Продолжение новой книги.

А также **новые произведения** Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАНТОРА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Афанасия МАМЕДОВА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Леонида ФИЛАТОВА, Александра ХУРГИНА, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Владимир БЕРЕЗИН, Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ.

Подписка принимается во всех отделениях связи по Каталогу «Роспечати». Индекс подписки для Российской Федерации: на полугодие — 73293, на год — 72375, для стран СНГ — 79209.

В розницу журнал можно приобрести в следующих магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — ул. Бахрушина, 28;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

«Эйдос» — Чистый пер., 6.